



ЮНОСТЬ



5
1976



А. ЗАБОРОВ (Минск).

Солдаты.

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ



5 [252]
МАЙ
1976

Журнал
основан
в
1955
году

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА



Александр
ЯШИН

ВОЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

ПОЭМА

Поэма «Военный человек» была начата 21 января и закончена 21 марта 1942 года. Написана была быстро. В замороженном и наполовину вымершем Ленинграде, под бомбами и обстрелом, в госпитале, тяжелой больной, поэт писал в то время, когда не то что вести каждый день дневник и писать («надо дать 10 строк в день!»), а заставить себя утром подняться и жить — было подвигом.

Александр Яшин ушел на фронт добровольцем. В дневнике его есть запись: «Решил быть на войне, все видеть, во всем участвовать». Уже 14 августа 1941 года он записал: «Впервые в жизни побывал в бою. Собой доволен. Держался хорошо». Дневниковая хроника войны, иногда очень скупые записи, ясные лишь для самого Яшина, дополняются поэтически раскрываются в двух недавно найденных поэмах — «Военный человек» и «Ленинградской поэме».

Первые месяцы войны (до 1942 года) Яшин был под Ленинградом в частях морской пехоты, на фортах — на пятке побережья, отрезанном от Большой земли и от Ленинграда. Он не раз бывал в боях, был фронтовым редактором и корреспондентом, воевал на бронепоездах, ходил в разведку, был политработником. Пережил отступление, потерял друзей, особенно горевал о гибели друга, фронтового корреспондента Звонкова. Его именем назван главный герой поэмы «Военный человек», хотя написана она о себе самом. Поэма писалась как поэтическая автобиография, как поэтический дневник первых дней войны. Она так и осталась черновой тетрадью и ни разу не перепечатывалась на машинке. Задумана поэма была из двух частей: «Стоять насмерть» и «Вперед на запад». Вторая часть не написана.

Конечно, по поэтическому мастерству, духовной и философской глубине, по образности языка эта поэма уступает поэзии позднего Яшина и не может быть приравнена к ней. Но ценность поэмы «Военный человек» в том, что это лепитесь военного времени, что это зарисовки участника войны, молодого Яшина, и что увидено это художником Яшиным и никем другим (например, отрывок о том, как умирал лос). А самое ценное в этой поэме — это восторженный и честный, мужественный и смелый характер главного героя. И этот характер помог поэту жить и умереть достойно, помог создать ту яшинскую прозу и поэзию, которыми он закончил свой путь на земле.

З. ЯШИНА

☼

Горели станции и села,
Торфяники, поля, песок,
Горели заросли осок,
И чад войны, густой, тяжелый,
Все продвигался на восток.

Кружили птицы:
Скрыться где бы!
В огне и тучи и леса...
Летит зола на землю с неба!
Или с земли на небеса!

Весь день, всю ночь душа
на взводе.
Глядишь вокруг — глаза болят.
Не разберет усталый взгляд:
Где дом горит,
Где солнце восходит,
Где пламя битвы,
Где закат.

В колючей проволоке
Звери
Кровавые оставляли след —
Пугал их каждой вспышкой свет.
Киты шарахались на берег
От взрывов мин
И от торпед.

От Заполярья, громыхая,
До черноморских светлых скал,
Калеча, грабя, убивая,
Свирепый враг наступал.

Страшней чумы, страшней
проказы
Железный грохот сапога.
Но мы не клали ружей наземь —
Мы ополчились на врага.

На суше, в небе, в море — били,
Топили, рвали на куски...
Мы отступали,
Мы отступали,
Но штики
Обращены на запад били.

✽

По полям примятым,
По листьям, по ямке,
По травмам богатым,
Где пчелы, где мед,
По тропке покатой,
По роше на скате
Идет паренек в краснофлотском
бушлате,
По мхам, по осокам усатым идет.

За роцей, за гривой березовой —
взрывы,
Огня и свинца навесная стена,
А здесь воробы,
И подходы к заливу,
И просинь меж сосен,
И небо на диво,
Плачущие ивы и свет.
Тишина.

Идет краснофлотец,
Шаги его броски,
И шлем набекрень,
Из-под шлема летят,
Как вымпелы, ленты фуражки
матросской,
И буквы, как блестящие.
В зубах папироска,
Концы плащ-палатки
висают до пят.

По четкому шагу,
По резкой поглядке
За волка морского он мог бы
сойти,
Но в выправке этой,
Но в этой повадке
Связот безмятежного детства
пути.

На поясе нож и четыре гранаты,
На пятой гранате — рука
паренька,
Торчит за спиной его
ствол автомата.
А кажется парню, что все
маловато —
Еще не хватает штыка-тесака.
Еще не хватает планшетки и
карты,
Да флажки, да ленты патронов на
грудь...
что рыцари в латах!
Что воины Спарты,
Гольцы, копьеносцы
какие-нибудь!..

На брюках окопная грязь и
солома.
Как жаль, что родные не видят
его!

Таким хоть на миг показаться бы
дома...
Но речка и здесь —
Словно с детства знакома,
И тот же малинник в местах
бурелома
Шумят и глядят на него одного.

К цветку, к лепесткам наклонился
махровым,
Взошел на брусничный сухой
косогор,
Спросил трясогозку: «Как живы-
здоровы!»,
Синицу: «Что нового в дебрях
сосновых?»
Со всеми хотелось вести
разговор.

Не знал он, что был и смешон
и забавен.
Впервые сегодня огнем окрещен,
Он смело приблизился к вражьей
заставе.
Он вправе был думать о чести
о славе.
И так ему было теперь хорошо!

✽

Не позабыть мне первых схваток,
Рывков вперед,
Дорог в крови,
Ночей под кровом плащ-палаток,
Как первой не забыть любви.

Все шло не так,
как представлялось.
Как прочиталось,—
Все не так.
Все было ново: дождь, усталость.
Разрывы мин и рев атак.

Бывало, страх меня тревожил:
Как поведу себя в бою —
Не буду ль слишком осторожен?
Впаду в тоску
Иль устою!

И убедившись, встав под дула,
Хлебную и гула и огня,
Что сердце не заколонуло,
Кровь не свернулась у меня,
Что я ничем других не хуже
Переношу тяжелый путь,—
Я затаил ремень потуже
И широко расправил грудь.

Такая гордость обуяла,
Так показалося просто жить:
Прошел огнем, под свист
металла,—
И все должны тебя любить!

В глазах, в словах — одна победа.
Мечты, мечты наедине...
Кто эти чувства не изведаль,
Тот просто не был на войне.

Таким же, верно, чувством
движим,
Таким же светом освещен,
По теплым травмам, кочкам
рыжиным,
Среди листьев, как среди знамен,
По мхам шагаль Звонков Семен.

Все шумы леса били в уши,
Семистеи иволги, дрозды,
Он сердцем хвойный шорох
слушал.
Но слышал он, — моряк на суше —
Во всем соленый шум воды.

✽

Мы знали все, что час настанет,
Война шагнет на наш порог,
Что срок сражений недалек,
Что хищный враг не перестанет
До смерти рваться на восток...

Семен Звонков возился дома
С какой-то кучей мелких дел,
Писал,
Писал и песню пел...
Услышав в полдень речь наркома,
Он в первый миг похолодел.

Потом сложил в портфель
тетради,
Страницу в книге дочитал,
Сказал:
— Ну что ж... Ну что ж! —
И встал.
Всю комнату окинул взглядом,
Как будто тотчас уезжал.

К утру жена вернулась с дачи,
Ее приезд был он рад,
Хоть с нею жил давно не в лад.
На все он стал смотреть иначе,
Чем день или два тому назад.

Сходил на митинг.
Было странно,
Что на постройках там и тут
Вдруг замерли, застыли краны,
Не кипят асфальта в канах,
Что стены зданий не растут.

А возбужденные нарастало.
Жену объявляя, сказал:
— Ну вот
И для меня настал черед.
Посмотрим, твердого ль закала
Живет во мне звонковский род.

Сказал, что человек вполне
Взрослеет только на войне.
Шесть дней Семен Звонков
томился,
Повестки ждал шесть дней
подряд,

Шесть раз с детьми, с женой
протисля
И, не дождавшись, сам явился
Потуру в райвоенкомат...

✱

Звонкова брат служил во флоте.
И, попросившись в моряки,
Семен не знал, с чего охотил
На корабли, а не в пехоту,
На острова, на островки...

Бушлат, шинель его пленяли
Не меньше, чем других моря.
У старых боцманов едва ли
Так строчки пуговиц сияли,
Так полыхали якоря.

Он так ходил в своей шинели,
Так широко шагал,
Легко,
Что полы по ветру телели
И пыль крутилась вихорком.

Но славу Балтики суровой
Он скоро всей душой постиг.
К волне соленой,
Тьме бездонной
Он относился, как влюбленный.
Как к людям, в битве закаленным,
Как к боевым, лихим знаменам,
Как к непротеченной полке книг.

День первой битвы мчался мимо,
Как первый день земли, как сон...
Уже о нем жалел Семен:
Все ново, все неповторимо!..

Итак, средь сосен и покоя,
Среди брусничника и трав
Шагал он в полдень после боя
И любовался сам собою,
Крещение первое принял.

✱

Под корнями старой ольхи
В наспех вырытой дыре
Два товарища сидели,
Умевшие еле-еле,
Как наганы в кобуре.

Рассказал бойцу Семен,
Как ходил в атаку он,
Как транслирующей смертью
Был изрезан небосклон.

— Немец вышел из-за лесу
Без орудий, без огня
И, пригнувшись,
Мелким бесом
Наступает на меня.

Лезет в драку и боится,
Чтобы гром не разразил.
Рожь крошится,

Дым клубится.
Грузовик лежит в грязи.

Я приник за пнем сосновым,
Я стрелял, а не бежал!

Я бы мог сразить любого —
Одного,
Потом другого.
Я на выбор выбивал!!!

И приятель все до слова,
Даже больше понимал.

У него табак в кисете —
Развернет: «Прошу курить!»
У него в деревне дети,
Тот же дом, и все на свете.
Есть о чем поговорить.

Порешили побрататься,
По тропе ходить прямой,
Всю войну не расставаться,
До Германии добраться,
Вместе выехать домой.
Подружились.
Порешили
Так до старости дружить.

Друга в ту же ночь убили.
А Звонков остался жить.

✱

Лось вышел на дорогу.
Никогда
Он не бывал еще на поле боя...
Все было издавна свое, родное:
Кочкастый мох,
Черничник и вода.
А не было ему нигде покоя.

Недосумненно поглядев вокруг,
Он приподнял копыто и послушал.
Прислушался, переступил...
И вдруг
Волной по телу пробежал испуг,
И лось прижал растрепанные уши.

Как будто сосны падали в бору,
Помались с треском жидкие
Верхушки,
Реались снаряды, надрывались
Пушки,
Вился воронкой ветер на юру,
Шел бурелом по лиственной
Опушке...

Вдруг вражий хохот раздался в
кустах,
И лось метнулся, яростный
и дикий,—

Ему знакомы были
рысьи вскрики,
Вгоняющие все живое в страх.
Метнулся лось по зарослям
черники

И, словно напорвшись на штыки,
Упал с размаху,
выдыхая воздух,—
Колочей проволоки завитки
Ему содрали кожу со щек
И разорвали розовые ноздри.

Спираль в шипах,
как будто на суку,
Повисла на широкой ветке рога.
С ногами спутанными, он с отрога
Скользнул по мху и камням
на боку.

Осатанев,
В себя не приходя,
Он вновь вскочил
И, не считаясь с болью,
Шагнул вперед к зеленому
заполью...
Но проволока, путь загорой,
Ощерившись, встала в шипах
и гвоздях,
Задергалась вокруг,
как сеть на копытах.

Звонков все видел.
Сердце облилось
Горячей кровью.
С горечью душевной
Следил он, как сражение
началось,
Как бился лось,
Как утомился лось
И замер, несмирившийся
и гневный.

Как он потом зализывал бока,
И круп, и грудь, окрашенные
кровью.
Как объявлялось в действиях убийца
Беспомощное что-то вдруг,
коровье...

✱

Шел дождь, каких бывает мало,
Не дождь — а град по воробью.
Водой окопы заливало,
От стужи поле зубы скало,
И ветер выпл: убыю, убыю!..

К земле припала, выгнув спину,
Перестоявшаяся рожь.
Ее бы жать, везти к овину
И молотить...
Но мины, мины —
Снопа и то не соберешь.

Прикрывшись мятой соломой,
Весь батальон у рва лежал.
Так птицы в гнездах среди скал
Скрываются от вьюга и грома.
Бойцы устроились как дома,
Лишь зуб на зуб не попадал.

Весь штаб залез
под плащ-палатку —
Из-под палатки шел дымок,
По желобку широкой складки
Стекал на землю ручеек.

Один комбат не укрывался,
Как будто не было дождя,
И штурм во ржи не бесновался,
Сопушившись, он лишь отдувался,
Плечами косо поводя.

Но даже этому детине
Ознобом челюсти свело,
Багров был нос, а губы сини,
Лицо в коричневой щетине
Напряжено, серо и зло.

Еще сидел с комбатом рослым
Один.
Он он невидим был...
Прикрыв падашкой папирскую,
Он глухо кашлял и курил.

То был любимец батальона,
Бсем одинаково знаком,
Отец бойцам еще зеленым,
Брат ветеранам закаленным,
Любцов — поэт и военком.

Когда-то был он принят косо:
Уж больно мал, уж больно тих.
Такой ли нужен для матросов,
Для альбатросов для морских!

Хотелось видеть комиссара
Под стать комбату: браво вид!
Ведет в штыки — земля гремит,
От комиссарского удара
Чтоб танк и тот — «долгой с копил!»

Но военком дал в первых схватках
Урок наглядный морякам,
Что можно быть моряком
И класть врага на две лопатки,
Не поднимая кулака.

[Век смешной турнирной брани
Давным-давно прошли — увы!
Не скажет враг: «Иду на вы!»
И в битве руку не протянет,
Не загустит, когда ты ранен,
Убив, не склонит головы.]

Он не стыдился укрываться,
Маскироваться,
Землю рыть,
Переползать и пригибаться...
Он говорил: «Твой долг — убить,
А самому живым остаться»

☉

Для тех, кому годами в уши
Хлестал морской соленый вал
[Пусть ты сто раз в боях бывал!],
Не просто вдруг попасть на сушу.

Иная тактика, иные
Ориентиры для стрельбы.
Не сталь, а доты земляные,
Не палуба, а мхи лесные,
Пески, булыжники, столбы.

Привыкнуть трудно и обидно
На брюхе ползать моряку.

Обидно, что врага не видно,
Хотя он где-то здесь — в леску.
И вот они по фронту ходят,
Открыв рисованную грудь
И бескозырку сдвинув,
Вреде

В весенний праздник — на народе,
На хороводе где-нибудь...

Вдали по насыпи, по валу,
По краю глинистого рва
Какой-то молодец удалый
Идет себе —

и горя мало,
По краю свинцом свистит трава,
Что, может быть, с холма круглого
Вреде он виден с головой,
Что не себя лишь одного
Он выдает, а и другого...

И всеком через связного
К себе потребовал его.

Пришел солдат,
Уже усатый,
Уже «обветренный моряк».
На нем палатка,

будто латы.
Бинокль и трех систем гранаты,
Заспанный диск от автомата,
Планшетка, фляга и тесак.

Скосившись и смеясь невольно
Над незнакомым пареньком,
Сказал балтийцу военком:
— Ты, потягу, уж грозен
больно —

Усы и те стоят торчком.
Где плавал!

— Я еще не плавал.
— Фамилия!
— Звонков Семен.
— Ну, как война!
— Война на славу,
Я словно для нее рожден.

— А ходишь, будто гусь
по грядкам.
Увидит немец — всем труба.
Смени походку и повадку...

— Так я ж испытывал себя!..
Я под свинцовым побыл градом,
Я видел свет ракет в ночи,
Я знаю, как «максим» строчит.
От воя мин свист снаряда
Могу за мило отличить.

Широк в плечах. Здоров.
Спокоен.

В налет,
На вылазку пойду.
Доверьте что-нибудь такое,
Чтоб мог врага я беспокоить
И у своих быть на виду!

Хочу с противником сразиться
На штык, на нож — лицом к лицу,
Как полагается балтийцу,
Как полагается бойцу!
Любцов смотрел в глаза

Звонкову,

На рыжий усик с завитком, —
«Хороший парень, с огоньком!»
— Похваляю! Хорошо!..
А к слову,
Женат иль все холостяком!
— Женат, товарищ военком.

Дождь не мельчал.
И за горою,
В деревне, стал стихать пожар.

Стемнело.
— Что ж, ложись со мною,
А завтра приготовься к бою, —
Сказал Звонкову комиссар.

☉

Всю ночь рвались и выли мины,
И треск и стон во ржи стоял.
Бойцы, до боли скрючив спины,
Дрожали, как листья осины,
— Им ветер кости продавал.

Ночь бесконечна, сон короткий.
Не под навесом, не в стогу —
Уткнув в колени подбородки,
Валаясь лодки, словно лодки
На каменистом берегу.

Всю ночь фашисты психовали,
Не спали все до одного:
Ракеты в небо выпускали,
Вдур затахали, вдур стреляли,
Так — ни с того и ни с сего.

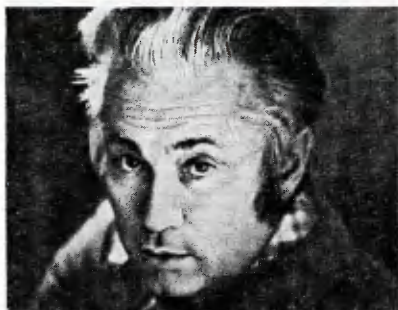
Дрожали, словно вор на плахе, —
Ведь рядом были моряки!
И немцев донимали страхи:
Везде мерещились штыки.

Звонков проснулся.
В мутной рани
Не сразу понял — что он! где!
Все плавало в густом тумане —
На суше он иль в океане,
На корабле иль в борозде!

Все было зыбким и далеким...
И показался он себе
На миг
Забутым, одиноким,
Песчинкой, каплею в потоке,
Прозрачной искоркой в трубе...

Уже немного рассветало.
Очнулся военком Любцов —
Его лишь небо прикрывало...
— Ну, как ты спал! — спросил он.
— Мало...
— Озяб!
— Озяб, но я здоров.
— Вот ночь! Таких побольше б
надо! —

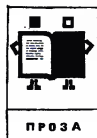
И военком привстал с земли,
С его ручьи дождя текли.
— Таким ночам мы будем рады.
Лишь мочли б, гады,
Мерзли б, гады,
И всех богов своих кляли!



Юрий
НАГИБИН

«ВАСЯ, ЧУЕШЬ?..»

РАССКАЗ



Рисунки
Р. ВОЛЬСКОГО.

«В ася, чуешь?» — звучит ее голос в больших, чуть оттопыренных Васиных ушах, словно она рядом и только сейчас прозвнесла эти простые, а не понять что означающие, волнующие и, как солдатская клятва, твердо отдающиеся в его сердце слова, которые она часто бросает ему на прощание.

Ах, как он чувствует, как сильно, остро, мучительно, тревожно и нежно чувствует Вася, но что? — этому нет названия. А прекрасный ломкий голос звучит в его ушах, хоть он успел проложить между собой и ею километров сто дороги. Если приличествует благодарное слово «дорога» тому глинистому, зыбкому, топкому, гнусному месиву, кое-как скрепленному где щебнем, где бревнами, где песком и гравием, что натужно засасывается под колеса его «газика»-вездехода. Да и какие дороги по вечной мерзлоте? Была одна-единственная на Якутск, да строители быстро разбили ее самосвалами и тягачами. Тайга стоит тут на болотах — хлипкие, тонкоствольные ели, лиственницы, сосенки чахнут в ржавой мокряди, которую не выпарить и самому жаркому солнцу. Здесь всегда мокро и сыро, лишь в трескучие морозы затягиваются вечно источающие влагу поры земли, подсушивается воздух, и прекрасные дороги-зимники стягивают расплывшиеся по громадному пространству человечьи становища. Но до морозов дожить надо, сейчас конец августа, и, хотя на рани все круто присолено утренником, днем можно без рубашки ходить, и дороги киснут, растекаются.

— Чую! — тихонько сказал Вася и опасливо покосился на сидящего сзади киномеханика.

Тот крепко спал, задавленный обрушившимися на него круглыми металлическими коробками с фильмом. У этого парня была замечательная способность мгновенно засыпать в машине на самых скверных дорогах, в самых неудобных позах, в тесноте и обиде, и не просыпаться до прибытия на место. Ухабы, ямы, провалившиеся мосты, лужи под стать озерам, быстрые, бурливые, неглубокие реки, заливавшие не только мотор, но и нутро машины, не могли заставить его открыть глаза. Казалось, он и явился в этот мир лишь ради того, чтобы отоспаться. Видимо, еще в предбытии душа его успела так устать, что сейчас жаждала одного — покоя. Он спал и во время демонстрации фильма, просыпаясь только для смены роликов.

Вася все это знал, но знал также, что жизнь любит подшутить над людьми и вечно спящий киномеханик проснется как раз в то самое мгновение, когда ему, Васе, вздумается заговорить вслух. А ответить необходимо, иначе в ушах будет неотвязно звучать: «Вася, чуешь?» С некоторых пор видения нередко смущали уравновешенный Васин ум, а для водителя нет ничего хуже, особенно на здеших распротканных дорогах.

У Васи не было ни одного прокола в правах, но за последний месяц только мощные, отлично отрегулированные тормоза дважды спасали его от верного наезда. На волосок от аварии вцеплялись колеса в землю, и Вася делал вид перед самим собой и перед пассажирами, что все в порядке, таков, мол, его лихой шоферский почерк. Но Вася вовсе не был лихачом даже поначалу, когда ощущение гладкой баранки под ладонями туманит голову и просто нельзя ездить тихо. Нет, он полюбил свою профессию не за безумные скорости, а за слитность с умным, совершенным механизмом. Баранка делала тихого, смиренного парня сильным, решительным, выносливым и гордым. И машина в его руках не знала никаких мучений, у нее было дыха-

ние ребенка и стремительность самца-олени. А тут — видения, и только чудом не расколошматил он передок. Ну, не совсем чудом — спасли его хорошая реакция и надежные тормоза... Все же лучше сказать вслух: «Чую!» — и погасить звуковые галлюцинации, нежели продолжать путь с двойной нагрузкой — против видений он бесслен.

Шоферы нельзя грезить, «уноситься мыслями», он должен жить дорогой и думать только о ней. Самое чудесное, когда едешь, отмечая про себя каждый ее виток, ухаб, лужу и все, что обочь, — черное горелое дерево, осыпанную ягодами черемуху, дятла, задолбавшего сдуру в телеграфный столб, плывущую из лужи трясогушку. Все по-своему интересно и, включенное в ощущение дороги, не отвлекает тебя от дела, не уносит прочь, чтобы потом, враз отхлынув, оставить на краю беды: впритык к выскользнувшему из-за поворота самосвалу или лоб в лоб с тягачом.

Голос, бывший ему в уши, замолк. Но видения, видения!.. Вначале робко, а потом все увереннее, будто укрепляясь в своем праве, замерцало перед ним тонкое, хрупкое, слабое и упрямое, драгоценное лицо Люды и властно легло на окружающее, предлагая через себя зреть все остальное: дорогу, лес, небо, облака. Но что за беда, если мир видится сквозь прозрачный, как кисель, рисунок многого лица, когда дорога так пряма и пустынна?..

Выплыл из глаз и переноса любимого лица, обрисовался мост с вывернутыми деревянными быками и провалившейся серединой над быстрой, в круговерти воронком рекой. Затем из виска и пряжки волос над ухом появился застрывший посреди реки грузовик с прицепом, не нашедший, видимо, броду, и двое мучающихся возле него мокрых парней. А на той стороне, у самой воды, на спуске, стояла колонна желтых немецких грузовиков «Магирусов» и сигналлила мощно, слитно, через равные промежутки. Вася выключил мотор и спрыгнул на zemлю.

Он кинул беглый взгляд на кинемеханика — спит, как сурок, — затем на старенькую наручную «Зарю» — в запасе полтора часа — и, оскальзываясь, стал спускаться к реке. Удивляло, что шоферы «Магирусов» предпочитают бессмысленно сигналить, вместо того чтобы помочь пострадавшим и освободить путь. Но, подойдя ближе, он уже не удивлялся этому: из кабины каждого желтого грузовика торчал смуглый локоть, а на волосатом запястье поблескивали японские часы «Сейко». Воображение дорисовало остальное: чеканные лица с баками, косо обрезанными по челюсти, ниточка усов, белая отглаженная рубашка, расклешенные брюки и горные ботинки на толстой подошве. Эти ребята, первоклассные, кстати сказать, шоферы, работали только на «Магирусах», вышибали до шестистот в месяц, никогда никому не помогали и не искали помощи у других, держались в презрительном и гордом отчуждении своим, узким кругом.

Настырно, нагло и так не соответствующее суровой простоте окружающего рухнувшие звуковые залпы усасть пикнов. Вася соскользнул к воде. Шофер и его подручный сразу прекратили свою бессмысленную возню и усталились на Васю с последней надеждой отчаяния. И стало ясно, что они не рассчитывали выбраться сами, не знали, как это делается, а возились у машины от ужаса перед забными гудками «Магирусов». Поначалу они, конечно, обрадовались подошедшей колонне, весело заорали: «Выручай, братки!» — небось, достаточно насыщаны были о дорожной взаимовыручке —

святым законом комсомольской стройки — и потерпели серьезный урон, встретив молчаливый, презрительный отказ. На столах их юных душ прибавилось по колечку мудрости, по колечку печального и необходимого опыта, но выбраться из реки это не помогло. И сейчас они смотрели на худого, долговязого парня в резиновых сапогах и выгоревшем комбинезоне, с маленькой головкой, крытой соломенным бобрником, и тяжело висающими кистями рук, — они смотрели на него с чувством большим, чем надежда, ибо не хотелось им напрочь отказываться от взлелеянных в душе ценностей. Они не ждали от него спасения, но хоты бы нарастить еще одно колечко на душевный ствол: не все вокруг гады. И они глядели на шофера, широко шагающего с камня на камень через реку, словно верующие на святого, идущего по воде.

Вася сразу понял, что случилось с неопытными юнцами: не поглядели на рубчатые следы шипа, уходящие с глинистого берега в воду, и угодили на глубину.

— Эх вы, салажата! — укоризненно сказал Вася, оглядывая увязшие колеса грузовика. «Салажатами» называли на стройке желторотых птенцов, и непонятно было, почему морское слово прижилось в тайге, за тысячу верст от моря.

Салажата были до того угнетены, что никак не откликнулись на обидное прозвище, а может, по неопытности не постигли его уничижительного смысла. Оба лишь шмыгнули носом и утерлись тылом ладоней.

— Понимаешь, кореш, — заговорил один из них нетвердым юношеским баском, — мы уж и вагили, и полтагил под колеса пошвыряли...

— Ладно, — сказал Вася, — раньше надо было глядеть. Не видишь, что ли, колес левее идут?!

— Да я думал... — смущенно забормотал тот.

— Индюк тоже думал! — оборвал Вася и полез в кабину грузовика.

— Слегу подвезть? — спросил шофер. Чувствовалось, что и в беде ему приятно произносить такие мужественные слова, как «вагить», «слегать». Городской, зная, человек, играет в бивальсы.

— Иди ты со своей слегой к...! — Строгость, только строгость нужна с молодыми, но Люда запретила Васе материться, и теперь он часто недоговаривал фразу, мучаясь ее оборванностью и бессилием.

Вася сел за руль, сразу обнаружив, что люфт великоват, выжал педаль сцепления — проваливается, завел мотор — трюит малость. «Салажата, что с них взять?». И стал на слабом газу потихоньку трогать машину во вперед, то назад.

— Пробовал враскачку, — сказал шофер. — Разве так ее возмешь?

— А как? — спросил Вася, продолжая свои вялые упрямости.

— Может, подтолкнуть? — робко предложил напарник шофера.

— Отдыхай, — посоветовал Вася. — Хочешь в тайге работать, пользуйся каждым случаем для отдыха. Иначе быстро очокуришься.

— Прицеп не пойдет... — пробормотал шофер. «Магирусы» сигналлили с той же беспощадной настырностью. «Подождете, гады!» — сказал им про себя Вася, а вслух — шоферу:

— Слушай, друг, коли уж влип, так помалкивай и перенимай опыт!..

Медленно, невысисто медленно грузовик двинулся вперед. Казалось, сейчас он станет уже окончательно, захлебнувшись собственным предсмертным усилием. Содрогнувшись, язгзнув, едва не опрокинувшись, тронулся как-то боком прицеп. Главное — не форсировать двигатель, не торопиться,

держаться вот так, на волоске, иначе завянешь еще хуже. Не подведи, родная, просил Вася свою ногу, жмущую, нет, ласкающую педаль газа. На тебя вся надежда! Человек — хозяин своего тела, но в какие-то минуты тело стремится вырваться из повиновения, возобладаст над человеком, разрушить его замыслы. Тут одно спасение — деликатность. Сохранить свою власть грубостью, силой нельзя, необходимо тончайшее обращение. Прошу вас, обращался Вася к своей ноге, не спешите... Легонечко... тихонько... не надо столько газа, будьте любезны, уважаемая... после сочтемся, вы — мне, я — вам... Так, так, чудесно, душенька!.. Ах ты, радость моя!..

Грузовик полз по дну реки, погружаясь вроде бы все глубже. На стрелке он вдруг приподнялся, вырост из воды, видно, колеса поймали твердый грунт, прицеп развернулся, пошел прямо, и вскоре они стали на том берегу в облаке выпариваемой из мотора воды. И тут же «Магирусы» один за другим с воем устремились через реку, точно по переезду, и промчались мимо Васи, и хоть бы один шофер повел глазом в его сторону.

— Тараканы! — крикнул вдогон Васи, но не слышном громко.

— Кореш! — с чувством сказал шофер, став на ступеньку.

— Некогда, салажата! — Вася отстранил шофера, прыгнул на землю и побежал к своему «газзику».

Шофер и его подручный, как зачарованные, смотрели ему вслед. Он чувствовал на себе их восхищенные взгляды, когда залезал в машину, сползал по глинистому берегу, форсировал реку и брал подъем на другой стороне. А потом перестал о них помнить, изгнав напрочь из своего сознания не каким-либо волевым усилием, а как смаргивать соринку с глаза, чтоб не мешала. Если на каждую дорожную встречу и мелкое происшествие раскодовать душу, то ее ненадолго хватит. Тратиться же надо только на большое. В короткой Васиной жизни это была уже вторая великая стройка, а до того он отслужил действительную, и не где-нибудь, а на Севере, и потом еще год валялся на Камчатке.

Но люди, которых он выручил, не имели такого богатого жизненного опыта, поэтому они долго смотрели ему вслед, сперва просто так, затем покуривая и увязывая про себя все приключившееся с ними на реке в тугую озу. И надо полагать, на долгую память завязался им этот зыблук...

Мелкие передатки миновали сладко спавшего кинемеханика, не выглянули он из своего сна и при воле вынужденной остановки. Опять перед ними был разрушенный мост. Покалечило его разливом, как и предыдущий: вывернуло, частью разметало деревянные бинки, смело волнорез, проморило настил. Но сходство было лишь внешнее. По этому мосту ездил, и потерявший грузовик с прицепом и «Магирусы» прошли по нему, а не бродом, на глинистых берегах не было следов. Вроде бы никаких проблем? Черта с два! Каждая из машин доканывала мост, и в каком виде остался он после замыкавшего колонну «Магируса», судить трудно. То, что все эти грузовики благополучно прошли, говорило в равной мере и о надежности моста, и о том, что он наконец разбит и для езды непригоден. Эту диалектику Вася знал наизуток. Конечно, в таких случаях не мешает выйти, посмотреть, а там уже решать, полагаться все же не на точное знание — откуда бы ему взяться? — а на опыт и угадку, которую Люда, вытягивая губы трубочкой, называет смешным словом «интуиция». Но в данном случае он не может решать один, обязан раз-

будить кинемеханика и посоветоваться с ним. О чем?.. Вася поглядел на вздувшуюся, бурлящую воду и понял, что едва ли отыщется здесь переезд. Стало быть, надо перетаскать коробки с фильмом на ту сторону, отправить туда же кинемеханика и рискнуть в одиночку.

— Митя! — крикнул он, повернувшись к спящему. — Проснись за ради бога!.. Хоть на минутку!.. Эй, перен, очнись!.. — и принялся трясти того за колено.

— Приехали, что ли? — пробормотал кинемеханик, не открывая глаз.

— Нет... Мост разрушен...

— Пошел ты, знаешь куда? — пробормотал кинемеханик и снова рухнул в сон.

Вася глянул на часы: запас времени истаял. Значит, вопрос стоит так: или приехать вовремя, или поворачивать назад. Он включил первую скорость.

Доски угрожающе зарохотали, едва он въехал на мост. Весь деревянный состав этого вроде бы массивного, прочного, а на деле игрушечного сооружения, вовсе не рассчитанного на стропитивный характер местных речек, способных за один сутки превратиться из тощего ручейка в стремительный поток, наконец расшатался, расхлябился. Мост может рухнуть окончательно в любую минуту.

Пробоина посреди настила была кое-как забита досками. Тонкие доски разошлись, между ними зияла пуста. Выйти посмотреть? Что толку? Интуиция — так, Люда? — выручай!.. Под мостом — перекаст. Там река, пенясь и клопоча, переваливается через гряды валунов. Если свалишься, то не в воду — тогда еще есть шанс выплыть, — а на камни, с такой высоты расшибет вдребезги.

Он с лагом переключил скорость на вторую, прибавил газу, примчавшая машина рванулась вперед: 80, 90, 100... Включил третью скорость. Вот это место — тонкие доски прогибаются под колесами, трещат, вроде бы разметываются в стороны, теперь под машиной пусто, но она не падает, а пролетает над черной дырой, над беснующейся рекой, ударяется всеми четырьмя колесами о настил и катит по нему, ровно и успокоительно погромыхивающему, до другого берега.

Митя так и не проснулся. И если захочешь кому рассказать, что проехал по дыре, то не будет свидетеля. Впрочем, едва ли ему захочется рассказывать, кого этим удивить? Если оглянуть всю гигантскую трассу строительства, то, наверное, сейчас такой вот прыжок-пролет производит с десятком машин, и нечего даром словами сорить.

Правильно, Васек, хвастаться тут нечем, а подумать можно. Кому надо, чтоб строили такие мосты? Конечно, поначалу, в спешке и запарке инженеры могли в чем-то ошибиться, просчитаться, не учесть местных условий, да ведь стройка идет уже не первый год, строят же мосты по-прежнему на сопках.

Он как-то попробовал завести разговор с начальником СМП Якуниным, башковитым мужиком, ветераном сибирских строек. Тот объяснял все просто: мосты временные, чего с ними возиться? А строительство наше еще в пятилетку не вошло, живем подающими добрых дядюшек из министерств да молодежником энтузиазмом. Если станем временные мосты капитально строить, вылетим в трубу. Техника гребится, возмразил Вася, люди гибнут. «Ты знаешь хоть одного погибшего?» — спросил Якунин. И странное дело, Вася таких не знал. «Ну, а техника?» — настаивал он. «Техника страдает, без спору, но все равно это выгоднее, чем строить Бруклинские мосты. И ути, — вдруг воодушевился Якунин, — Россия всегда так строила, любое свое дело вершила на краю возможного. Ты никогда

не задумывался, Василий, что, может, только так и надо—русским людям необходимы перегрузки? Честно говоря, Вася никогда об этом не задумывался и даже не очень понял ход мыслей Якунина. Ему вспоминалась итальянская картина «Дорога длиною в год», ее по телевизору показывали, когда он на Камчатке служил. Там новый мост в деревне построили. И чтобы его испытать, решили на грузовике проехать. Все боялись риска, один мордастый парень отважился, ему жена изменяла, и он за жизнь не цеплялся. Так попы молитвы читали, женщины рыдали, мужчины крестились, а неверная жена, стоя на коленях, клялась, что больше сроду мужу не изменит. Вот это забота о человеке!.. «Ну, и ехал бы себе в Италию»,—мрачно сказал Якунин. «Что я там не видел?»—обиделся Вася. «А знаешь, парень»,—опять воодушевился Якунин,—мне иной раз кажется, что лучшие ребята потому здесь и держатся, что им невозможные условия надобны». «Ну, если так рассуждать, так это черт знает до чего дойти можно!»—возмутился Вася. «Не дойдем,—пообещал Якунин,—черт знает до чего не дойдем. А примет нас пятилетка, многое изменится». На том и разошлись...

На станцию прибыли в самый раз, когда у клуба уже собралась взволнованная толпа, кто-то пустил слух, что машине не пробиться. Приняли их восторженно—кино не крутили уже две недели. Васю уговаривали остаться и пообещать, но он заторопился назад. Он эту картину уже видел и хорошо представлял, как восторги сменятся совсем иными чувствами. Лучше увезти с собой приятные воспоминания. К тому же у него были свои дела. Киномеханику предстояло крутить два своса, а потом двинуть дальше с попутной. И Вася уехал...

Теперь, когда он забавился от пассажира и груза, мысли о мостах ничуть не тревожили. Насколько по-другому себя чувствуешь, если ты один и ни за кого не отвечаешь, кроме самого себя! На душе стало бесечно, легко, и Вася жал на педаль газа, пренебрегая рывками, ямами и развалинами могучих луж, равно как и всякой дрянью, валяющейся на дороге: от негодных, измятых в плосчину каннistr до старых, стершихся покрышек. Его трясло, швыряло из стороны в сторону, но это было даже приятно. Он начинал понимать рассуждения Якунина насчет перегрузок: что для русского здоровья, то для другого смерть. Довольно быстро домчался он до моста, и здесь ему пришлось притормозить. С другой стороны, почти уже въехав на мост, стоял бензовоз, и шофер, высунувшись из кабины, нервно курил, приглядываясь к разрушенному настилу. Силен бродяга, курит в бензиновых испарениях! Вася взял малость в сторону, он обязан был пропустить бензовоз, и стал ждать, что надумает водитель. Тот поступил простейшим образом: отбросил сигарету и двинулся напролом. Видимо, ему только и нужен был внешний толчок, чтобы решиться. Таким толчком послужало Васиное появление. И снова не молились попы, не плакали женщины, не осеяли себя крестами мужчины, и ветреная красавица не ломала, колениопреклоненная, рук, клянясь быть верной и любящей, если... Поехал шоферюга, даже не удосужившись проверить, как там, на мосту. Он резко, насколько позволяла тяжелая машина, набрал скорость, и, следя за его действиями, Вася понял—проедет. Бензовоз гремел, как тяжелый танк. Он вышел на середину, прошел по воздуху в чистой тишине и снова захрохотал досками, но уже ровнее и спокойнее, потому что с этой стороны мост держался крепко. Он проехал мимо Васи, не оглянувшись, лицо у него было оцепенелое...

Близ полудня Вася остановил машину у Хоготского дома приезжих. Гости из Москвы еще не вставали, что не удивительно—легли в пятом часу утра. А Люда сидела в гостиной—она спала там на диване—с папиросой над нетронутым завтраком и чашкой остывшего черного кофе. Васю взяла досада. Он сам приготовил ей завтрак перед отъездом: достал большое голубоватое гусиное яйцо—выменял в соседнем бараке на пачку болгарских сигарет, собрал целую тарелку закусок, оставшихся от вчерашнего застолья: два кусочка швейцарского сыра, шпротину в желтом масле, три куса докторской колбасы и граммов триста масла, запиханной между двумя половинками батона,—а она ни к чему не притронулась.

— Эх ты, салага, салага!—горестно сказал Вася.—Все дымиться и ничего не ешь!

— Не идет,—сказала Люда. Была она бледная, невеселая, лишь на скулах горели два красных пятна.

— Съешь хоть яйцо. А я тебе свежего кофе заварю.

— Яйцо не хочу. Ешь сам. Я хлеба с маслом поем.

— Правда?—обрадовался Вася и пошел на кухню, где на слабом баллонном газу грелся огромный чайник. Вася отлил из чайника воды в медный кувшинчик и поставил на другую конфорку, достал из стенового шкафика растворимый кофе и сахар. В поселковых гостиницах всегда имелся запас чая, кофе, сахара, соли, приправ, макарон, консервированного молока, финских сухих хлебцев и спичек. Но Люда не может сама о себе позаботиться, и Васе приходится ходить за ней, как за маленьким. И это у нее вовсе не от заблужденности, Вася известна ее прежняя жизнь: сирота при живых родителях—разошлись, разыхались, создали новые семьи, а Люду подбирала старой одинокой тетке, едва терпевшей навязанную племянницу. Просто она равнодушна к материальной стороне жизни. Она не замечала, что ест, могла и вообще не есть, вот только кофе ей иногда хотелось да курила жадно. И отсутствие курева переживала мучительно, хотя курить начала недавно, здесь, на стройке. И как только за голос не боится? Совсем расклеивается она после вечеров вроде вчерашнего, когда ее заставлял петь под гитару. Ведь с пения и начались все ее неприятности. Может, лучше бы оставить ее в покое, не совать ей в руки гитару, но начальник комсомольского штаба Пенкин упорно вовлекает Люду в подобные сборища. Вначале Васе казалось, что ушлый парень хвастает Людой перед разными значительными наезжими людьми, а потом, когда он лучше узнал Пенкина, то переменил мнение. Похоже, Пенкин ради самой Люды старается, хочет показать, чего она стоит. А разве так не ясно? Да и кому показывать то—людям, которые уду и навсегда о ней забудут? А Люда после этих концертов сама не своя: плохо спит, утром разбитая, мрачная, кусок в горло не лезет, только отчаянно смолит одну сигарету за другой. Слишком много тягостного подымается в ней. Но Пенкин никогда ничего не делает зря, видать, есть у него какая-то цель.

Одно время Вася был прикомандирован к его штабу. И частенько говорил ему Пенкин с злой интонацией, ничуть при этом не веселя бледным, одутловатым, будто накусанным осами лицом с темными медвежьими глазами: «Гуляем, Васек! Приехали журналисты из Москвы (писатели, художники, артисты, спортсмены или кто-то из многочис-



ленных шевов). — Закатимся в Хогот на всю ночь. Забрав Люду, гитару и — за мной!

Ходил в передвижках Хогот, его строители соорудили вписать поселок в тайгу, вместо того чтобы по общепринятому способу вырубить всю растительность и на пустыре, обдуваемом злыми ветрами, ставить скучные бараки. Но, конечно, не только в Хогот ездили, да и не в нем дело. Где бы ни бывали, вечером в доме приезжих собирались за чайником или кофейником, случалось и за бутылкой вина (на стройке сухой закон правил) разговоры разговаривать, но кончалось неизменно одним: «Людушка, не сыграешь?» И та, ровно и прочно залеп тонким скуластым лицом, сумрачно, без улыбки, брала гитару и сосредоточенно, низко склонясь над декор, настраивала и начинала петь собственного сочинения песни и чужие, БАМу посвященные, а затем старые русские романсы. И прекращались разговоры, никому не хотелось ни мудрствовать, ни развлекаться информацией, ни решать мировых проблем, ни просто болтать языком, всех захватывала музыка этой девочки, будто разгоравшейся с каждой минутой. Ее ломкий голос в пении разламывался четко — на густой, низкий или на высокий, звонкий лад. Пенкин говорил, что так умеют только знаменитая певица из Латинской Америки и еще какой-то итальянский парень. Молчаливая, замкнутая, всегда погруженная в себя, Люда начинала жить — глазами, скулами, расцветшим улыбающимся ртом, даже ало-прозрачными мочками маленьких ушей, всем гибким, напряженным телом, становилась общительной, насмешливой, почти веселой и такой красивой, что Васе казалось — ее непременно умиляет новоявленный Змей Горыныч. Ах, как она пела!.. А когда все главное было спето — и чего сама хотела и чего просили, — наступала пауза, она заводила на Васю свои ореховые, блестящие, с голубоватыми белками глаза и для него, специально для него, пела глупую, чудесную, самую лучшую в мире песню, которую никто не знал и не просил:

Ах, Коля, грудь больно,
Любимца — довольно!..

Незнакомые люди дружно понимали это как замаскированное шутилой интонацией объяснение в любви и начинали звать его Колей. Он не поправлял их, спокойно отзываясь на Колю. Но случалось, под исход вечера кто-нибудь более приметливый обнаруживал, что он Вася, а не Коля, и выражал недовольство таким самозванством. А какая ему разница, уж он-то знал, что объяснения в любви ни явного, ни тайного в этой песне нет в помине, просто Люда хочет доставить ему удовольствие. Он ни на что не посягал, Вася-Коля, не рассчитывал и не надеялся, просто готов был отдать за нее жизнь — только и всего.

Вечера эти оканчивались тем, что Пенкин говорил, явно подражая кому-то: «Велико наслаждение видеть вас, Лариса... простите, Людмила Михайловна, но еще больше — слышать, и все-таки пора спать, господа!» И Людино лицо мгновенно потухало, будто выключался в ней свет: сбежал румянец, исчезал блеск в ореховых глазах, она вяло прощлась со всеми, подавая безвольную, чуть влажную руку с расклеванными от гитарных струн кончиками пальцев и сразу уходила на отведенную ей койку. А утром была молчалива, подавлена, бледна, лишь горели заострившиеся скулы, и Вася мучительно пытался заставить ее проглотить хоть кусок.

Он знал, как важно для здоровья хорошо и вовремя есть. Испортил он себе желудок на Камчатке,

где питался одними консервами, да и то от случая к случаю. Работа такая была, а главное — беспечность казалась, все с рук сойдет. Не сошло. Теперь от горячего, острого, кислого, а иногда и черт знает от чего изжога мучает и боль сверлит солнечное сплетение. А ведь луженый желудок был...

Вася принес кувшинчик с кофе и разлил по стаканам — круглым, а не каким-нибудь там граненым, в красивых металлических подстаканниках. Он бросил в Людин стакан два куса сахара, посмотрел на нее и бросил третий, хотел уже бросить четвертый, но был остановлен резким выкриком: стоп! Вдохнув, он кинул этот кусок в свой стакан и отправил адогом еще шесть.

— Как ты можешь есть столько сахара? — с гримасой отвращения спросила Люда.

— Он полезен для ума, — пояснил Вася, размешивая сироп.

Люда как-то издали посмотрела на него, но ничего не сказала. Они кончали завтракать — Вася энергично, бодро, чувствуя, как замирает проснувшаяся боль, Люда вяло, через силу, превозмогая себя в угоду Васе, — когда неожиданно-негадано появился начальник СМП Якунин. Его-то что принесло сюда в воскресный день? И потом он же отпустил вчера Васю до понедельника, значит, не собирался в Хогот.

Люда работала у Якунина уже четвертый месяц, обитала с ним в одном вагончике вместе с двумя его заместителями. Да и вообще всецело находилась в его распоряжении, кроме тех случаев, когда со стены снималась гитара и Пенкин возил ее на очередную встречу. Якунин в этих встречах никогда не участвовал, он был принципиальный противник Людино пения. Считал, что не нужно ей петь, видимо, у него были свои веские соображения, как у Пенкина — свои. Но слух он на этот счет не высказывался, во всяком случае, при Пенкине, и даже нередко отпускал с ними Васю, поскольку машина комсомольского штаба не вылезала из ремонта. Вася относился к Якунину с огромным уважением, как, впрочем, и все на стройке, но еще с большим уважением он относился к Люде и считал, что она может делать все, что находит нужным. Кроме того единственного, что и поставило ее в зависимость от Якунина. Он не знал, да и знать не хотел, что произошло тогда между Людой и Якуниным, но не сомневался, она замышляла что-то плохое для себя, и такого права за ней не признавал.

— Деньnochь все поем? — угромо произнес Якунин. — Весело живете, молодцы!.. Люда, соберайся, надо закончить документацию. Погребов приедет завтра.

— Сегодня воскресенье, — напомнил Вася.

— Спасибо! — соизволил заметить его Якунин и снова, язвительно, Люде: — Возьмешь отгул во вторник, если так переутомилась? — Пол-оборота к Васе: — Ответь?

— Можно...

— Я и сам знаю, что «можно»! Но ты же выходной.

— Хорошо выходной! Меня уже на Четверку гоняли. Имейте в виду, товарищ Якунин, разрушены все мосты. Сегодня-завтра Четверка будет отрезана.

— Ты какой-то маньяк! — сказал Якунин. — Что ты все ко мне с мостами пристаешь?

— А к кому мне приставать? Вы начальник.

— Ладно, я позвоню, — нехотю сказал Якунин.

— Позвоните сейчас. Это не шоферское нытье. Там полная хана.

— Позвоню сейчас! Отстань. Так отвезешь?
— Конечно. А что с журналистами делать?
— Это не по моей части. Где Пенкин?
— Он мне не докладывает.
— Вопрос праздный, Пенкин вездесущ,— мрачным голосом произнесла Люда.

То были первые ее слова с момента прихода Якунина, и он обрадовался, услышав его голос. И пожелал большим, тяжелым, неподвижным, красивым даже, но каким-то давнящим лицом.

— Вездесущий Пенкин сам решит, как быть с журналистами. Они еще дырхнут?

— Зашевелились вроде... Кашляют.

И тут возник Пенкин. Невысокий, плотный, плечистый, на легких ногах, бывший боксер-перворазрядник.

— Чай да сахар! — сказал он Люде и Васе, затем, будто только сейчас узнал Якунина: — А-а, начальство пожаловало! Не ждали, но рады.

— Люда возвращается в Заринуй,— сдержанно отозвался Якунин,— срочная работа. Если хочешь, можешь отправить своих журналистов. Места хватит, я остаюсь здесь.

Чувствовалось, что между этими двумя людьми, знающими цену друг другу, не существует взаимной симпатии. Вася догадался об этом сравнительно недавно и был крайне удивлен. Им нечего делить, интересы у них на строике общие, работают рука об руку. Может, причина в Люде? Якунин не хотел, чтобы она пела, не хотел ничего похожего на то, что привело ее к беде, а Пенкин, приехавший сюда позже и узнавший о случившемся с чужих слов, считал, что нечего превращать Люду в затворницу, отгораживать от людей и наступать ей на горло почти в прямом смысле слова. Вася был бы на его стороне, если б не видел, как мучительно даются Люде ее выходы в свет. Прошлое накатывало на нее тяжелой, мутной волной. И тут он готов был признать суровую правоту Якунина, да не мог — лишь с гитарой в руках оживала Люда, загоралось жизнью и радостью ее лицо. Самодельность у них не было, а петь для себя — это он узнал от Люды — нельзя. Можно горланить в лесу, собирая грибы или ягоды, но разве о том идет речь? А у Люды должны наливаться блеском глаза и расцветать рот, даже если за это приходится дорого платить. Нет, все-таки правда за Пенкиным, хоть он и моложе начальника лет на пятнадцать.

— Журналисты остаются,— объявил Пенкин.— Встретили ребят, знакомых по Усть-Илимму.

— Все ясно,— сказал Якунин.— Общий привет! — и вышел из комнаты.

Вася гнал его на крыльце.

— Вы не забудете насчет мостов?

— Я ничего не забываю.

— Когда за вами?

— Завтра к одиннадцати. Отоспись хорошенько. Что-то ты выглядишь паршиво. Брюхо болит?

— Когда жру нормально, не болит.

— Значит, болит. Смотри, неживешь язву. К доктору ходил?

— Да ладно вам!..

— Ничего не «ладно»! Меня не устраивает, чтобы ты свалился. В среду пойдешь на рентген. Иначе к работе не допущу...

Якунин пересек улицу и, нажав на ключ в обычном месте под порожком, зашел в пустую во воскресенье дню контору. Он дозволился к мостостроителям, для которых выходных не существовало, и после долгого, нудного, изнурительного разговора, вернее, торговли — за красивые глаза ничего не делается — добился обещания, что мосты срочно «подлежат».

На большее он и не рассчитывал. Если повезет

с погодой, то недели на две — относительно спокойной — езды хватит. А дальше загадывать нечего. Надвигалась осень — слом погоды, и тут ничего нельзя предвидеть. А вдруг да и пришло давно обещанную дорожную технику и специалистов по мостам? Или растопится чудовищная ледяная линза, обнаруженная геологами как раз под его участком, тогда вообще не стоит беспокоиться о мостах и ни о чем прочем. Конечно, последнее маловероятно, все земляные работы ведутся с предельной осторожностью, чтобы не задеть линзу, не повредить защитной оболочки.

Покончив с мостами, Якунин ощутил странную пустоту. Зачем, собственно, он приехал сюда? Каково неотложное дело выгнало его из теплого, уютного вагончика и заставило сесть на попутную машину в Хого? Ну, дело оказалось, Вася подбрисил. Но ведь не мог же он на это рассчитывать. Конечно, дела найдутся. Как только ассигновки проведут, что приехал начальник, так потянутся сюда, словно паломники за святой водой. Всем что-то нужно. Поселок образцовый, он хорошо, умно спланирован, даже наряден, с великолепным клубом, школой, столовой, все это так, а типовые жилые дома ни к черту не годятся: эти дачки хороши где-нибудь под Кисловодском, а не в зоне вечной мерзлоты, где мороз доходит до сорока градусов. Каждый домик снабжен крыльчком и терраской, а санузел нет. Рукомыойники висят в прихожей, и уже сейчас на рани воду прихватывает ледком, а дощатые сортиры раскиданы по всему поселку. Хорошо там будет зимой, особенно женщинам. Но это давно известно, необходимые меры приняты, и, надо полагать, все образуется. А не образуется — и так переживуют, тяжело, мучительно, да разве впервой? Так было, есть и еще долго будет. Уютно жить в каком-нибудь Люксембурге или Великом — с мышью норку — княжество Лихтенштейн, а не в стране, раскинувшейся «от тайги до Британских морей». Здесь слишком много пространства и ветра. Кстати, о каких «Британских морях» пели они в детстве у пионерских костров? Не Балтика же имела в виду? Нет, это надо понимать символически, как в том стихотворении: «Британия, Британия — владычица морей». Господи, и одного поколения не минуло, а что осталось от бывшего могущества? Островок обочь Европы, раздираемый национальными, экономическими и социальными противоречиями. Ладно, англичане в своих делах сами разберутся, а ему собственных забот хватает. Так зачем он все-таки приехал? Чтобы сидеть в пустой, скучной, слабо истиняющей смолу конуре и ждать, когда к нему потянутся ходоки, чьи требования он все равно не в силах удовлетворить. Обычно он делает все возможное, чтобы избежать этих томительных и бесцельных встреч. А заняться и дома есть чем, коли приспичило пожертвовать выходным днем.

Нечего играть с собой в кошки-мышки. Он приехал сюда единственно из-за этой чертовой девчонки. Взвалил себе обузу на плечи, мало ему забот, теперь расплачивается. Он ничего не умеет делать по-лоловину, принял груз и будет тащить до полного изнеможения. Главное, не приходит к нему такое изнеможение. Он из породы тех проклятых богом людей, у которых спина грузика, они жить не могут, если их не навьючат до отказа. А ведь он только с виду краж, а внутри весь тухлый. С двадцати трех лет, как институт окончил, зарядил на бродячую жизнь, и сказала ему палаточная романтика, с чювочками у костра, в сырых землянках, в худых палатках, фанерных бараках Сердце еще не подводит, жаловаться грех, но тело, застуженное и наломанное, болит с головы до пят. Каждая косточка ноет, нудит, не дает покоя. Он не в претензии, потому

что не мог иначе, и, если б начал все сначала, обязательно приобрел бы свои хворости, неотделимые от бивуачной жизни. Из этого вовсе не следовало, что он, подобно многим хвостам, считал свою жизнь правильной, безупречной и единственно для него подходящей. Нет, он любил делание, но прямое делание очень рано заменилось у него косвенным, уже вскоре после института, когда из мастеров он неуклонно «пошел вверх». Он смел в какой-то момент остановиться и сохранить местоazole делания, иначе сидеть бы ему в министерстве, в мягком кресле, при трех-четырех телефонах, но все равно от прямой ручной работы его отторгло давно. А что ни говори, самое лучшее — это делать что-то руками. Он и сыновей своих приохотил к ремеслу. Оба парня кончили техникумы, один стал гранильщиком, другой краснорезцем. Правда, гранильщик в настоящее время гранит сапогами каменистую почву Алтая — обивает действительно, а краснорезец, отслужив на Амуре, такие интерьеры оформляет, что завидки берут. Он женился, ждет ребенка и не только не таяет денег с родителей, но все норовит матери подсунуть, как будто им своих не хватает. Какие прекрасные еще сохранились профессии: камешник, лепщик, ювелир, столяр, плотник, гранильщик, резчик по дереву, реставратор. Профессии, освобождающие человека от самого страшного — присутствия места, дающие самостоятельность, хороший заработок, чувство самоуважения, каким обладает каждый честный ремесленник, но не может обладать канцелярский мышонок. У ремесленников есть заказчик, в остальном он сам себе голова. И наци Якуин сначала, он стал бы плотником, сейчас интересно плотничать, дерево опять в цене и почете, из него много чего строят. Но не сложились: он изначально важного участка Великой стройки, седьмой и последней в его жизни. Когда закончится это строительство, ему останется года два до пенсии.

Можно было бы под уклон дней чуть меньше себя тратить и не мчаться на попутном грузовике за пятьдесят километров из-за вздорной девочки. Но всяк своему нраву служит. Он ненавидит в людях раздвоенность, то, что теперь принято называть с противной умильностью «вторым талантом». Чепуха все это! Не бывает никакого второго таланта. Талант вообще редкость, достаточно если ты хороший профессионал. В старое время встречались люди разносторонне одаренные, да ведь и жизнь была куда проще, охватнее. Но давалось это либо гениям, либо дилетантам вроде тех дамочек, что писали маслом и акварелью, брэнчали на фортепьянах, пели романсы и сочиняли стишки или сплюнявые рассказы. В наше время, дифференцированное до последней степени, такие номера не проходят. Сейчас просто физиком нельзя быть: надо внутри науки выбрать узкую специальность. И так называемая самостоятельность — вроде разных там уральских хоров или сибирских плясовых ансамблей — самая настоящая профессиональная работа. Всякая другая самостоятельность — утешение для неудачников или ловушка для заблудившихся в трех соснах. Последнее и случилось с Людой.

Приехала с московским поездом красивая девочка, полная романтичности и наивных, чтоб не сказать просто глупых, представлений о таинственной жизни, о быте и нравах великих строек — к сожалению, у многих парней и девушек такой детский настрой, когда едут они на крайне суровую, даже жестокую жизнь, тяжелейшую работу и гнусный климат. Заморочили им головы кострами, гитарами, бригантинами, алыми парусами, и они рвутся сюда из теплых городских квартир, из-под материнского крыла, как птицы

из клетки. Кстати, птицы, привыкшие к неволе и выпущенные на свободу в День птиц, обречены на гибель.

С этими так не случается, никто не гибнет, но многие бегут. Сколько народа осталось от первого поезда, который провожали с особой помпой, оркестрами, напутственными речами, в ослепительных вспышках блище? По пальцам можно пересчитать, но эти будут до победного конца. Тут нечему удивляться. Не раз обновится людской состав, пока не станет тем коллективом, который святой Петр без проверки в рай пустит. Здесь уже не будет ни бичей, ни хлупов, ни халтурщиков, лишь гибкая человеческая сталь. Но для этого нужно время, и оно есть. А те, что «были первыми» — самые трудные люди, ибо ехали вслепую, не представляя, что их ждет, не рассчитав своих сил. Энтузиасты с тонкими шейками. Правда, и среди них оказываются крепщики, одержимые его, якуинской, жаждой делания, немедленного, прямого, активного действия. Эти и осядут в лоток, как золото при промывке, а другие всплывут пустой породой и будут выброшены.

Особенно трудно с теми, у кого «второй талант». Значит, первого нет, простого таланта добросовестно делать порученное дело. Люда приехала сюда не из теплого родительского дома — чего не было, того не было, — в остальном же она ничем не отличалась от московских козляков, как тут принято выражаться. За плечами у нее был библиотечный техникум и года три работы в районной библиотеке. Почему не кончила вуза, хотя бы того же библиотечного, он теперь, кажется, институтом культуры называется? Может, надо было на жизнь зарабатывать? Но что мешало ей поступить на вечерний или заочный? Догадаться нетрудно: небось, в самостоятельности подвизалась. У нее же голос!.. Но, видать, чем-то не устраивала ее такая жизнь, вот и кинулась на БАМ со всех ног.

Якуин не наблюдал ее поначалу, хотя приметил сразу — красивая, не просто красивая, а какая-то горящая. Хорошо ей тут показывалось, радостно, счастливо. И было бы хорошо, да подвел второй талант. О голосе ее Якуин отказывался судить. Он был лишен слуха и музыкальности, терпеть не мог визгливого женского пения, да и мужское не сильно жаловал. Ну, когда хор грянет «Славному морю, священный Байкал» да еще под настроение — куда ни шло, всякое другое пение или раздражало или оставляло равнодушным. Он любил то, что делается руками: резьбу, чеканку, керамику, фарфор, ювелирные изделия. К остоному искусству не испытывал тяги, а читал лишь научно-техническую литературу или классиков, чтобы уснуть. Он был уверен, что среднего человека едва хватает хорошо — ну, хотя бы просто совестливо — делать свое прямое дело и поддерживать профессиональную форму: не оставлять, быть в курсе нового, и довольно с него. Остальное — или халтура, или игра, или желание пыль в глаза пустить. Ну, а Люда, девочка тщеславная к тому же, кинулась на все здешнее, как осы на сладкий пирог. И библиотеку подбирала, и на субботники ходила, и пела где только могла, и самостоятельность затеяла. Они поставили музыкальный спектакль по Бродскому. Люда была и режиссером и главной артисткой. Шум, треск, в газетах отзывы, даже в центральных, по радио раззвонили. Потом ее на Всероссийский фестиваль рабочей песни послали, вернулась с призом — хрустальной вазой. А девочки, с которыми она сюда приехала, все это время по колена в болотной жиже выкалывали, бараки строили, мучались от гнуса и жажды — не хватало питьевой воды, но о них не кричали, не писали в газетах. Встретили они свою преуспевающую подругу без цветов и

оваций, на что она, кажется, рассчитывала в упоении молодой славы. И вот тогда Якунин, издали и отнюдь не приставно следивший за Людой, попробовал вмешаться в ее судьбу. И вовсе не из доброго чувства к ней, его тоже начала раздражать эстрадная слава девочки, приехавшей сюда железную дорогу строить, а не песни играть. Он как-то остановил ее на улице. Ну, отпелась?.. Пойди-ка, поработай в строительной бригаде. Она вспыхнула, ничего не сказала и уже на другой день ловко действовала мастерком — способная все-таки, ничего не скажешь! — в бригаде штукатуров на объекте номер один — банно-прачечном комплексе. Долгожданный объект сдали досрочно, и тут совсем не к месту сработала Людина популярность. Пенкин, умища, сроду бы такого не допустил, но его еще не было на стройке, а звонарь участковой комсомольской звонницы ударил во все колокола. Отгулительный перезвон гремел и разливался лишь в Людину честь, будто никакой бригады в помине не было и выдающийся баюмская певица, автор песен о рабочей молодежи, лауреат Всероссийского конкурса, в одиночку построила комплекс. Всем равняться на Людину! Ратникова, красу и гордость комсомольской стройки!..

Что произошло в Людином бараче, осталось неизвестным, во всяком случае, Якунину. Но ясно одно: девчата выдали ей сполна, выплеснули всю горечь и обиду, разгрузили душу, возможно, словами не ограничили. Он этого не ведал, хотя о скандале узнал сразу. Нашлась сербобольная душа, подняла его с кровати среди ночи. «Людка в лес побежала, как бы чего над собой не сделала! Почему он сразу догадался, где ее перехватить? Сколько бесознательного таится даже в самом сознательном человеке! Он же не думал о ней сколь-нибудь глубоко и подробно, но сразу охватил случившееся и сделал правильные выводы. Он лучше знал местность и оказался на железной дороге почти одновременно с ней. Товарищ с двумя пассажирскими вагонами как раз выходил из-за поворота. И все-таки она опережала его, а он, стянутый своими хворостами, как обручами, не был отменным бегуном. По счастью, Люда споткнулась у насыпи о горбыль и упала. Перевоз прокачал поршнями, застучали вагоны. Когда она всколыхилась, из хворья, устремилась к полотну, он настиг ее, в отчаянном рывке схватил за плечи и отшвырнул прочь. Потом поднял ее, взвалил на плечо, недвижнкую, мягкую, словно бесконечную, и понес в поселок. Его ничуть не заботило, что подумают окружающие — несмотря на поздний час, жизнь в поселке продолжалась; он знал только, что должен унести ее, спрятать, запереть и не выпускать, пока не минует ее безумие. В лесу она очнулась и сказала: «Пустите!» — «Ты пойдешь со мной?» — «Да». — «И не вздумай бежать!» Второй раз ему уже не нагнать ее. «Нет. Пустите». Поверил и опустил на землю. Она убрала с лица волосы, пригладив их ладонями, стряхнула песок с колен и послушно пошла рядом, касаясь его острым локтем.

Он жил с двумя заместителями в прекрасном немецком вагоне, снятом с колес и поставленном на земляной фундамент. В передней части находилась контора; задняя, большая, служила жильем. В вагоне было чисто, тепло, сухо и уютно, он располагал туалетом и даже душем. Вагон прислали в качестве оптимального. В прежние время Якунин никогда бы не посягнул на него, но, постарев и расклевываясь, наконец отбросил подобную щепетильность и сразу захватил вагон. Там было место еще для одного, надо только лежал Люды отделить от мужчин занавеской. «Ты будешь жить здесь и работать у меня. Штатное место — чертежница. Но займешься моей канцеля-

рией, там беспорядок на грани уголовщины». Она равнодушно кивнула. И в последующие дни и недели она безропотно и безразлично соглашалась со всем, что он говорил. «Ешь!» — она ела, вяло двигая нежно очерченными челюстями. «Ложись спать!» — она ложилась. «Гаси свет!» — гасила. «Подъем!» — тут же вставала. Порой ему казалось, что перестань ею управлять чужая воля, Люда опадет, рухнет, как марионетка, если отпустить веревки. Но вскоре он понял, что это не так, покорность ее была особого толка. Прежде всего она слушалась только его, заместителя начальника СМП словно не замечала и, если кто-то из них пытался расприжаться ею, была, как глухая. И Якунин попросил оставить ее в покое. При этом она навела образцовый порядок в его бумагах — сказалась навяз систематизации, воспитанная библиотечной работой. Потом выяснилось, что она бегло печатает на машинке и неплохо чертит. Она становилась необходимой.

Из вагона Люда почти не выходила, даже питалась дома, готовила себе пороховый суп на электроплитке. Но однажды он увидел на стене за ситцевой занавеской гитару. «Откуда?» — «Лерка принесла», — уронила безразлично. Лерка — та самая сербобольная душа, что подняла тревогу. «Не расколомати-ли?» — «Как видите, нет.» И добавила с угрюмой усмешкой: — А хотели... Потом он обнаружил, что она курит. Ему не нравилось, когда девушки курили, но тут он обрадовался. Значит, поставила крест на своем пении. С прокуреным горлом не запоет. Он хотел от нее одного — цельности, лишь в этом видел ее спасение.

Все изменилось с приездом Пенкина. Как-то раз, вернувшись поздно домой, он не застал Люды, впервые с ее поселения в вагоне. Не было и гитары на стене. Он ждал ее чуть не всю ночь, но вернулась она лишь на другой день с горькими скулами и потухшими глазами. Оказывается, Пенкин возил ее в Хогот на встречу с шефами из Горьковской области. «Ты считаешь, что поступила правильно?» Она промолчала. «Я думал, со всем этим покончено, как с чересчур затянувшимся детством. Началась серьезная взрослая жизнь.» «Жизнь? — переспросила она. — Разве это жизнь?» — «Значит, никаких выводов не сделана!» «Ах, вот что!.. По-вашему, меня поставили на колени?» — «Я этого не говорю! — смеялся он. — Тывольна поступать, как тебе вздумается. Но мне казалось, я имею право дать тебе совет.» — «Ну, еще бы, вы же мой спаситель!» — интонация была недоброй, насмешливой, вызывающей, и он замолчал. Он замолчал, поняв смятенным сердцем, что безоружен перед этой девочкой, потому что любит ее. Любит давно, с той самой минуты, когда поднял ее на руки и понес через лес, но в защитном самоослеплении заставлял себя ни о чем не догадываться. Все это было безнадежно, хотя он знал, что не противен ей. Порой казалось, что она могла бы кинуть ему себя, как кость, из благодарности, вернее из гордости, чтобы не чувствовать себя вечно обязанным ему. Расплатиться и обрести свободу... И как это ни печально, с него хватило бы даже такого суррогата счастья. Но он не имел права на ее близость. Наверное, злые языки уже болтают на их счет, оснований для сплетен более чем достаточно. Но пока между ними ничего нет, он мог плавать на любые слухи и прямо смотреть людям в глаза. Стоит переступить черту, и он теряет себя нынешнего и не может требовать от людей того, что зачастую требовал сверх их возможностей и терпения; явил слабость, ты уже не сделаешь сильными других. Есть иной путь — открытый. Женись на Люде, женись, наступленный, напомаженный, негнувшийся, как задохший ствол, женись — подумаешь, четверть века

разницы в наше-то снисходительное время! — женись со своей большой головой, тяжелым, неподвижным лицом и бычьими, натекшими кровью глазами — от давления или возрастных приливов? — женись, девчонкам со стройлощадок ты до сих пор кажешься мужиком что надо, у тебя все качества современного модного антиягера: возраст, болезни, мрачность, сила и тьма-тьмущая опыта любого сорта, женись — сыносья твои стали на ноги, а жене ты не нужен. Двадцать лет совместных скитаний, сырые ноченьки, самодельные аборты, зверское пренебрежение к хрупкой женской сути прикончили в ней женщину. Она принимает тебя, когда ты приезжаешь в отпуск домой, голодный, как волк зимою, но она пуста, быть с ней — все равно что с манекеном. Кто тебя осудит, да и чей суд тебе страшен? Чей? Свой, свой собственный. Можно бросить женщину, но нельзя бросить пустую оболочку женщины. Тогда ты не человек, ты хуже самого последнего подонка. Бывают безвыходные положения, хоть и трудно с этим смириться. И не пытайся играть в другую игру: вытравлять из памяти, как ты нес эту девочку через соснак. Вас ее легкого, беспомощного тела навсегда останется на твоём плече, на всей твоей плоти, на твоей душе. Ты с этим не разделишься никогда. Твое положение безнадежно, и брось корчить из себя воспитателя. Ты можешь воспитывать коллективы или молодцов-сыновей, но не существо, перед которым мысленно ползаешь на коленях. И откуда ты знаешь, в чем ее благо?..

Большой, грузный человек с тяжелым, властным лицом сидел в пустой, пахнущей смолой и солнцем комнате, и выпуклые красные глаза его набухали едкими слезами, и никто в целом мире не мог помочь ему...

...Вася, Люда и Пенкин благополучно продвигались к Зарину и в исход обещанного часа остановились возле образцовой столовой московского поезда.

Здесь их отменно покормили, и даже Люда под Василиным нажимом съела чуть не целую тарелку супотных грибных щей. Она успокоилась, погасила пятна на скулах, и впервые за последнее время Люда отказалась от предложенной сигареты.

Когда же подали кисель, она попросила Пенкина: — Можно оставить тебе гитару? Я к девочкам загляну.

— К каким девочкам? — спросил Пенкин, которому до всего было дело.

— К своим, — сказала Люда спокойно.

— А-а-а... Понимаю. Оставь гитару, после занесу. Люда допила кисель, поднялась, оправила юбку, пригладила волосы ладонями. Она никогда не носила с собой ни сумочки, ни расчески, не пользовалась косметикой. И тут Васю при всей его недогадливости пронзило:

— Постойк, Ты пойдешь к... этим?..

— Что ж тут, такого? У меня нет других подруг. — Но они... но ты! — Вася задыхался от негодования.

— Я ничего у них не украла, — тихо сказала Люда.

— Молодец! — с чувством произнес Пенкин, и его бледное, одутловатое лицо слабо порозовело. — Молодец, девчонка! Так и надо! Только так!..

Ну, конечно, опять всеобщее понимание, один Вася — пень. А на кой дьявол Люде идти туда, где с ней так гнусно поступили? Пусть бы поклонялись, стервы, чтобы Люда к ним снизошла. Но раз Люда решила, так тому и быть. Вдруг, двинув стулом, Вася вскочил и нагнал Люду в дверях.

— Ты им скажи... Если они того... я им барак сплю, честное комсомольское!

— Ладно! — Люда рассмеялась, что с ней не часто бывало. На крыльце обернулась: — Вася, чуешь?..

Он вскинул маленькую голову с острым подбородком: конечно, чуешь!.. Только вот — что?..

Вася вернулся к столу, когда Пенкин расслапсывался с подавальщицей в белой крахмальной короне над сытым румяным лицом. Подавальщица отплыла, покачивая бедрами и бречка мелочью в кармане фартука.

— Вот характер! — с чувством сказал Пенкин.

Вася посмотрел вслед тучной подавальщице, не понимая, как разглядел Пенкин характер в этом телесном изобилии.

— Да не о ней! — с досадой сказал Пенкин. — Сколько нужно мужества, и широты, и настоящей гордости!.. Ах, молодец!..

— А ты в этом сомневался? — холодно спросил Вася.

— При чем тут «сомневался»? Рад за нее, понастоящему рад...

И тут их раздвинули: к Пенкину озабоченно шагнул парень из комсомольского штаба, а Васю окликнул его приятель и сосед по бараку.

— Васек, нас турнули!

— Как турнули!

— Очень просто. Хозяева вернулись. Вещички наши поывбрасывали и отдыхать легли. Серьезные ребята, однако.

Мать честная! Вот этого Вася никак не ожидал. Почему-то он был уверен, что хозяева коек, которые они с приятелем, тоже шофером, самовольно заняли, вернутся не раньше конца сентября. А за это время Якунин пристроил бы Васю куда-нибудь. Он работал с Якуниным меньше месяца и считал неудобным при всеобщем квартирном кризисе просить у него жилье. Тем более, летом это не вопрос. Люди в постоянных разездах, забрасываются десанты в глубь тайги, то там, то сям освобождаются койки, на худой конец можно и в машине переспать или в палатке у костерка. Да, затянул он с этим делом: осень на носу, за ней зима лютая, и тут, милый друг, без крыши над головой загнешься. Не вовремя пожаловали эти ребята, но ничего не поделаешь, они в своем праве.

— Ты где устроился? — спросил он приятеля.

— Будешь смеяться — у девчат. Только помалкивай, комедантша узнает — шкуру дерет. У них одну в роддом отравили, ну и пока... перебьются.

Вася вздохнул и пошел к бараку, где безмятежно прожил без малого две недели.

На крыльце валялся его вещмешок, его солдатский сидор, что прошел с ним и действительно, и тяжелую камчатскую службу, и усть-илимскую страду, валялся незавазанный — подходи любой и бери, что приглянется. Правда, приглянется там нечему: пара старых брюк, заносная курточка из кожзаменителя, две рубашки, трусы, несколько пар носков и вафельное полотенце. Не разделился Вася имуществом, да и к чему оно в его скитальческой жизни? Вася заглянул в мешок, но и так уже видно было, что казенное постельное белье туда не попало. Он опять вздохнул — лучше бы исчезнуть тихо — и, толкнув дверь, вошел в комнату. Сразу пахнуло чужим и скверным: сапогами, грязными портянками, нематым телом и чем еще? Перегаром, что ли? Да, и какой-то парфюмерией. У подокольника, сплюнувшего в Васе, был парень, под майкой-безрукавкой двигались острые лопатки. Вася с безотчетным удовольствием отметил, что густую мыльную пену парень соскабливает со щек безопасной бритвой. А на постели, которую Вася еще недавно считал своей, развалился здоровенный малый в расклешенных брюках, ковбойке, дражных шерстяных носках и куртке, сбрасывая пепел за плечо — на подушку и стену. Жизненный опыт подсказал Васе, что он попал



не к лучшим людям современности. Малый на койке — уколобий, с грубым челястимым лицом и узкими щелками глаз — был типичным бичом, а худенький у окна — шкетом при нем.

— Здравия желаю! — вежливо сказал Вася. — Прошу прощения, что воспользовался без спроса вашей койкой, и разрешите забрать постельное белье. Парень у окна мелкоком оглянулся и продолжал скоблить прыщавую щеку, растягивая кожу пальцами. Лежавший на койке не отзывался.

— Белье, — повторил Вася, — оно казенное.

— Видел фрейера? — чуть повернувшись в сторону окна, непроспавшимся голосом спросил бич. — Захватил чужую койку, напустил вшей и еще разоряется.

— Ваше белье в ящике. — Вася подошел к шкафу и с натугой выдвинул нижний ящик. — Я на нем не спал.

— Заткнись! — сказал бич и погасил сигарету о ночной столик. — Чеши отсюда.

Вася стоял, чуть наклонив к плечу маленькую голову и раздумывая, как же получить казенное белье, без которого он не мог уйти. Своими острыми чертами и хохолом на макушке он походил на взвешенного воробья, но в школе у него прозвище было другое, — «Воробей», а хуже, обиднее — «Комма», что значит по-немецки запятая. Из-за проклятой привычки склонять голову к плечу. Это придавало Васе жалостный вид, и лежащий на койке амбал презирал его всем своим косматым сердцем. Он не видел ни покато-сильных Васинных плеч, ни длинных рук с тяжелыми, большими кистями, лишь эту желтую, склоненную к плечу головушку и хохолок на макушке, да еще он чуял вывернутыми ноздрями ветерок опрятности — внешней и внутренней, и было это ему хуже отвратяющего газа.

— Я уйду, — сказал Вася, — только отдай белье.

— Бери, — усмехнулся бич.

Вася подошел и с силой рванул из-под него постыню. Бич не ожидал этого и чуть не свалился с койки. Но удержался и в следующее мгновение упругим косячком прыжком вскочил на ноги.

— Ну, сука, я тебе сделаю! — проговорил он с кажим-то наслаждением и медленно, косолапо, левой ногой вперед двинулся на Васю.

И на расстоянии от него несло луком и сивухой. На стройке сухой закон — как умудряются алкаши добывать горючее? Правда, он только сегодня приехал, мог на «большой земле» разжиться. Вася интересовался этим совершенно бескорыстно: он не пил. Он спортом увлекался. Во время своей военной службы, когда свободные часы ничем было занять, он прошел полный курс самбо у старшины — мастера спорта. Он ничуть не боялся бича, даром что тот тяжелее. Он больше опасался, как бы шкет не всади ему сразу заточенный напильник. Вася, по правде говоря, только напильника и боялся. Нож обычно пускают в ход впрямую, тут и защититься можно, а напильником подкалывают исподтишка, против него человек беззащитен. Но шкет усердно брilsся, то ли из доверия к боевой мощи старшего друга, то ли по врожденному миролюбию.

— Ох, как я тебе сейчас сделаю! — мечтательно сказал бич.

— Я бы два раза, — сообщил Вася, — раз по башке, другой по крышке гроба.

Он сравнивался в остром чувстве друг к другу, чувство, похожее на влюбленность, настолько не хотелось им, чтобы их что-нибудь разлучило сейчас. Каждый был полным отрицанием другого: два мира, два отношения к жизни, и возобладай один — другому здесь нечего делать. Но у Васи неприятие бича было шире, философичнее. Сам-то он плевать на

него хотел, но ведь сюда приезжают ребята, не изучавшие самбо, не служившие в армии и на Камчатке, зеленые юнцы из Москвы, Ленинграда, Горького и других хороших городов, может, и смелые, мужественные ребята, но неумелые и против такого бессильные. Так разжигал себя Вася, мучаясь врожденной болезнью: неспособностью поднять руку на живое, дышащее, мыслящее существо. Правда, бича едва ли можно назвать существом мыслящим, но живым и дышащим он был несомненно, Васю мучило от его смрадного дыхания.

Бич шел, не замечая, как собралось, изогнулось длинное, сухощавое тело противника, напряглись тяжелые руки. И вдруг, хекуя, он рванулся вперед и ударил Васю ногой в пах. Но Вася предугадал подлый и нехитрый выпад и, согнувшись, самортизировал удар, принял ногой бича, как вратарь мяч. Вслед за тем он резко вывернулся, рванул ногу бича вверх и опрокинул его навзничь. Бич грохнулся затылком об пол и прохрипел:

— Наших быют...

Шкет вскочил с пронзительным шпанским визгом. Пузырьки пены лопались на щеках. Вася навалился на него обеденный стол и прижал к стене. Шкет завыл, будто от нестерпимой боли, и сполз вниз. Приворачается перед шефом, догадался Вася и потерял к нему интерес. Бич пополз прочь, скуля и хватаясь за голову. Это все тоже было известно, и, когда тот попытался вскочить, Вася перехватил его как бы на взлете — крюком в солонное сплетение, прямых в челюсть — и для крови — по сопатке. Бич рухнул и скорчился на полу.

Вася забрал свои простыни, наволочку и вышел на улицу. Белье он закинул в сидор, затянул брезентовое горло веревкой, вскинул легкую ношу на плечо и пошел искать пристанище. Команданта по воскресеньям можно поймать лишь утром, и Васе оставалось надеяться на собственную удачу. Как всегда в исходе августа, рано и быстро смеркалось. Когда он зашел в барак, цвел ясный день, и вот уже вытянулись тени, лиловый окаяем лег по горизонту, порозовело небо на западе, и надо было поспешить с устройством на колене.

..Отсморкав кровь, умывавшись и надавав по шее предателю-шкету, бич почувствовал тянущую боль и тяжесть в животе, хотя за весь день ничего не ел, только выпил в поезде самогону. Выдать, этот длиннорукий гад, что-то нарушил в его организме. Из самолюбия бич долго сопротивлялся позывам, но в конце концов был вынужден отправиться на двор. Ломило ушибленным затылком, кровь-заклеила нос, и дышать он мог только ртом, левый угол челюсти онемел, будто эфиром помазали. Бича часто били, и он бил, не придавая особого значения ни полученным, ни нанесенным побоям. Это входило в существо той жизни, какой, по мнению бича, только и стоит жить настоящему мужчине. Но сегодня все получилось ласковым: его поуродовали не численно превосходящие противники, что было бы закономерно, а один на один худой, долговязый фрейер. Нет, конечно, он не был фрейером, это зря, парень тертый и приемы знает. С теперешними вообще надо держать ухо востро: с виду доходяга, а сам мастер спорта по какой-нибудь дзюдо... Но ему-то нельзя было так попадаться. И шкет, сука, в руках же лезвие было!.. Промахнулись они с этой стройкой, не будет тут жизни. Сухой закон, анашу ни за какие деньги не достать, и еще дерутся. А работу требуют, как с идеиного. Надо рвать котги, вопрос только куда. И кто поручится, что на Зее, скажем, будет лучше? Обидно, тоскливо и горестно было бичу, хоть в голос вой! Он зашел в дощатый домик, освещенный пяти-надцатисвечевой лампочкой, и, пристроившись, стал



привычно шарить глазами по клинописи, испещрившей стены уборной снизу доверху. Кое-кто упражнялся в нехитрой прозе, но больше было стихов, коротких, в две строчки, и таких длинных, что дочитать лень. И вдруг что-то толкнуло бича в сердце, сбив с нормального стука. Он взял валяющийся на полу отрывок чернильного карандаша и крупными буквами написал на стене: «В глаз тому, кто злит шпану!»

Прочитал вслух и сам себе не поверил, до чего складно и звонко прозвучало. Обвел рамкой свое стихотворение, чтобы не путали с мараньем других рифмоплетов.

Он вышел из будки. Совсем смерклось, и в темном небе проступили желто поблескивающие точки. Что это?.. И вдруг вспомнил — звезды...

...Вася улюлю тачился со своим мешком по главной улице поселка. Попытки устроиться хотя бы на ночь ни к чему не привели. Как нарочно, вернулись все десантники, все поисковики, все больные вышли из больницы, понаехали новенькие, свободные коев в наличии не имелось. Конечно, было одно место — в вагончике Якунина, ведь он остался в Хоготе, но Вася и подумать не мог о таком кощунственном посягательстве. И даже не из-за Якунина, तो слова бы не сказал, а и сказал бы — невеликая беда. Но там, за ситцевой занавеской, спала Люда, и ее обиталище нельзя превращать в ночлежку для бездомных кретинов. И то, что рядом с ней помещались два мужика, якунинские замы, положения не меняло. Им небось все равно: кашлять, зевать, храпеть, хрюкать, ворочаться, бегать в подштанниках на двор, когда рядом творится слабый сон Люды; а он убил бы в себе сердце, если б оно своим стуком мешало Люде спать. И вообще — исключено!..

Но так дальше жить нельзя. Пора браться за ум. Ночи уже холодные, скоро ветры задуют, и сразу ударят морозы. У распоследнего бича, готового в любой момент рвануть со строительства, есть койка, а у него, который будет тут до конца, нет своего угла. Кочуй, как цыган, с места на место — смешно даже! Ему и впрямь стало смешно, и он громко зашел на пустынной улице простуженным голосом, но с хорошим слухом:

Привик я греться у чужого огня,
Но где же сердце, что полюбит меня...

— Вот оно! — послышался за спиной знакомый голос. — Вот сердце, готовое тебя пылко полюбить. И грустный весельчак Пенкин предстал перед ним.

— Почему с мешком? — поинтересовался Пенкин.

— Переезжаю, — свободно ответил Вася.

— Куда?

— Спроси о чем-нибудь попроще.

— Ну и тип! — не то удивился, не то восхитился

Пенкин. — Ты же из старожилов?

— Если «старожили» от «жилая», то нет, — сострил Вася.

— Сколько ты сегодня километров намахал?

— Какая сегодня езда!.. Шестьсот пятьдесят.

— Ну, это чепуха! Особенно по таким чудесным дорогам. Хочешь еще триста сделать?

— А что?

— Южная привычка — вопросом на вопрос... Мне надо к поисковикам в Дуплово. Обещал давно, а все времени не выкроить. Сегодня пришла депеша: ребята очумели от скуки, требуют книг, журналов и живого человеческого слова. Библиотечку им Люда давно подобрала, я и решил махнуть. А машина, сам знаешь, в ремонте.

Предложение Пенкина снимало все проблемы, во всяком случае, на сегодня. Не надо искать пристанища, унываться. Да и приятно отвезти ребятам библиотечку, подобранную Людой. Но следовало уточнить кое-какие детали.

— Бензин? — строго спросил Вася.

Пенкин вынул из кармана куртки пачку талонов.

— Когда наезд? Мне к одиннадцати утра в Хогот.

— Красота! Из Дуплово до Хогота меньше двухсот.

Диспозиция боя: мы выезжаем за книгами, грузимся и — в Дуплово. За три часа домчимся. Шучу, шучу, за пять часов. Ночуем. Утром проводим беседу и в восемь ноль-ноль выезжаем в Хогот. Все в ажуре, да еще с запасом

— Заметано!

— Хороший ты парень, — душевно сказал Пенкин. — Но больно ломуний. Тебя уговорить — легче гору своротить.

— Как с харчами? — спросил Вася.

Пенкин показал на свой плоский черный чемоданчик, который он называл почему-то «Джеймс Бонд».

— Корейка, баночка куриного паштета, колбаса языковая, хлеб обдирный — устраивает? И банка джуса.

Разговаривая, они подошли к вагончику Якунина, возле которого Вася оставил машину. Штаб Пенкина располагался неподалеку. Погрузив книги, они поехали на заправокную станцию и вдруг увидели медленно бредущую к своему дому Люду. Вася свернул к тротуару и вляпал машину в щербатый асфальт вплотную к Люде.

— Ничего себе, провела подружек!.. Ну, как они?..

— Видишь — не съели.

— Молодец! — сказал Пенкин. — Поехали с нами.

— Куда?

— В Дуплово. Там ребятки совсем захисли. Читать разучились, разговаривать перестали, до того осточертели друг другу. Махнем?

— Если бы раньше зналъ! У меня работа не делана.

— Досадно!.. Ты чего там?.. — обернулся он к Васе.

Тот захлопнул крышку «Джеймса Бонда» и протянул Люде баночку паштета.

— Держи, салага! А то опять голодная ляжешь.

— Ого!.. Красиво живете.

— Колбасы хочешь? — злясь на себя за недогадливостью, предложил Пенкин. — Языковая.

— Спасибо. Не люблю.

— Ну, мы поехали. Время позднее, а нам еще заправиться надо. Привет.

Люда помахала им вслед рукой. Почему она постеснялась сказать им, своим друзьям, о том неожиданном, щемящем радостно и странно, что произошло сегодня в женском общежитии? Она пришла туда уже не в первый раз, и, как обычно, ее встретила настороженно, холодно и смущенно. Замолк оживленный разговор, сгрудившиеся у стола девчата разошлись по койкам. Зашурушали страницы журналов, извлекались из сумочек тушь для ресниц и губная помада, поплыв сигаретный дымок. Закурила и Люда, подсев к раздвижному столу, за которым и чаевничали, и харчевались, и письма писали, и всякой штокпой, починкой занимались, и готовили свои бесконечные контрольные заочники техникумов и вузов. Люда о чем-то спрашивала, ни к кому персонально не обращаясь, ей отвечали — чаще всего мягкая, жалостливая Лерка, иногда и другие девчата. Рыжая Вера, ударившая ее по лицу в тот памятный вечер, конечно, молчала. Просто молчала, без вызова или презрения. И наступали сумерки, но электричества почему-то не зажигали, вроде бы в темноте стало проще, удобнее, даже вялый разговор завязался. Печальный синий свет вползал в комнату, растворяя в себе лица и фигуры валявшихся на койках

девать. Пора было уходить, но она все медлила, будто чего-то ждала, хотя на самом деле ничего не ждала, просто вала в какое-то оцепенение, когда нет сил изменить раз выбранную позу, рукой пошевелить. И тут красивая Ксана Гнатенко, зевнув с подвывом, сказала лениво: «Тоска зеленая!». Хотя бы ты спела, Людочка! Еще не очень понимая значение сказанного, Люда ответила машинально: «Как же без гитары!» — «А я сбегаю!» — предложила Лерка. И тут Вера вскочила с койки и выбежала из комнаты. «В другой раз, девочки», — сказала Люда. — Гитара у Пенкина», — и, погасив сигарету, тоже вышла. А на улице позвала тихо: «Вера, Вера!» Никто не откликнулся, хотя Люда чувствовала кожей, что та где-то неподалеку. «Верка!» — крикнула она громче, но ответа не было, и она пошла домой. Вот все, что случилось. Вроде бы ничего особенного, а у нее засосалось сердце... И может быть, хорошо, что она ничего не сказала Пенкину и Васе. Зачем? Это дело ее и девочек, и так ее личная жизнь стала слишком широко известна.

Оставить что-то про себя. Довольно советов и поучений. Ну, Вася с советами, может, и не полезет, а уж Пенкин не удержится от наставлений. Хороший парень, только чересчур нацеленный, хотя в этом-то его обаяние. Он действительно знает, как надо поступать. А люди либо растеряны перед жизнью, либо берут ложный след и даже иногда правильные поступки совершают, исходя из неверных предположений. Вот Янукин убежден, что она под позед броситься хотела, как Анна Каренина. А она об одном лишь думала: прочь, прочь отсюда, любой ценой прочь. Уехать она хотела, куда, зачем — не важно; она убежала в одном платье, без кофийки даже, но в ту минуту это ничего не значило. Уехать, проложить между собой и этим миром, сперва сделавшим ее счастливой, а потом оплевывавшим, тысячи и тысячи километров — ни о чем ином не было мыслей. Она могла попасть под колеса, наравясь на нож или что похуже, могла погибнуть, но она не Анна Каренина. Янукин все еще от смерти ее спасает, отсюда его слепая ненависть к пеннию, гитаре, ко всему, что, по его мнению, привело ее на край. Он хороший, Янукин, интересный, значительный, но если бы она могла избавиться от благодарности, а заводно и от уважения к нему, ей стало бы легче...

«...Она будет петь!» — думал Пенкин, отвалившись в угол на переднем сиденье, пока Вася заправлял баки и канистры. С той минуты, что они расстались, он не переставал думать о Люде. Будет петь, потому что это главное. У нее талант, настоящий талант. Кто-то из старых писателей сетовал на легкость, с какой русские люди дают погаснуть божьей искре в своей душе. С этим пора кончать. Смысл нашего общества в том, чтобы каждый становился самим собой, осуществлял себя до конца. Тем более на БАМе. Это строительство — не чета прежним, даже самым великим. Для многих и лучших тут начнется и кончится молодость. Проворонить такую вот Люду — преступление, за него надо судить, как за взрыв на заводе с человеческими жертвами. Делать то, что делают ее подруги, что делала она сама, когда Янукин послал ее замаливать грехи — прекрасный спектакль и победу на фестивале, — может каждый, а вы спойте, как она, дорогие товарищи! Да еще перед тем, как спеть, сочините песню. Может, о нас всех вспоминает только потому, что мы ее знали. Пусть ты малость перенгул, но беда — чтобы понять сложное явление, надо действовать по-артиллерийски: перелет, недолет, по цели! Да и не в этом дело. Свой идет не ради славы, ради жизни на земле. А свой певец нужен БАМу — поверьте, товарищи, — ничуть не меньше, чем хороший штукатур, плотник или маляр.

Девчата законно рассвирепели — кому хочется признать право другого на особую судьбу? Все было естественно, жизненно и пусть жестоко, но справедливо. Беда в том, что у одних пощечина горит на щеке, а другим прожигает сердце. И все-таки при всей чувствительности и кажущейся хрупкости истинно художественной натуры Люда — выносливый и сильный человек. Янукин ничего не понял, бегство принял черт знает за что. Он и сейчас прачет от нее веревку, хотя Люда вся нацелена на жизнь.

Пенкин не был на стройке, когда с Людой случилась беда, и никогда бы не узнал до того, чтобы выпрашивать об этом у других, собирать слепети. Но из комсомольского руководства людей берут на самую сложную и тонкую работу: в дипломатию, в милицию, в органы государственной безопасности. И Пенкин считал для себя обязательным доходить в каждом интересующем его деле до основы. И по мере того, как он последовательно «ковал неумолимую цепь логики», он все сильнее убеждался, что эстафету спасения давно пора не то чтобы принять из рук Янукина, а отобрать силой. Из полезного Люде человека Янукин превратился во вредного, мешающего ее полному выздоровлению. Обо всем этом Пенкин думал уже не раз, но сегодня впервые пошел чуть дальше в своих размышлениях. Откуда у немолодого, опытного и умного человека такая слепота? Он давно уже решил про себя, что Янукин с его зашоренным зрением, устремленным только вперед и неспособным к огляду, суживает цель, не постигает, что тут строится не только железная дорога, а и целое-целое. Чуть не целое поколение будет возвращено БАМом, духом БАМа, так распространяться и на тех, кто не принимает прямого участия в строительстве. Янукин поклонится технике, «делания», презирает «беллетристику», куда зачисляет все принастное гуманитарному началу. Но слепота к Люде не может быть объяснена только его жизненной философией, тут что-то глубоко личное. Просто-напросто он влюблен в эту девочку и хочет сохранить ее при себе...

И, придя к такому выводу, Пенкин погрузнел. Чужое сильное чувство всегда пробуждает какую-то завистливую печаль. Пусть даже чувство это не увенчано взаимностью, оно само по себе принадлежит высшей жизни. «Бедный Янукин!» — думал Пенкин, но жалел самого себя. И тут, едко воняя бензином, в машину забрался Вася. Они тронулись, и мимо замелькали бараки и домишки поселка, кирпичные корпуса новостроек, подъемные краны на строительных площадках, пустырьки.

— Ну и несет от тебя, — заметил Пенкин. — Закурить-то можно, или мы вспыхнем алым пламенем?

— Там шланг худой... Кури! — Вася достал паучку сигарет, протянул Пенкину и щелкнул зажигалкой. Потом закурил сам и чуть приспустил боковое стекло. Машина вырвалась из поселка, в сильном свете фар легла грунтовая дорога в реюющем тумане, то заволакивающем даль, то принакляющем к земле. Дорога казалась гладкой, но машину сильно кидало.

— Что бы с нами Люда ехала, а, Васек?

— Ну! — радостно откликнулся Вася.

Недаром из комсомола берут на самую тонкую работу: в дипломатию, милицию, госбезопасность; Пенкин мог чего-то не замечать, только если не фокусировал зрение, но стоило сосредоточиться, и ему открывалась скрытая суть людей и явлений. «И этот влип!» — ахнул Пенкин. — Ну, Люда, ну, девчонка!»

— А еще лучше, чтобы Людочка и Васенька ехали, а Пенкин пешком топал! — подчиняясь чьему-то злову в себе, сказал он.

Абдулла Даганов



Дельфины

Из Гагры в Пицунду — по морю!
И море в ладонях моих,
И море летит надо мною
В сверкании радуг цветных.
В ладонях смеющейся Нади
Колющие капли блестя,
И чайки — по борту и сзади —
За нами вдогонку летят.
Мы в шуме и в песне едины,
На катер пришедшие врозь.
«Товарищи, справа дельфины!» —
Из рупора вдруг донеслось.
И к борту, подобьем прибора,
Скатилась людская волна:
Дельфины нас звали с собою,
Чтоб радость изведать сполна!
Ах, умницы вы озорные!
Над морем — веселья костры!

Я буду их помнить отныне,
Как лучшие в жизни дары.
И солнце на выгнутых спинах
Слепило глаза — не забудь!
И песнь о веселых дельфинах,
Как счастье, наполнила груди.

Перевел с аварского
О. ДМИТРИЕВ

Осенний дождь

Из черных туч, лохматых туч
Угрюмый дождь идет, идет.
С домов села, с отвесных круч
Летит поток осенних вод.
Холодный дождь, осенний дождь
Мешает с грязью листьев медь,
С размаху хлещет, словно плеть,
Столбы нагих и мокрых роц;
Тяжелый, серый, как свинец,
Он в горы падает и там
Сдвигает с троп следы овец,
Откоцевавших на кутан¹.
Кто там, на выдумки горазд,
Придумал трюк, решил: пора! —
И о скалу хватил в горах
Кувшин огромный, как гора!
Какой порыв, какая мощь
В воде, бегущей по земле!
Развей, размой, осенний дождь,
Тоску о лете и тепле!

Перевел В. АФАНАСЬЕВ

¹ Кутан — загон для овец (т у р к.).

Вася кинул на него короткий, холодный взгляд.
— Знаешь... Отдыхай.

— Правда твоя, — покладисто согласился Пенкин, он уже овладел собой. — Если будем тонуть, разбуди. — Откинулся на сиденье, смежил веки с чуть подрагивающими кончиками ненужно длинных, загнутых ресниц...

Люда закончила работу, завязала тесемки папок и погасила настольную лампу. Теперь вездливый Погребов не страшен ее начальнику. Заместители Якунина давно спали, дыша со свистом и клекотом. Якунин выбрал себе заков в своем вкусе: немолодых, спокойных, исполнительных служаек, которые не хватили звезд с неба, но и не занимались ни проектированием, ни оковитирательством. Два старых тяжелооза — рысью не пойдут, но любой груз доставят по назначению и в срок. Они много работали, уставали, нигде не ходили и рано заваливались спать. Удобные соседи, конечно, но жизнь вблизи них переставала казаться чудом и тайной.

Люда вышла на крыльцо и присела на ступеньку. Закурила. Ставший привычным и желанным дымком показался ей горек. Она безгласно отшвырнула сигарету. Красный огонек, описав дугу, с шипением погас в луже. Ровно, низко и протяжно гудели деревья. В затишке не ощущался ветер, но им была напращена ночь. Ну и пусть ветер, пусть осень, зима — прежние оживало, и хоть это лишь тень радости, что пела в ней раньше, разве думала она, что радость когда-нибудь вернется? И вот тень радости уже протянулась к ее порогу, и кого за это благо-

дарить? О, многих! И прежде всего того, кто не ждет никакой благодарности, не нуждается ни в награде, ни в поощрении, ни в признании своих заслуг, кто не судил и не оценивал, просто верил, наивно и свято верил, что лучше ее нет на свете. Лишь в одних глазах оставалась она всегда безупречна, и на эту удивительную, незаслуженную веру оперлась ее душа и выстояла. Она крикнула в темноту своим локким голосом:

— Вася, чуюсь!..

...Вася вздрогнул, пальцы сильнее вцепились в баранку. Уж не задремал ли он, убаюканный маятниковым движением дворника, выписывающего сегменты на покрытом изморосью лобовом стекле? Он искоса глянул на Пенкина, тот спал каким-то очумело-беззащитным сном. Вася еще опустил боковое стекло, черный ветер с воем несся навстречу машине. Он выждал и на самый гребень порыва уложил свой короткий ответ:

— Чую!..

— Чего орешь? — мгновенно проснулся бдительный Пенкин.

— Тебе приснилось. Отдыхай.

— Я сплю, а все слышу. Почему не говоришь? Тайна?

— Тебе не понять, хоть ты всего Карла Маркса прочел.

— А ты попробуй.

— Отдыхай, дорогой. Ты сам не знаешь, как ты устал...

Юлия Друнина



ДЕТИ ДВЕНАДЦАТОГО ГОДА

«Мы были дети 1812 года».

Матвей Муравьев-Апостол

Тринадцатое июля¹

Зловещая серость рассвета...
С героев Бородина
Срывают и жгут эполеты,
Бросают в огонь ордена!
И смотрит Волконский усталю
На знамя родного полка.
Он стал в двадцать пять генералом,
Он все потерял в сорока...
Бессильная ярость рассвета.
С героев Бородина
Срывают и жгут эполеты,
Швыряют в костер ордена!
И даже воинственный пристав
Отводит от виселиц взгляд.
В России князят декабристов,
Свободу и Совесть казнят!
Ах, царь милосердие дарит:
Меняет на каторгу смерть...
Восславьте же все государя
И будьте разумнее впредь!
Но тем. Пятерым, нет пощады,
На фоне зари — эшафот...
«Ну что же, жалеть нас не надо,
Знал каждый, на что он идет».
Палач проверяет петли,
Стучит барабан, и вот
Уходит в бессмертие Пестель,
Каховского час настает...
Рассвет петербургский тлеет.
Гроза громыхает вдали...
О, боже! Сорвался Рылеев —
Надежной петли не нашли!
О боже! Собрав все силы,
Насмешливо он хрипит:
«Повесить — и то в России
Не могут как следует! Стыдь!»
...Предутренний, серебристый,
Прозрачный мой Ленинград!
На площади Декабристов
Еще фонари горят
А ветер с Невы неистов,
Проносится вихрем он
По площади Декабристов,
По улицам их имен...

¹ В этот день повесили пять декабристов и свершили обряд гражданской казни над остальными.

Сергей Муравьев-Апостол

Дитя двенадцатого года:
В шестнадцать лет — Бородино!
Хмель заграничного похода,
Освобождения вино.
«За храбрость» — золотая шпага,
Чин капитана, ордена.
Была военная отвага
С гражданской в нем обручена:
С царями воевать не просто!
[К тому же вряд ли будет толк...]
Гвардеец Муравьев-Апостол
На плац мятежный вывел полк!
«Не для того мы шли под ядра,
И кровь несли Березина,
Чтоб рабства и холопства ядом
Была отравлена страна!
Зачем дошли мы до Парижа,
Зачем разбили вражий стан!..»
Вновь победителем вас вижу,
Мой капитан, мой капитан!
Гремит полков российский поступь,
И впереди гвардейских рот
Восходит Муравьев-Апостол...
На эшафот!

Ялуторовск

Эвакуации тоскливый ад —
В Сибирь я вместо армии попал.
Ялуторовский райвоенкомат —
В тот городок я топапа по шалам.
Брела пешком из доброго села,
Что нас, детей и женщин приютило.
Метель осатанелая мела,
И ветер хвастал ураганной силой.
Шла двадцать верст туда,
И двадцать верст назад —
Ведь все составы пролетали мимо.
Брала я штурмом тот военкомат —
Пусть неумело, но неумолимо.
Я знала — буду на передовой,
Хоть мне твердили: «Подрасти сначала!»
И военком седую головой
Покачивал: «Как банный лист пристала!»
И ничего не знала я тогда
О городишке этом неказистом.
Ялуторовск — таежная звезда,
Опальная столица декабристов!
Я видела один военкомат —
Свой «дот»,
Что взять упорным штурмом надо,
И не заметила фруктовый сад —
Веселый сад с тайгою хмурой рядом.
Как так! Мороз в Ялуторовске крут,
И лето долго держится едва ли,
А все-таки здесь яблоны цветут —
Те яблоны, что ссыльные сажали!

Я снова тут, пройдя сквозь строй годов,
И некуда от странной мысли деться:
Должно быть, в сердцевинах тех стволов
Стучат сердца, стучит России сердце.
Оно, конечно, билось и тогда
[Хотя его и слыхом не слыхала],
Когда мои пылали города.
А я считала валенками шалапы.
Кто вел меня тогда в военкомат,
Чья пела кровь и чьи звалили гены!..
Прапрадеды в земле Сибири спят,
Пред ними преклоняю я колена.



Виктор
СТЕПАНОВ



РОТА ПОЧЕТНОГО КАРАУЛА

ПОВЕСТЬ

I

Из ворот Кутафьей башни Кремля они вышли без четверти восемь — первая смена почетного караула у Могилы Неизвестного солдата. Впереди шел Андрей, ему в затылок — Сарычев, слева — разводящий, сержант Матюшин. Они повернули направо, в предупредительном кем-то уже открытую железную калитку, и, стараясь ровнее держать карабины, начали спускаться по гранитным ступеням вниз смягченным, как по ковру, шагом.

В Александровском саду всюю хлопотала весна. Словно торопясь к празднику, она примеряла лучшие свои наряды и, красуясь, радовалась сейчас прозрачному и звонкому утру, уже розовато согретому по вершинам аллей, но еще сумеречно прохладному внизу, на влажных дорожках.

Вековые липы и вязы расправляли корявые сучья, льнули к замшелой стене, являя чудо вешнего воскрешения, — на иссохших было ветвях опять зеленели побеги; деревья помоложе трепетали сыроватой, только что проклюнувшейся листвой, в которой вызванивали птичьи голоса; розовато-белым нетающим снежком то тут, то там успела посыпать вишня; а на газонах и клумбах давали свой бал цветы.

Ровными рядами пунцово пламенели похожие на маленькие факелы тюльпаны; как бы зажженными от них синими огоньками переливались под набегавшим ветерком какие-то другие, незнакомые цветы; с ними соперничали желтые, похожие на морские звезды; и словно щедрой рукой разбросанные, жемчужно блестели в траве маргаритки.

Рисунки
В. СКРЫЛЕВА.

Остро пахло свежескошенной травой — пряным запахом лесной слякоти. Березы и впрямь толпились невдалеке, совсем по-деревенски, робая перейти гранитную дорожку, что отделяла их от пышного праздника деревьев и цветов.

Даже столличные жители — сине-голубые ели — жался к древней стене, стесняясь выйти из шеренги в это всеобщее веселье; лишь пошевелевали острыми, как шишки бугенцов, верхушками, разомлев под солнцем, которое сыло уже так высоко и горячо, что с ослепительных, жарко пылающих куполов соборов, казалось, вот-вот начнет падать золотая капель.

Но Андрей ничего этого не видел.

Выдерживая шаг по Матюшину, словно был к нему привязан, Андрей, как только ступили на пронизившую сад гранитную дорожку, все старался проникнуть взглядом в ее конец, туда, где уже угадывался над мраморным горизонтом порывистый всплеск пламени.

И чем пристальнее всматривался он в мельтешащий вдалеке огонек, чем ближе подходил к нему, тем тревожнее и тягостнее делалось на душе — порой ему казалось, будто, кого-то маня, трепещущая ладонь с быстрыми, гибкими пальцами возникала и пряталась за гранитным возвышением.

Огонь приближался.

Стиснув онемевшими пальцами приклад карабина, Андрей с секунды на секунду ожидал команду. Он знал, что и Матюшин эти секунды уже отсчитывает, и позавидовал его поразительному чутью ко времени: сержант только мельком взглянул на часы, когда выходили из караульного помещения, но сейчас в нем завелась и пошла ходить по кругу секундная стрелка, которая высчитывает время до каждого мгновения, до каждого шага и повсорта, ибо вся сложная, непостижимая для штатского человека премудрость подобного исчисления сводилась к тому, чтобы встать у Вечного огня ровно в восемь. «Тик в тик», — как говорил лейтенант Гориков.

Эта секунда отсчета, как ее ни ожидал, ни ловил Андрей, упала неожиданно, коротким выдохом команды:

— Пошел...

Матюшин почти прошептал это слово — за восемь высчитанных им метров до Могилы Андрей сделал полный шаг, Сарычев свой шаг «подсек», укоротил, и сержант очутился между ними.

— Смена, стой!

Секунды опять замедлились — справа полыхнул над нишей Огонь. По обема его сторонам они и должны были сейчас встать.

«Чок!» — властно выскел приклад, и Андрей мгновенно, по выработанным привычке ощутил, как то же самое, что и он, проделал одновременно с ним Сарычев, и это ощущение близнецовской слитности с товарищем, шагнувшим на ступеньку, расковало и придало уверенности: в ногу, сначала шестельщим, как бы осторожным шагом они поднялись на возвышение и, уже в полную силу чекана по мрамору, пошли на свои места к разделявшему их пилону, на зеркальной плоскости которого лежала, будто только что снятая, солдатская каска. Рубиновыми огоньками брызнула в глаза росинка, дрогнувшая на каске у самой звезды.

Еще карабинное «чок!» — сигнал к повороту «кругом!». Андрей повернулся лицом к площадке и замер. Далеко-далеко, не верилось, что в каких-то десяти шагах, стоял теперь одинокий Матюшин, такой картинно-красивый, выточенный, до каждой пуговицы начиненный, в фуражке с перечеркивающим лоб красным околышем, с затейливо первыми по правой стороне мундира серебряны-

ми шнурами аксельбантов, что можно было подумать, будто здесь его поставили специально, для наглядности.

Но Матюшин задержался не для красоты. Андрей перехватил придирчивый взгляд, прицельно переведенный с него на Сарычева и обратно, и подобрался, подтянулся — перед уходом сержант хотел убедиться, хорошо ли стоят часовые.

Наверное, все было хорошо, точно, по уставу, потому что, постояв еще с минуту, Матюшин ушел тем же строевым шагом, каким привел их сюда, как будто команды теперь подавал не он сам себе, а другой, невидимо шагающий рядом с ним сержант. Он ухилил, поблескивая штыком карабина, все уменьшавшая и уменьшавшая к концу дорожки, и издала четкий шаг Матюшина можно было принять за стук метронома, словно под Кремлевской стеной пустились часы, отмечающие время вот этими маятниковыми движениями черных, лаково сияющих, отражающих каждую травинку сагов.

Андрей перевел дух, глянул вниз: на крошке ниши, на мраморном уступе уже лежали вроде бы чуть-чуть подпаленные струящиеся снизу, из бронзовых звезд паляменем две грозди сирени и букетик незабудок.

Это было удивительно — ведь ворота еще не открывались, еще никто не мог сюда прийти. Но сержант был прав: первая смена, заступавшая в караул в восемь ноль-ноль, всегда заставляла принесенные кем-то цветы. Кто-то приходил сюда раньше, а кто — неизвестно. Даже милиционеры, всю ночь дежурившие возле Александровского сада, пожимали плечами. Ворота открывали ровно в восемь, но не было случая, чтобы к этому времени на мраморном уступе, рядом с Вечным огнем, не лежали цветы. Как будто невидимки проникали сквозь чугунную ограду, торопясь к началу караула.

Странная мысль пришла Андрею, мысль о цветах, о том, что одни и те же, они очень разные — на могиле и на праздничном столе.

Ветка сирени сверху пожухла, закурчавилась, но еще жила, дышала, а незабудки снили, едва голубели уже редкими, непоблекшими звездочками — все-таки вблизи Огня им было жарко. И, глядя на увядающий букетик, Андрей вдруг вспомнил о главном, чем жил со вчерашнего вечера, с того момента, когда его имя было объявлено в списке почетного караула у Могилы Неизвестного солдата. Он забыл, не мог думать об этом главном, пока шел сюда, пока встал у Огня, и сейчас обрадовался вновь обретенному чувству, чувству ожидания встречи, которая вот-вот должна была произойти.

«Сейчас рядом с незабудками он положит букетик своих любимых подснежников», — задал Андрей. — А она принесет тюльпаны...»

Но главное было не в том, что с какими цветами придет. Смысл ожидаемой радости сводился к тому, что эти двое увидят его, Андрея Звягина, во всей парадной форме стоящим возле Вечного огня. «Пусть сам убедится, пусть знает наших», — подумал Андрей, предаваясь сюрпризу. — Кого-нибудь на этот пост не поставят... А она... Она ведь никогда не видела меня таким...». Андрей хотел сказать «красивым».

Он расправил плечи, вдохнул полной грудью и взглянул прямо перед собой.

За чугунной оградой шумела Москва. Мимо Александровского сада, обтекая его полукругом, пронеслись легковые машины, но, поравнявшись с тем местом, откуда уже был виден трепещущий над мраморным возвышением Огонь, они учтиво сдерживали бег. Прохожие с любопытством поглядывали за ограду, как будто хотели убедиться, выставле-

ны ли часовые, и, увидев двоих, стоящих навтыжку, решительнее сворачивали к воротам.

Андрей перевел взгляд на пламя, пульсирующее над прокаленной звездой.—Огонь то распухался, дрожало побледневшими языками, то вновь наливался красным, пурпурным, сжимался, закручивался внутрь.

«Если долго смотреть в Огонь, то можно увидеть в нем все, что захочешь»,—вспомнил он не то протитанное, не то услышанное где-то.—Кажется, лейтенант Гориков рассказывал, будто бы все, что приходит сюда, видят в пламени лица погибших».

Но в зыбком, вспыхивающем, как бы гаснущем и вновь оживающем пламени Андрей, как ни напрягал воображение, не мог выстроить хоть какую-то осмысленную картину. В огнистых переливах и завитках он хотел представить лицо того, кто, возможно, лежал под этой звездой. Он помнил ту фотографию неизусто — до закрученных вопросами бровей, до затанной в углох губ улыбки, до ямочки на подбородке, что выглядела совсем, как глазок на картофелине. Выразительнее всего на фотокартонке получились глаза — с такими четкими, живыми зрачками, что казалось, сохранив свой живой блеск, они смотрят с другой стороны, сквозь фотобумагу. Солдат словно бы подмигивал. Кто-то даже сравнил эти глаза со светом умерших звезд... Кажется, Настя... Да, она.

Нет, в извивах пламени терялось, как будто сгорало даже это, почти знакомое лицо. Огонь для Андрея оставался всего лишь огнем.

«Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен...» — прочитал Андрей медленно: бронзовые буквы читались отсюда наоборот. Тридцать семь букв... «Имя твое неизвестно...» Но почему, почему неизвестно?

Где-то Андрей читал, не то в кино видел: пополнение прибыло за десять минут до боя — не успели записать фамилии. «По порядку номеров рассчитайсь!» «Первый, второй... тридцатый...» И — в атаку, фамилии выясняли потом.

А теперь красные следопыты ищут, ищут... На сколько лет им работы? Наверное, хватит их детям и внукам.

Черная, с антрацитовыми блестками плита была безмолвна. Ветер чуть тронул ветку сирени, как будто зырьши перья, и Андрей опять подумал о тех, кого ожидал.

«Почему не открывают ворота? Они, наверное, здесь... Они подойдут первыми, и я скажу им, скажу все...»

Он совсем забыл, что ничего не сможет им сказать: часовым на посту разговаривать не положено.

Андрей покосился вправо: створки тяжелых чугунных ворот медленно расходились, поблескивая золочеными наконечниками.

«Наконечек-то!» — обрадовался Андрей.

Но толпа, хлынувшая было в ворота, замаялась, загнулась, кто-то ее остановил.

Напротив, в конце дорожки, зашевелился, полыхнув алыми лентами, большой венок. За ним Андрей различил военных в золотистых фуражках и в брюках с красными и голубыми лампасами.

Венок полпыл прямо на него, покачиваясь, словно живой. И уже можно было различить сопровождающих — стараясь выдерживать ровность шеренг, негрозливым шагом к Огню приближался примерно взвод маршалов и генералов.

Андрей подтянулся, выпрямился, как бы прибавляясь в росте, напряжился и стоял теперь, пытаясь даже не мигать. Что-то непривычное было в этом шествии: обычно солдаты подходят к начальникам, а эти сами подходили к солдатам.

Стараясь попадать в ногу, маршалы и генералы поднимались по ступенькам, останавливались, и на зеркально-черных сапогах первой шеренги оно отразилось, заиграли блики Огня. В середине этой шеренги, искрящийся золотом погон, козырьки и пуговицы, Андрей увидел и сразу узнал министра обороны. Маршал смотрел на него. Но не тем придирчивым взглядом начальника, старшего по званию, который норвит подметить какой-нибудь непорядок, в лице министра Андрей уловил оттенок любительства и доброты.

Как по команде, никем не произнесенной, но одновременно услышанной, маршалы и генералы приложили руки к козырькам фуражек и с минуту так постояли, вроде бы все вместе и каждый по отдельности, отдавая честь.

Министр обороны задумчиво смотрел Андрею в глаза. «А ведь это он мне отдаст честь, мне...» — мелькнула стыдливая мысль, и, залившись краской, Андрей не выдержал взгляда, потупился, одеревенел. И уже не видел, а только почувствовал, как опять, будто по команде повернувшись, маршалы и генералы сбивчивым строем пошли по дорожке обратно.

Гулко стучало в висках. Едва уловимым движением — незаметным посторонением — Андрей переступил с ноги на ногу и снова выпрямился. Военные были уже далеко. И в тот момент, когда в распахнутые ворота выпыл новый венки, откуда-то, не то сверху, не то снизу, раздался повторенный всем Александровским садом густые звуки хора. Им ответили деревья и древние стены. Тоскующий и молящий о чем-то женский голос влился в эту могучую песню, вырвался из нее, взметнулся, воспарил над садом, и у Андрея перехватило дыхание. Сразу обмякли, ослабли колени...

Он стоял один на один с Вечным огнем. Почему он? Почему именно он?

Было утро 9 мая...

2

Когда это началось? Вчера? Неужели полтора года назад?

Поезд мчался сквозь ночь, словно вырываясь из темноты, что настигла его внезапно, посреди степи. За вагонным окном ярко проступили огни. Ближние из них светлячками прочерчивали темень и погасали где-то позади, а дальние проплывали медленно, мигали, прощально подрагивая лучистыми ресницами. Мелькнул желтоватый уютный квадрат окна — люди дома, под крышей. А у него под ногами чугунно гремели, отстукивали что-то колеса, и он ехал, сам не зная куда.

Из грохочущего в ночи вагона Андрей впервые в жизни увидел тогда своих родных, как в перевернутый бинокль: далеко-далеко и совсем маленькими. Пока подрастал, и мать и бабушка все еще были самые большие, самые главные со своим непревзойденным авторитетом. По-детски беспомощными, одинокими и беззащитными казались они теперь. Наверное, это чувство внезапного повзросления чаще и острее всего приходит в дороге.

Андрей рос у матери один, но маленьким сыночком не считался. Наоборот, мать всегда, при каждом удобном случае подчеркивала, словно старалась кому-то доказать, что единственный сын растет не в оранжерее и что, хоть он и чадо ненаглядное, а манна небесная ему в рот не сыплется. Может быть, тем самым она хотела компенсировать недостающую



ным деревом турники, брусья и еще какие-то замысловатые сооружения. А дальше, до конца дороги, справа и слева, куда бы Андрей ни посмотрел, глаза всюду упирались в забор, за которым возвышались обычные «гражданские» дома — с разноцветными занавесками на окнах, с бельем, развешанным на балконах.

Солдат, отворивший ворота, стоял в дверях будки и с любопытством взирал на прибывших.

— Послушай... парень! — окликнул солдата один из ребят, по фамилии, кажется, Нестеров. — Какая это часть?

Небрежно сдвинув со лба на затылок порывевшую от солнца фуражку, солдат — сразу видно, не первого года службы, — поглядел на них, как показалося Андрею, с сочувствием.

— Ракетный полк кибернетики, — медленно, членораздельно отчеканил солдат и подмигнул.

— Нет, серьезно! Какие войска? — просительно метнулись к нему, перебивая друг друга, несколько голосов.

— Я же сказал, эр-пэ-ка, — повторил солдат и исчез в своей будке.

части: где вагонное добродушие, где веселость и покладистость «своего парня»? Опять собрал всех на плацу, подал команду «Становись!» и тут же тихо и невозмутимо приказал «Разойдись!». Позавчера ему не понравилось одно, вчера другое, а сегодня выяснилось — долго становились в строй, надо в считанные секунды, так, словно к локтям привинчены магниты: раз, два, три — и шеренга как спянная.

Всех призывников разобрали по росту, и Андрей, у которого рост был метр восемьдесят пять, попал в первый взвод — взвод кандидатов в роту почетного караула. Оказалось, что ниже ста восьмидесяти сантиметров в РПК вообще не берут.

— Рррав-няйся!

По этой команде надо повернуть голову направо — как можно резче — и увидеть «грудь четвертого человека». Если нагнешься — покажется пятый, а может, и шестой, а завалишься чуть назад, всех заспнит первый, правый. «Грудь четвертого человека» — в самый раз, высчитано, выверено веками строевой практики. Стараясь выравняться, Андрей сбил глаза на грудь Аврусина, уже проявившего незаурядные способности к шагистике. Сухопарый, жилистый Аврусин весь был как на шарнирах, и лейтенант, сразу оценивший «природные данные», уже несколько раз выводил его из строя для наглядной демонстрации строевых приемов. Аврусин Андрею не нравился, неприятно началось еще в вагоне. Не кто-нибудь, даже не лейтенант, а почему-то именно Аврусин сделал тогда замечание Руслану за длинные волосы. Его-то какое дело?

Третьим стоял Нестеров — бледный, растерявший свои веснушки, с тем мучительным выражением послушания и покорной внимательности на лице, с каким у доски стоит незадачливый ученик, — Нестерову

3

«Р» ПК», «РПК», «РПК» — рокошущее барабано-м это созвучие воспринималось как некий таинственный шифр жизни, которой теперь предстояло им жить.

Лейтенанта Горикова, того самого, кто сопровождал их на службу, было не узнать. Что-то переменялось в нем, как только очутились в расположении

уроки строевой не давались, он часто путал ногу, не мог подладить отмашку рукой.

Смешливый, готовый по пустяку расхохотаться Линьков, стоя слева от Нестерова, и сейчас едва сдерживал улыбку, и лейтенант подозрительно на него поглядывал.

Совсем рядом, касаясь правой руки, вытанул Руслан Патешонков. С роскошными своими кудрями он расправился в день приезда и сейчас был удивительно похож на оципанного петушка. Его гитаре разрешили висеть в каптерке.

— От-ставить!..

Лейтенант неторопливо осмотрел шеренгу — медленно-медленно слева направо, потом зигзагами: от подбородков (не слишком ли опущены) к ногам (не слишком ли сведены носки сапог), — и румянец, свежко заливавший его щеки, растворился, лейтенант наконец-то позволил себе улыбнуться.

— А он не протак,— шепнул Андрею Патешонков,— это для первого знакомства рубаха-парень и прочее, а потом так зажмет — записчик.

Патешонков сказал это совсем тихо, но лейтенант услышал, и воздух будто разорвало:

— Граа-згорючки!

На его щеках опять проступили свекольные пятна. Прошелся вдоль шеренги сосредоточенный, словно шахматист, дающий сеанс одновременной игры. Вскинул затененные ресницами, посветлевшие, совсем штатские глаза.

— Вопросы есть?

Андрей ослабил ногу, через смущенное покашливание спросил:

— У меня есть, товарищ лейтенант. Что же это все-таки такое, эр-пз-ка? — Конечно, он знал, но интересно, что скажет лейтенант?

Лейтенант молча кивнул, вопрос показался ему уместным.

— Матюшин! — не оборачиваясь, позвал он стоявшего позади не то загоревшего, не то просто смуглого долговязого сержанта. — Устав гарнизонной и караульной служб!

Матюшин бегом кинулся в казарму и через минуту вернулся с тоненькой книжкой.

Лейтенант нащупал взглядом Андрея.

— Звягин, выйти из строя!

Андрей сделал вперед два шага, неловко, покачиваясь, повернулся лицом к шеренге.

— Читайте вслух, погромче! — приказал лейтенант, протягивая устав.

Андрей открыл первую страницу и вопросительно посмотрел на лейтенанта.

— Страница сто семьдесят шесть, — с расстановкой, поднимая взгляд поверх шеренги, словно видел эту страницу на противоположной стене кирпичного дома, подсказал Гориков, — параграф триста сорок первый... Нашли?

Андрей впился в строчки.

— «Почетные караулы...» — начал он неуверенно. — Почетным караулом называется подразделение (команда), назначенное для отдания воинских почестей. Почетный караул назначается для встречи лиц, указанных в статье двадцать первой...»

Андрей запнулся: что за чайноворд?

— Отпистайте на страницу семнадцать, — невозмутимо сказал лейтенант.

— «Начальник гарнизона встречает, рапортует и сопровождает прибывающих в расположение гарнизона Председателя Президиума Верховного Совета СССР, Председателя Совета Министров СССР, Генералиссимуса Советского Союза, Министра обороны СССР, маршалов Советского Союза и адмиралов

флота Советского Союза. Для встречи этих лиц устанавливается почетный караул...»

— Стоп! — оборвал лейтенант и поднял ладонь. — Ясно, что за лица? — И подтанул, развернул плечи, словно сейчас на плацу должны были появиться эти государственного ранга люди. — Продолжайте, — кивнул он Андрею, не меняя позы.

Андрей уже со знанием дела вернулся к знакомому параграфу и продолжал читать спокойнее, даже с выражением.

— «Кроме того, почетный караул может назначаться: к знамени, выносимому на торжественные заседания; на открытие государственных памятников; для встречи и проводов представителей иностранных государств; при погребении военнослужащих; а также при погребении гражданских лиц, имеющих особые заслуги перед государством...»

— Стоп! — опять остановил лейтенант. — На сегодня хватит, остальное — проработать самостоятельно. Вопросы? Нет? Разойдитесь!

Шеренга пошатнулась, распалась и, тяжело громясь сапогами, словно подошвы были железные, солдаты ринулись к лавочке — перекурить.

Кто-то выхватил из рук Андрея устав.

Патешонков, выткнув худую, петушиную шею, возторженно толкал Андрея в бок.

— Королеи и герцоги видели? Ни в жизнь! А тут они сами тебе навстречу! Ваше величество! Рядовой Звягин!

Андрей нехотя поддержал шутку:

— Я предпочел бы принцессу...

— И во дворец бракосочетаний! — рассылался смехом Линьков.

— Тебе все шуточки... — грустно одернул его Андрей.

После перерыва лейтенант Гориков представил им командира отделения.

— Сержант Матюшин! — щелкнул каблуками долговязый сержант, тот самый, кто бежал за уставом, и доверчиво посмотрел на шеренгу.

Одет он был опрятно, даже несколько щеголеват, но в пределах той допустимой нормы, которая позволяла выглядеть одновременно и уставным и элегантным. Мундир облегал его плотную фигуру так, словно был сшит на заказ, хотя и казался поношенным, как бы уже выбеленным солнцем. И всем сразу понравилась эта не парадная, а будничная, свойственная солдатам последнего года службы подтянутость, стройность, которая дается не напряжением, а естественна, как привычная поза или походка.

— Ну, так с чего начнем? — простецки, по-своему улыбнулся сержант и, опустив голову, в каком-то веселом своем раздумье прошелся вдоль строя.

Это его добродушие, товарищеская непринужденность (подумаешь, чего бы ему выламываться: на каких-то два-три года старше) сразу передалась шеренге. Она зашаталась, как забор, потерявшая опору. И из возникшего тут же говорливого ручейка, побегавшего от фланга к флангу, выплеснулся озорной голос:

— Начнем с кибернетики...

И шеренга приснула поломалась.

Сержант встрепенулся.

— Р-р-разговорчик! От-ставить! — И точь-в-точь, как лейтенант, выпрямился. — Равняйся!.. Смирно!.. Волю!

Как бы незримым тросиком схваченные, подбодки дернулись вправо, мгновенно повернулись

обратно, и строй снова спружинил вниз, на чуть согнутый колене. И — молчок!

— Тема первого занятия: обучение строевой стойке... строго сказал сержант, спрятав совсем уже глубоко добродушие и простоту, беспечность, которые сближали его с шеренгой, делали похожим на всех. Между ним и строем пролегла черта.

Оказалось, что даже такая пустяк, как постановка носков сапог, требует своей методики.

— Носки свести вместе, делай — раз! — скандовал сержант. — Носки развести — делай два!

— Во даем! — развеселился Линьков. — Ансамбль пляски острова Паски!

Андрея одолевала усталость. Как сквозь сон, вслушивался он в монотонный голос сержанта, который учил теперь «держат грудь». Смешно подумать, но и в этом тоже была своя наука. Чтобы приподнять грудь, надо сделать глубокий вдох, в таком положении ее задержать, «выдохнуть и продолжать дыхание с приподнятой грудью». Устав давал точную инструкцию.

— А такой фокус знаете? — услышал Андрей и не сразу осознал, что сержант обращался к нему.

— Какой? — механически спросил Андрей, пытаясь сбросить одеревенелость.

— Смирно! — скандовал в ответ сержант и внимательно посмотрел на Андреевы ноги.

— Поднять носки сапог!

Андрей легко сторвал носки от асфальта, но тут же запрокинулся назад, замахал руками, едва удержав равновесие.

— Вот-вот! — обрадованно, что фокус удался, усмехнулся сержант. — Значит, неправильная стойка, не подали корпуса вперед. Попробуйте еще.

Андрей чуть подался вперед, стараясь не сгибаться, попытаться приподнять носки сапог и не смог: они были словно припаяны к асфальту.

Тупая, как зубная боль, злость вдруг засадила в Андрея.

— Вы что, смеетесь? — спросил он, едва сдерживаясь, чтобы не сказать грубость. — Я что вам, кукла?

— Над чем... смеюся? — опешил на мгновение сержант.

Губы его дрогнули, он виновато заморгал, не понимая или обидевшись.

— Над нами смеетесь... — процедил Андрей. — Мы что же, выходит, совсем слухи?

Сержант отступил на шаг, смерил Андрея взглядом, как будто видел впервые, и в щелочках прищуренных глаз — ставших снова похожими на лейтенантские — блеснула усмешка.

— Я бы сказал вам, Звятич... Но вы сами. Надеюсь, сами... — И отвернувшись, словно сразу потеряв к Андрею интерес, сержант выкрикнул: — Разойдись!

Натертые ноги ныли. Андрей подошел к высоким зеркалам, стоявшим сбоку плаца, под развесистыми тополями. Зачем они здесь? Неужели недостаточно тех, что в ульевальнике? На крайний случай можно вполне обойтись своим квадратным, вделанным в футляр электробитвы...

Ослепительно высверкнуло голубым, потом над небом мелькнул корявый сук тополя, и, как в дверном проеме, показался незнакомый солдат. Темные, ввалившиеся глаза отрешенно, с болезненным блеском недовольства смотрели на Андрея.

«Неужели это я?» — не узнавал он.

Фуражка нависла на уши, мундир болтался, как на вешалке, и, выдвигая едва заметную кривинку ног, жестяными раструбами топорщилась голенища сапог. В зеркале качнулось раскрасневшееся лицо Линькова.

— И ты знаешь, зачем эти трюмо? — скорчив ро-

жицу, спросил он. — Строевую отработать. С самим собой! Во дают!

Приковылял Нестеров. Жалостно признался: — Не клеится у меня. Ну, хоть ты что... Вместе с левой ногой левая рука поднимается... Какой-то ч недоконструированный...

Капли пота скатывались по его щекам, оставляя грязноватые бороздки.

В тот день Андрей еле дождался отбоя. Вытягивая в постели затекшие, сделавшиеся чужими ноги, он долго размышлял о превратностях судьбы, о воле чистого случая, по которому попал в РПК, о будущем, которое виделось ему теперь впереди лишь горячим, отшлифованным подошвами, серым плачем, покачиванием бесконечных шеренг, вздрагивающих от ударов барабана... «А этот сержант... с раздражением вспомнил Андрей. — Тот же еще фокусник... Носки врозь... Кто дал ему право?»

Белый парашют — его мечта — покачивался в сияющем окне.

«Только в ВДВ, только в ВДВ», — повторял про себя Андрей.

Патешников тоже не спал, вздыхая, ворочался рядом.

— Послушай, Руслан, — позвал Андрей как можно тише. — Ну их к аллаху, а? Махнем в вз-дз-вз? Я больше не могу, понимаешь — не могу... Мне этот плац уже снится.

— Как это махнем? — приподнялся Патешников. — Да это же... Особая рота!

— Особая топать?

— Выбрось из головы! — угрожающе прошептал Патешников. — Ты же знаешь... Перевод может разрешить только сам министр...

— А что министр? Напишу министру! — как о самом собой разумеющемся сказал Андрей.

Но холмистый слизет на соседней кровати больше не шевельнулся. Раздался тихий притворный храп. «Напишу», решил Андрей, все больше распускаясь от собственной этой идеи, озарившей беспросветный сумрак застрявших дней. — Завтра же узнаю адрес и напишу.

И он представил, как закруленно выведет на тетрадном листе: «Министру обороны Союза ССР...» «Министру...» «Заявление».

Нет, точнее будет — «Репорт». Но не слишком ли официально! Ведь он не докладывает о чем-то государственно важном... Ведь это всего-навсего личная просьба. Конечно, проще и правильнее «Заявление».

«Заявление»... «Уважаемый товарищ министр!» Да, уважаемый... Иначе как же? «Уважаемый...»

— прочтет командиры всех командиров и подобреет, поласкует его лицо. «А что, вполне воспитанный молодой человек», — кивнет министр и улыбочкой глянет поверх очков на стоящего рядом генерала. «Уважаемый товарищ министр!» — повторил Андрей, холодеет от восторга, от уважения к самому себе, так запросто обратившемуся к столь высокому лицу.

«Пишет вам выпускник средней школы, призванный... согласно вашему приказу, в ряды Советской Армии». Вот это «согласно вашему приказу» тоже понравилось Андрею, такую фразу министр не сможет не оценить. «Извините, что отрываю вас своим письмом от важных дел по... охране, нет — обеспечению обороны нашей страны. Но я вынужден, просто вынужден к вам обратиться... Во время приписки... в военкомате мне было обещано направить меня в ВДВ, — продолжал Андрей подбирать, как ему казалось, для весомости сугубо канцелярские выражения. — Однако произошло недоразумение. Непонятно, по какой причине я оказался в роте почетного караула, где сейчас нахожусь в карантине». Анд-

рей все больше вдохновлялся уверенностью, что министр обязательно поймет его и исправит ошибку военкомата.

«Смею вас... заверить, — пробовал, перебирал Андрей каждое слово, — я ничего не имею против роты почетного караула. Очевидно, это подразделение носит важную функцию. И эта рота, безусловно, нужна. Однако я ходатайствую перед вами о переводе меня в воздушно-десантную войска. Во-первых, потому что я с детства мечтал о службе парашютистов, и, во-вторых, у меня в аттестате только одна четверка, и, следовательно, я мог бы быть более полезен нашим славным Вооруженным Силам. На мой взгляд, в роте, где я прохожу карантин, могут служить и другие, имеющие склонность к основному предмету... а именно к строевой подготовке».

Андреа охватили сомнения: достаточно ли весомы аргументы? «А у него почему нет склонности к строевой?» — озадаченно спросил министр генерала. Нет, что-то не так... Надо высказать свое отношение к службе. Да-да, иначе будет непонятно.

«...Как гражданин Советского Союза, выполняющий священную обязанность, — все больше проникаясь гордостью за себя, шептал Андрей, — я хотел бы отдать все свои силы и знания на самом трудном посту. И солдатские годы я хочу прожить так, чтобы быть достойным тех, кто отстоял нашу любимую Родину...» Эта последняя фраза понравилась Андрею больше всего.

«Вот так и напишу... Завтра же. Узнаю адрес и напишу», — успокоенно согрелась и засыпая, подумал Андрей.

Утром, оглядываясь, чтобы никто не увидел, он опустил письмо в почтовый ящик.

4

Дни пошли один за другим, похожие, как солдаты в строю. Время теперь стиснулось командами «Подъем!» и «Отбой!». Раздраженное на минуты, оно заполнялось одним и тем же, повторяемым с утра до вечера: физзарядкой, завтраком, строевыми занятиями, обедом, потом опять занятиями, ужином, коротким, как перекур, «временем для личных надобностей» и усталым забытием сна.

Карантин кончался, и новички, распределенные по взводам, становились в строй роты почетного караула.

Да, это было событие, которого с надеждой и опасением — а вдруг отчислят! — ждали, к которому готовились все, кроме Андрея. Он и не подозревал, как спрятанным, придирчивым взглядом следили за каждым шагом, за «стойками» и «поворотами» опытные командиры, ревнивой придирчивостью своей похожие на тренеров, отбирающих самых лучших в сборную страны.

Андрей готовился к другому — упрямо, с неостывающей надеждой ждал он ответа от министра обороны, уверенный, что обязательно удостоится внимания этого самого высокого воинского начальника. И это томительное, každодневное ожидание крутой перемены в жизни, ожидание торжества справедливости, в которую он верил неколебимо, придавало сил. Он послушно жил жизнью, заключенной в пределы строгого забора, выполнял все, что положено выполнять молодому солдату, но прилежности и старания не выказывал и смотрел на все, даже на себя, стоящего в строю, как бы глазами постороннего человека. Слово два Андрея существовали в нем одновременно — один равнодушный, как робот, меха-

нически исполняющий команды, другой — живой, ранимый по пустякам, обиженный жестоким, несправедливым поворотом судьбы. Этот второй пристально наблюдал за первым и сочувствовал ему. Белый парашютик ВДВ миражно покачивался в небе и не давал покоя.

Взвод новичков бросили «на прорыв», на кухню. Картофельница гудела ровно и, разогреваясь, голодно позванивала. И в тот миг, когда, взыв от удовольствия, она приняла в скрежещащую утробу новую порцию картошки, ее натужный гуд заглушили другие звуки, внезапно ударившие в окна. Ахнувший рассыпчато медные тарелки, звякнул серебряный голос трубы, басовитому рокоту барабана переличась откликнулись флейты — и заходили ходуном, забились о стены казарм, затемнились в тесноте плаца оглушительные ритмы марша.

Они бросились к узкому окошку: из-за угла казармы выходила на плац радужно-нарядная, яркая и лощеная, как на парадной картинке, колонна солдат. Нет, это были три совершенно разных колонны, слитые маршем в одну.

Впереди за огненно подрагивающим знаменем шли высокие и стройные, один к одному, как на подбор, перетянутые белыми ремнями пары в светлых шинелях, в серых каракулевых шапках, и черно-глянцевые их сапоги — шаг в шаг — словно вывели на асфальте какую-то свою мелодию, помогая оркестру, который восторженно гремел им навстречу. Лучась штыками, невесомо плыли над строем карабины — они были живым продолжением этих шагающих, резко разрубающих руками воздух солдат.

Правованговым первого ряда шел сержант Матюшин. Да, это был он — непривычно сосредоточенный, как бы загипнотизированный музыкой. «Вот теперь и ты толпеешь!» — со злорадством подумал Андрей, не признавая себе, что любит сержанта. Матюшин же, словно почувствовав его взгляд, покосился вправо, и Андрей стыдливо отпрянул от окна.

За первой, обшейсковой, под своим — в синих желтах лучах флагом — печатала шаг колонна солдат в голубых шинелях. Как будто на вертолете прямо на плац опустились летчики — от них веяло льдисто-холодным, бездонным, небом, и у Андрея сладкой, щемлящей тоской шевельнулось сердце: «ВДВ, потчи ВДВ...»

За небесной этой колонной горделиво трепетал третий, бело-синий с красной звездой, серпом и молотом военно-морской флаг. Пары в черных шинелях, в черных ботинках-клетш отбивали черными ботинками по асфальту, как по бронированной палубе, свой марш морей. И над согнутыми локтями, над заметными белым прибором перчатками всплескивались, отвечали золотом якоря, якоря...

Сбоку всей этой серо-голубой, черной колонны то забегал вперед, то лятился, придирчиво вглядываясь в ряды, в листы часток штыков, офицер в парадной шинели, с шашкой на золотистом ремне. Он что-то выкрикивал, стараясь пересилить оркестр, наверное, тут же, на ходу, делал замечания и очень был похож на дирижера, который управляет другой, вот этой шагающей музыкой — музыкой парадного строя.

— Командир роты... Красавчик... — восхищенно проговорил Патешонков.

А Нестеров осведомленно пояснил: — Встречный строй в полном составе Поедут встречать премьер-министра Янонию.

Он не отрывал глаз, впечатлится щекой в стекло, провожая колонну, пока она не скрылась за поворотом.

— Черт возьми, неужели меня не зачислят? Ну, хоть бы замыкающими!..

— Хватит ныть! — не сдержался Андрей и, выражая полное безразличие, вернулся к картофелечистке. — Ну, не возмрут... Свет, что ли, клином? Это же батюшка, показуха. Разве это моржки? Или, может, летчики? Да они ни моря, ни неба ни в жизни не увидят. Плац — это да. Это их работа... Ать-два левой — и в столовую!

— Ну, как у меня отмашка? Посмотри! — не обращая внимания на Андрея, умоляюще обратился Нестеров к Патешникову.

И там, да, да, именно там, возле картофелечистки, когда Нестеров неуклюже, будто ломаным крылом, взмахнул рукой, изображая строевой шаг, Андрей осенила простая, но именно в простоте своей гениальная идея. Как он раньше не догадался? Нестеров рвется во встречный строй РПК, а его не берут: руки и ноги враздрай, хоть ты что! Роте нужен особый шаг», роте нужна особая «рука». Не каждый сможет сделать то, что нужно этой роте. А он, Звягин, любуйтесь, пожалуйста! А может, и у него не получается? Не получается — и все. Координация не та, реакция, да мало ли что!

Из серой, набухшей тучи, которая, казалось, нарочно повисла над плацем, сыпал мелкий ключичий дождь вперемежку со снегом. Ветер пронизывал насквозь, забирался под воротник, в рукава шинели. Шли последние отборочные занятия. Сапоги, перемешивающие на асфальте грязную снежную кашку, отсырели, потяжелели и не сопротивлялись холоду. Но Андрея согрело озорное ожидание: заета, кажется, удалась — никто из всего взвода не получил столько замечаний, сколько он.

— Что с вами, Звягин? — обеспокоенно поинтересовался лейтенант. — Не заболели? Портянки хорошо наверху?

— Плохому танцору всегда что-нибудь мешает, — отшутился Андрей. — Значит, ноги не из того места растут...

— Жаль, — искренне посочувствовал лейтенант. — Покурили, поглотили теплого дымки и опять: «Выходи строиться!», «Становись!».

Затолкались, подравнивая шеренгу. И еще не стихший говор сразу оборвала хлесткая команда. Лейтенант повернулся и зашагал навстречу приближавшемуся от казармы офицеру.

Андрей узнал командира роты, который совсем не был похож на того юношески бодрого красавца в аксельбантах, что тренировал на плацу почетный караул. Худошавое, уже не молодое лицо выражало задумчивость и озабоченность.

— Товарищ майор! — вскинул лейтенант к козырьку руку, но тот мягко отстранил:

— Вольно, вольно, продолжайте занятия.

Остановился в десяти шагах, спокойным, ошупывающим взглядом пробежал по шеренге. Андрею показалось, что он чуть дольше, чем на других, задержался на нем. Что-то похожее на усмешку мелькнуло в усталых глазах командира.

— Сейчас объявят... — настороженно шепнул Нестеров.

Но командир молчал. Еще раз, теперь уже слева направо, оглядел шеренгу.

— Ну что ж, посмотрите...

Снова поискала-поискал взглядом и как будто случайно остановился на Андрее.

— Вот вы, — показал подбородком командир роты.

— Рядовой Звягин! — выкрикнул Андрей нарочито громко.

— Рядовой Звягин, выйти из строя! — не повышая голоса, приказал командир.

И Андрею опять стало весело — никто не мешал ему повторить тот же спектакль, только теперь специально для командира роты.

— Рядовой Звягин, — как бы разговаривая, без восклицания скомандовал майор: — Прямо, шагом... марш!

Шлепнув сапогом по снежной жиже, Андрей вперевалку пошел прямо, не затаивая улыбку — со спины ее уже никто не видел.

Но с этой нарочитой небрежностью, едва отрывая ноги от асфальта, слегка волоча их, он прошел шагов семь-восемь, не больше.

— Остановит! — услышал Андрей и не узнал голоса командира — властность, требовательность и раздражение, прозвучавшие одновременно, искзвили привычный баритон.

Вспину прогрело лето: —

— Рядовой Звягин! Строевым, шагом марш!

Андрей попытался опять изобразить неуклюжесть и хромоту, но внезапно ощутил, что ноги и руки уже не подчиняются только ему, а послушно исполняют приказание командира.

Это было странно — командир молчал, но команда его продолжала повелевать — так от короткого, несильного толчка начинает стучать маятник. Не замечая луж, Андрей дошагал до забора, сам повернулся кругом и отчаянно, поддаваясь новой волне озорства, пошел прямо на командира — полным строевым шагом — и не таким, как учил устав, а еще более четким, с резким выбросом руки, с секундной ее задержкой перед грудью — как это он вчера подсматривал у встречного строя роты.

«На тебе, на тебе!» — в такт шагу думал Андрей, дерзко глядя прямо перед собой, стараясь перехватить взгляд майора. — Тоже еще наука... Если ты командир РПК, так, небось, думаешь, что никому эту вашу шастику не освоить? На тебе, на тебе, на тебе!»

Андрей шел прямо на командира, несколько не сомневаясь, что тот уступит дорогу — командиры останавливаются никто не подавал. Снег ошметками летел из-под сапог, грязные брызги доставали до лодыжек.

— Стой! — со вскриком нескрытого удивления скомандовал майор, остановив Андрея в трех шагах от себя. И снова, невидимая строю, отчетливо адресованная только Андрею проступила в глазах командира усмешка: «Вот так-то, дорогой вы мой, знаем мы эти ваши штучки. Становитесь в строй и чтобы больше — ни-ни!»

— Молодец, Звягин, — вслух похвалил командир. — Так ходит! Все видели? Хоть сейчас во встречный строй! — Расправил перчатки, помолчал и, уже не глядя на Андрея, сказал: — После занятий, Звягин, ко мне

В накурленном кабинете командира роты было тесновато: кроме него самого, разговаривавшего с кем-то по телефону, Андрей увидел трех лейтенантов. Двоих он знал только в лицо — командиры взводов, «морского» и «летного». Лейтенант Гориков сидел на стуле в углу, сосредоточенно рассматривая какой-то альбом.

— Садитесь, — кивнул командир роты, и Андрей, потоптавшись, примостился на краешке единственного свободного стула.

Кабинет и в самом деле мог бы быть попросторнее: в него едва вместились стол и шкаф. На стене козырьком выпирала вешалка с наброшенным на

плечики парадным мундиром. Под вешалкой — с негнущимися, нащипанными голенищами стояли сапоги.

«В полной боевой готовности», — насмешливо подумал Андрей. Он обвел взглядом унылые, пустые стены и над самым столом, справа — при входе сразу и не заметивши, — увидел портрет, который показывался ему не то что знакомым, но даже родным. На Андрея по-свойски, как на близкого человека, на единомышленника смотрел министр обороны. И от этого доброго взгляда, от присутствия рядом маршала, который наверняка уже прочитал письмо и вскоре должен был прислать положительный ответ, Андрей почувствовал себя уверенно и свободно и, теперь уже ничуть не смущаясь, открыто взглянул на командира.

«Если насчет письма, ну что ж... Я за себя отвечаю...»

— Ну, так что будем делать, Звягин? — спросил майор, аккуратно положив трубку.

— Вы что имеете в виду? — как можно учтивее уточнил Андрей.

— Я имею в виду ваш кордебалет на плацу. Не хотите ходить? Может, вы вообще служить не хотите? И майор обвел взглядом лейтенантов, как бы призывая их в свидетели, прося их сочувствия.

— Почему же? — стараясь быть спокойным, возразил Андрей. — Я даже очень хочу служить, но только... не в вашей роте...

Зачем он тогда — так, прямо? После Андрей не мог себе простить несдержанного откровения, а вернее, ответного взгляда майора, сразу затуманенного, потухшего, не спрятавшего обиду.

— Ваша рота, конечно... Я понимаю... Я ничего не имею против... — фальшиво и запоздало спохватился Андрей. — Но в военкомате мне говорили, в ВДВ...

Майор наклонился над столом, чуть скособочась. — Не имею против... — покачал он головой и слабо улыбнулся грустной, словно оправдывающейся улыбкой.

— Я просил бы, товарищ майор... — зазвеневшим голосом, доверяясь этой улыбке, подхватил Андрей. Он с надеждой, ища поддержки, повернулся к лейтенантам. Они сидели, заткнув, демонстративно поглядывая в окно. Гориков опять уткнулся в альбом, как будто ничего больше, кроме этого альбома, на свете не существовало.

Командир роты выдвинул ящик стола, достал из кожаной папки какую-то бумагу, и по тому, как он на отлете, на весу ее держал, Андрей понял, что бумага очень важна.

— Вот ответ... министра... — строго взглянув на Андрея, сказал майор. Последнее слово он произнес с нажимом, отдавая его от других и тем самым усиливая значение.

«Как быстро?» — изумился Андрей.

— Министр оставляет решение вопроса на наше усмотрение, — медленно проговорил майор, выпрямляясь.

— Что значит — на ваше? — недоверчиво, с тяжелым предчувствием спросил Андрей.

Майор что-то хотел объяснить, но лейтенант Гориков, все время молчавший, вдруг оторвался от альбома, опередил:

— Видите ли, товарищ Звягин, армия — не кружок художественной самодеятельности... Хочу пою, хочу танцую...

— Не надо так, Гориков! — остановил майор.

И, бережно вкладывая бумагу в папку, сказал:

— И на ваше усмотрение, Звягин. Время есть. Есть время подумать... Можете идти.

Майор, три лейтенанта и он сам, Андрей... Да, их было в комнате пятеро. Больше ведь никто не заходил. Но почему Андрею показалось, будто о разговоре с майором уже знала вся рота? Матюшин прошел, отвернувшись, Патешинов и Нестеров тягостно отмалчивались с тем видимым безразличием, в котором таилось презрение.

5

Присягу принимали в декабре. Ну да, в первое воскресенье, Андрей тогда еще удивился — в декабре выпал запоздавший снег...

Андрей ехал вместе со всеми — порядок есть по порядку, присягу должен принять каждый солдат, к какому бы роду войск ни относился. Присяга одна на всех, будь ты пехотинец, моряк или летчик. И нет хуже без добра: это даже лучше — переезжать в ВДВ уже равноправным, давшим клятву солдатою.

Из новичков в казарме оставался один Нестеров — его отчислили из РПК за непригодность к специальной строевой службе и переводили в другую часть. Нестеров стоял возле автобуса, потирая кулаком покрасневшие глаза, — вчера, когда командир роты объявил о своем решении, солдат, не стесняясь, как мальчишка, заплакал в шеренге. Андрей Нестерова жалел.

Автобус нетерпеливо подрагивал. Лейтенант Гориков в парадной шинели, перетянутый золотистым поясом — «под шашку», в каракулевой шапке с сияющим «красом», — праздничный и деловитый, словно ему предстояло парадом пройти сегодня по Красной площади, упруго вскошил на подножку автобуса,





в котором уже сидел, тоже весь в новом, сияющий пуговицами его взвод, отодвинул, будто полог, край флага, свисающего сверху, пробежал, прощупал взглядом, все ли на месте. Он глянул как бы мимо Андрея, не принимая его в счет, и от этого явно подчеркнутого невнимания, небрежения Андрею стало не по себе.

Три автобуса, вместивших роту, стояли в порядке взводов, и, заглянув в оконце, Андрей увидел впереди этой кавалькады зеленый, с красной полосой «рафика», на крыше которого ослепительно синим светом уже вертелась-мелькала «мигалка». Перед «рафиком», затянутае в кожу, положив на рули белые кржи, сидели на мотоциклах регулировщики военной автоинспекции. На первом автобусе, как и на двух остальных, торжественно красовалась надпись, обозначающая их принадлежность: «Почетный караул». И недостигаемо важничавшие мотоциклисты и «рафик» с «мигалкой», коим надлежало открыть и держать перед автобусами зеленую улицу, — так, чтобы до самого места напрямик, без остановок, через кишащие пешеходами перекрестки, и сами автобусы, в окнах которых мелькали штыки и знамена, — все это придавало колонне особое значение, особый вид. Нет, не простые солдаты выезжали из ворот КПП.

Мотоциклы впереди взревели, дернулись. Поехали!

— Братцы, а ведь мы первый раз за воротами! — на весь автобус выкрикнул Патешинов.

Сдерживая скорость, кавалькада долго петляла переулками, пока не съехала, как бы плясая, на широкую, окаймленную гранитным парапетом набережную. «Москва!» — догадался Андрей. — «Москва-река!»

От берега до берега в избытке темных, еще не скваченных льдом вод катилась река, о которой он

так много слышал, но которую видел впервые. Автобус нагнал медлительную неуклюжую баржу с белой, свежесмытой рубкой. Баржа, явно отставая, скользнула назад, и снова от берега до берега, от гранита до гранита недвижимо блестела вода. И, быть может, волжанин, даже наверняка из тех мест парней, сидевший на задней лавочке, не умеряя природного окаяния, вспоминая, видно, свою Волгу, запел сначала тихо, про себя, а потом, забывшись, во весь голос:

Из-за острова на стрежень,
на простор речной волны...

И взвод, размяная застоявшийся в молчании голося, обрадовавшись случаю, подхватил, грянул так, что лейтенант Гориков, сидевший впереди, непроизвольно оглянулся. Однако замечания не сделал, и это сразу солдаты отметили — чуть-чуть приглушили голоса для вежливости, но петь продолжали свободно.

И вдруг Патешинов, который не отлипал от окошка всю дорогу, опять крикнул:

— Кремль!

И замерла на губах, застыла на выдохе песня — даже «старички», ехавшие по этой дороге, может быть, не первый десяток раз, и те подались вправо. «Кремль»

Андрей увидел красно-кирпичную, белую, в ажурной вязи дворцов, в золотых переливах куполов, в рубиновых огоньках звезд, словно бы волшебным вынырнувшую из Москвы-реки, легкую, умытую, чистую, как облако, громаду Кремля.

Непривычно было видеть Кремль со стороны Москвы-реки, как бы этой рекой подчеркнутый, словно кто провел по низу прекрасной картины синей маслянистой кистью. А может, и картина-то вся начата вот этой волнистой полоской реки, чуть повыше —



брошен серый штришок набережной и выведен зубчатый, сбегаящий каскадами с еще зеленого, под голубыми елями холма узор стены. А еще выше — на пространстве, занятом уже у неба, снежная, обметенная вековыми выюгами, удивительно похожая на ждущую старта космическую ракету колокольня Ивана Великого. И золотым пожаром — по куполам, по куполам, то выше, то ниже — солнце. Вот оно размельчилось на разноцветные кусочки — как будто радугой застеклили окна Большого Кремлевского дворца. И слышно: еще дрожит, дрожит в остекленном небе набатный гул тяжелых древних колоколов...

Автобус свернул направо, и стройная величавая башня — Андрей никак не мог вспомнить ее названия — заслоняла окошко. Боровицкая? Боровицкие ворота? А эти деревья вдоль стены, за чугунной оградой — Александровский сад?

Опять стена, еще какая-то башня, поворот направо — и заворачал, зафыркал мотор, попугивая зевак. Прехитали!

Вся площадь между темно-бурой громадой Исторического музея и черной металлической решеткой, что вытянулась прямо от башни, огибая Александровский сад, была запружена народом. Но толпу сдерживали легкие переносные ограждения, возле которых, постукивая валеком о валеком, стояли милиционеры. Колонна быстрым шагом, бесшумно прошла через распахнутые чугунные ворота в сад и остановилась, выравнявшись вдоль гранитного возвышения.

Стоявший во второй шеренге Андрей сначала увидел только кирпичную стену — высокую, выше макушки елей. Слева выпирала неказистая массивная башня. Но под подали команду, по которой сол-

датам-новичкам надлежало выступить в первую шеренгу. Двое перед Андреем расступились, и он шагнул вперед.

Прямо перед ним, шагах в десяти, на возвышении из гладкого, отполированного до сияния мрамора дрожало, то принимая к бронзовой звезде, растапывая, то взвивалось, вспыхивая, пламя. Андрей вспомнил, что видел его уже — и не однажды — на экране телевизора, только тогда оно было безжизненно серым, бесцветным. И теплый комочек шевельнулся в груди, подкатил к горлу. Это было так далеко, так давно, что уже и не верилось, что было. Да, да, в ожидании Огня — вот этого самого — подсаживались к телевизору бабушка и мать. Бабушка говорила про деда, который погиб в ту войну, а где — неизвестно.

А на площадке, возле самого Огня, уже ставили столики, накрытые красными скатертями, — по одному напротив каждого взвода. И было странно видеть их здесь, на граните, почти игрушечными, стоявшими хрупкими своими ножками под могучей древнекаменной стеной. На скатерти падала крупка утреннего снежка. Да, это был еще декабрь, второй месяц службы.

Командиры взводов — «общевойскового», «летного» и «морского» — вышли из строя, изваяниями встали у столиков.

— Равняйся! Смирно! — услышал Андрей привычную команду. Но произнесенная, как всегда, хлестко, она предназначалась сейчас не только строю, а еще кому-то другому, ибо в повелительность голоса влились нотки уважения.

Вдоль строя шел генерал. Под фуражкой блестяла на висках проседь, но держался он молодцевато, да и форма — высокая курчавая папаха, плотно

облегающая шинель, лампасы — красила, молодила генерала. Он дружелюбно кивнул командиру роты, повернулся к строю, поздоровался.

— Дорогие товарищи солдаты! — тихо начал генерал, но тут же возвысил голос, как бы примеряясь к тем, кто его слушал.

Все-таки, наверно, непросто было держать речь здесь, у Огня, у кремлевских стен, на фоне которых даже генерал уже не выглядел таким важным и недосыгаемым.

— Сегодняшний день запомнится вам на всю жизнь... Клятву на верность Родине вы даете у Могилы Неизвестного солдата, у этого вечного пламени...

Андрей показалось, что генерал в упор взглянул на него. «Не может быть», — вспыхнул он и опустил глаза. — Откуда ему знать про письмо... Но даже если доложили, он ни разу меня не видел, а в этой шеренге...»

— ...Так пусть же гордятся вами и ваши родители, — донеслось до Андрея. — Мы пригласили их сюда, ваших отцов, матерей, родственников...

«Как хорошо, — подумал Андрей, — как хорошо, что здесь нет матери... Как ей объяснить? Может, меня и вообще не допустят к присяге!..»

Он покосился влево, туда, где по другую сторону Огня робко жалась толпа приглашенных, и не поверил глазам. На самой верхней ступеньке стояла мать, в коричневом своем пальто, в повязанном до бровей знакомом зеленом платке. В руке, неловко выпятив перед собой, она держала авоську, из которой высовывались две бутылки молока и начатый, отщипанный батон. Грузный краснощекий мужчина в распахнутой дубленке, нахально протискиваясь вперед, заслоняя мать, а она, привстав на цыпочки, все выглядывала из-за его плеча, беспомощно скользя по шеренгам глазами.

Казалось, она вот-вот доберется до Андрея, но, перебрав, пошупав лица первых двух шеренг, мать опять возвращалась взглядом назад, слепо пыталась дотянуться до последних рядов и стояла теперь беспомощная и растерянная. Это было как во сне: ни позвать, ни крикнуть. Андрей не имел права даже пошевелиться.

«Наверно, мне не разрешат принять присягу! — вдруг забеспокоился он. — Не разрешат, и все. Я же сказал, что не хочу у них...» И Андрей откинулся чуть-чуть назад, одеревенел лицом, изо всех сил стараясь спиться со строем. Пусть не увидит, пусть не узнает мать!

— Звягин! — донеслось издали.

— Тебя, тебя, оглох, что ли? — сердито подтолкнул Патешонков.

— Я! — машинально выкрикнул Андрей и с этой секунды уже не чувствовал себя.

Чужими, непослушными ногами подошел он к столу, взял лист с присягой и только начал осмысливать первую, прыгающую строку, как слева услышал то, чего ожидал и боялся:

— Ан-дре-ей! Ан-дрию-шка!

Перепрыгивая через ступеньки, к нему бежала мать. Почти возле самого столика она поскользнулась и упала бы, если бы подскочивший вовремя майор не подхватил ее под локоть. Словно загоразживая от Андрея, повел ее в сторонку, наклонившись к ней, в чем-то убеждая.

— Читайте, — негромко напомнил лейтенант Гориков.

И от этого командирского голоса, от повелительной жесткости в нем Андрей ожил, пришел в себя. Слева плеснул в глаза Огонь.

— Я клянусь... — выговорил Андрей и всей загоревшей левой щекой ощутил взгляд матери. — Я всегда готов... Он не видел сливавшихся строк,



Он не помнил, как вернулся в строй, и когда наконец отдышался, успокоился, глазами нашел в толпе мать — а она, словно того и ждала, поймала, перехватила его взгляд, помахала рукой. «Ну, зачем же она сюда с авоськой, с этим батоном?...» стыдливо подумал Андрей.

Опять исчезли, глочно их дуло, столики. И генерал — улыбающийся, довольный — подошел к приезжим, что жались у Огня, приглашая их ближе к шереграм.

А зади, в березах, уже приподнимал, пробовал утивно, не вспугивая тишины, свои громкие трубы оркестр.

Снова выравнивались по гранитной черте ступенек. Замерли...

— К торжественному маршу... — распевно скомандовал командир роты.

«...а р-ш-у-у», — как-то отозвались вековые стены. — «...ма-арш!» — взлетел восторженный голос.

И его заглушили, раздробили своим рассыпчатым «Ах-х-х!» медные тарелки.

Рота шагнула единым, впечатанным в гранит шагом и замаршировала по прямой, как луч, дорожке к воротам, равняясь направо — на пламя, порхнувшее, дрогнувшее над звездой от этой сотни ударивших залпом сапог.

Напрягая шею, Андрей вытянулся: рядом с генералом, приложившим руку к вилу козырьку, стояла, глядящая в шерегм мать.

«Мамка-то! Ну, прямо, как маршал на параде!» — восхищенно подумал он.

Постепенно сдерживая, смягчая шаг, рота вышла за ограду, остановилась возле автобусов и распалась, смешалась с толпой. Было разрешено перекурить.

Мать уже стояла рядом, словно шла по пятам.

— Вот ты какой у меня... — сказала она и осторожно, одним пальчиком потрогала золотистую пуговицу. — В каком же звании, сынок? Что-то форма больно нарядна...

Андрей смутился, потупился.

А мать уже копалась в авоське, совсем, как дома.

— Вот бестолковая! — всполошилась она. — Совсем запаматовала. Молочка тебе взяла... Съешь молочка, сынок...

— Да ты что? — совсем оторопел, сконфузился Андрей. — Ты что, мам? — И он в неловкости оглянулся по сторонам.

Подошел лейтенант, из-под земли вырос. «Сейчас скажет, — ужаснулся Андрей. — И про письмо и про то, как сачковал, не хотел маршировать...»

Но лейтенант козырнул матери, с легким, изящным поклоном произнес:

— Здравствуйте... Варвара Андреевна, кажется?

— Она самая, Варвара, — смутилась мать.

«Откуда он знает ее имя?» — удивился Андрей и опять насторожился.

— Хороший у вас сын, — сказал лейтенант. — Привыкает. Мы им довольны.

Андрей зарделся. «Зачем это, к чему?» — подумал он, охваченный внезапной благодарностью к лейтенанту.

— Спасибо на добром слове, — вздохнула мать и счастливыми, повлажневшими глазами взглянула на Андрея.

Лейтенант опять с улыбкой кивнул и пошел дальше, что-то сказал мужчине в модной дубленке, поздоровался с парнем, державшим разбухший портфель: брат, что ли, к кому?

Мать все держалась за пуговицу и вздыхала, ни о чем не спрашивая, и, простояв так минут десять,

переговариваясь по пустякам, они почти ничего не успели сказать друг другу.

Знакомый командирский голос оборвал разговоры, разделил толпу:

— Кончай перекур, по машинам!

Солдатам, принявшим присягу, и их родственникам было позволено встретиться вечером — всего на полтора часа. Странное чувство испытал Андрей, прогуливаясь с матерью по казарменному двору. В этом было что-то несообразное. Мать, прилаживая к его широкому, огрубевшему шагу, семеняла в своих маленьких сапожках по асфальту, который еще вчера был так ненавистен Андрею. Своими шажками она словно примиряла сына и плац. Так, во всяком случае, думал Андрей.

И после, спустя месяцы, а потом и годы, он все еще помнил эти легкие, какие-то лесные следы материнских сапожек на белесой поляне, в которую превратился плац под медленным, тающим снежком.

6

Итак, ровно что-то сказал, что на прошлое мы смотрим, как с горы на оставленную внизу долину: что ближе к нам, то видится отчетливее, что дальше, то терзается в дымке воспоминаний, и этот тысячеверстный, тысячедневный путь становится для нас зримым, когда отстоит позади. Теперь Андрей мог бы связать в нечто целое, логически стройное многозвенчатую, разрозненную цепочку событий и поступков, год назад еще неясных, непонятных.

В тьгостном, полусонном стоянии на вечерней поверке он услышал однажды свою фамилию, повторенную не в привычном списке роты, а отдельно, с особым значением. Интуитивно воспротивясь, он было напыжился, напустил на себя равнодушие, с каким встречал почти каждое замечание, уверенный, что придираются нарочно, как вдруг сбоку жарким, вполосонным шепотом дохнул Патешиков:

— Слышишь? Это тебя же! Во встречный строй! Но окончательно встряхнул Андрея отчетливый застывший голос Аврусиана:

— Во встречный? Зягину! Да у него карабин болтается, как...

Завидовало было чему. Полным признанием готовности солдата к службе в РПК считалось определение во «встречный строй», в тот самый строй, которому от имени всех Вооруженных Сил страны доверено торжественно встречать и провожать на лотном поле высочайших зарубежных гостей. Но чтобы попать на аэродром, надо было помаршировать на плацу не меньше полугода.

Если «встречный строй» сравнить с отлаженным механизмом, то каждый прибывший в роту солдат, как новая, поставленная на замену деталь, не должен нарушить четкости работы — наоборот, чем незаметней он «винчался», «вплавлялся», тем выше оценивалась его строевая подготовка. Трудности наладки этого «механизма» усугублялись тем, что он все время, примерно через каждые полгода, частично заменялся — одни солдаты уводились в запас, другие становились на их место; натренированные «старички» привычно выполняли все приемы, новичкам же все давалось с напряжением, их надо было еще «притирать» и «притирать», и делалось это как бы на ходу — рота продолжала нести свою трудную, почетную службу в любое время года, в любой день, в любой час.

Вот эта железная необходимость замены «деталей» на ходу и выработала свою методику строевой подготовки. Нельзя сразу заменить, скажем, полпорты или даже ползавода. Поэтому молодых солдат вводили во «встречный строй» по одному, по два. И в свой ряд их ставили так, что новичок оказывался последним — между опытными, уже знающими все тонкости службы солдатами.

Андрея поставили во «встречный строй» на три месяца раньше положенного срока.

Да, это была настоящая сенсация ротного масштаба. В душе гордясь и смущаясь, Андрей желал теперь только одного — поскорее попасть «на встречу» и доказать Аврусину, что назначение не «прихоть» и voluntаризм командира, как вихломолку утверждал тот, а заслуженный итог, естественное течение службы.

Его назначили в ряд, где направляющим ходил сержант Матюшин. Помнит он стичку на плацу или делает вид, что не помнит? К сержанту давно уже был «притор» медлительный и молчаливый солдат второго года службы Плиткин. За Плиткиным вместо уволенного в запас Миронова стоял теперь Андрей — под придирчивым оком Сарычева — дотошный и, как считалось в роте, самого талантливого «равняющего».

Всем своим видом, холодными, слегка выпученными глазами, безгильным поджатием губ (про себя Андрей сразу прозвал его карасем) Сарычев давал понять, что Андрею еще далеко до настоящего «эрипашника». Слово самим назначением новичка в строй обидели, унизили лучшего равняющего. У Сарычева была странная манера перемещать в разговоре русские и украинские слова, хотя вырос он где-то под Воронежем. И это делало особенно едкими и колкими его замечания.

Он так и сказал:

— Ты что же, Звягин, поперед батьки в пекло? — И сам же себе, пренебрежительно дрогнув уголками губ, ответил: — Ну, ладно, нехай. Посмотрим, який ты строевий...

На эти слова Сарычев имел право. Особенно после того случая, который, как легенда, передавался от «стариков» к новичкам.

А было так. Высокий зарубежный гость спустился по самолету трапу, прошел вдоль строя почетного караула, поздоровался и встал на специально отведенное место — дальше по ритуалу встречи рота должна была пройти торжественным маршем.

Перестроились в колонну по четыре и только рубанули по асфальту первым, под оркестр, шагом, как шедший сзади Сарычева солдат в панике вскрикнул: «Сарычев! Ремень! Лопнул!» Весь ряд онемел, а у Сарычева шевельнулись под шапкой волосы, он мгновенно представил, что произойдет дальше: ремень сядет набок, патронаш отянет его вниз, и все сияющие доспехи солдата роты почетного караула упадут на мокрый асфальт, под ноги. Истоптанные, они будут лежать на виду у столь уважаемых людей. И, может быть, находчивые, жаждущие сенсаций иностранные корреспонденты кинутся фотографировать грязный, измятый сапогами ремень Сарычева, чтобы продемонстрировать всему миру, чего она стоит, хваленая исправка почетного караула, олицетворяющего красоту и мощь Вооруженных Сил Страны Советов.

Это потом разбирайся, почему лопнул ремень, — то ли кто ненароком штыком задел, то ли кто в спешке попытался выправить утром бритву и чиркнул незваной. Потом наказывай не наказывая, хоть на год на гауптвахту посади — все это уже будет, как говорится, «апостскриптум».

Сарычев затаил дыхание и весь как бы перево-

плотился в ремень, словно теперь это и было его главной, одушевленной сутью. Солдат, шедший сзади, уверял потом, что он telepатически «держал» ремень Сарычева глазами: приткнул его к спине и не давал сползати!

Рота благополучно, полным строевым прошла мимо уважаемых лиц, и когда уже после команды «вольно» завернула за угол, ремень Сарычева шлепнулся в снег.

Вот такой был случай. Удивительно ли, что среди офицеров роты Сарычев считался «своим», всепрощаемым и почитаемым любимчиком! О солдатах не приходится говорить: слово Сарычева было для них законом. Он мог унижить и вознести до небес.

Андрей пришел на первое тренировочное занятие в тот день, когда рота готовилась к встрече великого герцога. Плац не успевал отстыть от шагов, оркестр, едва переvedя дух, снова гремел маршами. Они повторяли заходы один за другим — командир роты оставался недоумен.

Даже Сарычев, который за полтора года службы успел встретить трех премьер-министров, двух королей, двух президентов, одну королеву и одного архиепископа, заметно нервничал: видеть великого герцога ему еще не приходилось.

Впервые, не удовлетворенный короткой справкой-биографией, напечатанной в газете, Сарычев обшарил всю библиотеку и ничего достойного, отвечающего его запросам не нашел.

— О премьерах — две полки, а о герцогах — нэма, — сокрушался Сарычев.

— Герцоги остались те же. Герцог, он и есть герцог, — рассудил Матюшин.

Ему, сержанту, конечно, было виднее, какие они есть, эти самые герцоги.

Матюшин знал вопрос. Успел уже, подковался. Не спеша, как кирпич к кирпичу, выложил:

— Что сейчас это герцогство? Конституционная наследственная монархия. Глава государства именуется великим герцогом. У них эта сама... палата депутатов. А герцог утверждает и закрывает ее сессии, он — исполнительная власть. Министры же вроде советников «короны». Между прочим, этот герцог считается у них верховным главнокомандующим...

Матюшин помолчал, что-то припоминая, и назидательно поднял палец:

— Учтите, согласно конституции, особа великого герцога считается священной и за свои действия он ни перед кем не отвечает.

— Вот это права... А сколько за них платят?

Матюшин и это знал.

— Великий герцог ежегодно получает на содержание от государства триста тысяч золотых франков. Эта сумма специально оговорена конституцией. Не считая ассигнований герцогскому двору...

— Во цэ гарна должносты! — присвистнул Сарычев.

— Сударь, — раздался вдруг над ними голос, — не угодно ли вам будет взять метлу и подмести оукири?

Лейтенант Гориков — и откуда только появился — насмешливо смотрел на Андрея.

— А почему, ваше величество, вы думаете, что это я разбросал?

«Ваше величество» — это была, конечно, дерзость. Андрей рисковал, но лейтенант принял юмор.

— Соблаговолите выполнить приказание, — повторил он.

«Ему понравился мой ответ», — с гордостью за свою выходку подумал Андрей и кинулся за метлой.

Делом одной минуты было смахнуть оукири в банчок. Приставив метлу, подобно карабину, к ноге, Ан-

дрей отвел ее вправо — по-старинному «на караул» — так стражники приветствовали у входа во дворец королей.

— Ваше величество, ваше приказание выполнено!

— Вы бы лучше с карабином поупражнялись, — нахмурился лейтенант... Но сквозь серые щелочки глаз, как тогда в вагоне, блеснула ирония. — Покажите, Сарычев... Тройной!

«Тройной» — в уставе Андрей такого приема не помнил. Сарычев с удовольствием взял карабин, прикинул штык и, скомандовав самому себе: «На караул!», — неуловимым движением перевернул карабин вокруг себя — только молния стальная мелькнула слева-справа — и замер.

— Тройной с обхватом! — выдохнул после паузы Сарычев. Он посмотрел на Плиткина, на Матюшина, на лейтенанта, ища одобрения, и вдруг повернулся к Андрею. — Повтори!

Андрей смутился. Даже и пробовать не стоило личный, изобретенный Сарычевым прием. И тут вспомнил: в школе только он один из всего десятого «б» мог по всему коридору, балансируя указкой на пальце, пронести на ее кончике кусочек мела.

Андрей огляделся, нашел камешек, положил на мушку карабина и, скомандовав себе: «На плечо!», — пошел по плацу строевым шагом, глядя прямо перед собой. Он нес карабин «свечкой», по всем правилам, так, чтобы тот не касался плеча, и все ждал щелчка об асфальт. Рука пружинила, немела, но камешек каким-то чудом держался. Андрей повернул назад, вплотную подошел к Сарычеву, приставил карабин к ноге и снял с мушки камешек.

— Bravo, Звягин! — хлопнул ладонями лейтенант и, взглянув на часы, пошел на середину плаца.

Это панибратское, штатское «bravo», прозвучавшее в устах командира как поощрение, Андрея смутило.

— А шо? Притраешься... — обронил Сарычев.

И по грубовато-небрежной фразе этой Андрей понял, что принят в ряд «встречного строя» окончательно.

— Становись! — разнеслось над плацем.

Тренировка «к встрече» продолжалась. Все повторялось, все начиналось сначала, но в этом надоедливом однообразии уже прояснялась для Андрея какая-то осмысленность, какая-то цель.

Оркестр, как заводной, играл марши, а они ходили и ходили по плацу, равняясь на воображаемых высоких гостей, — в колонне по четыре, единым, как вдох и выдох, шагом почти двух сотен сапог. Взмах рук, секундная задержка на тибге, у груди, и до отказа — назад. Словно и впрямь какой-то особой точности механизм отлаживал командир роты. Или нет, он был еще больше похож на скульптора, который из живой, движущейся массы солдат лепил лишь ему видимое произведение искусства.

— Рыжов, корпус вперед, иначе карабином задирате полу!

— Смагин, не опускайте подбородок!

— Лямин, где у вас рука?

— Чернов, грудь!

Командир роты бежал за ними, обгонял, отставал, приглядывался, отступая на шаг-другой, и снова приближался, иногда даже до солдата дотрагивался: ему нужен был тот самый строй, на который с нескрываемым восхищением заглядываются и приезжие и отезжающие зарубежные гости.

— Стой-й! И не шевелиться!

Никто и не шевелился. Только сердце не останавливалось: «бух-бух» — в груди, «бух-бух» — в висках.

— Вольно!



Нет, недоволен был командир, вроде бы даже расстроен.

— Направляющие не равняются в затылок, карабины болтаются. Карабин — это же... Вся красота в карабине. Надо держать «свечкой». Даже чуть-чуть наклонить вперед. Чтобы он парил! И весь строй — не топот, нет! Представьте, вы летите... На взлете... Под марш...

Пошел вдоль строя, остановился напротив.

— Звягин! — проговорил командир, как бы извиняясь, не хотелось, как видно, делать замечание. — Звягин, вас касается. Что главное в строевой? Руки, ноги, голова. Три составные. Их надо координировать в движении. Вы же увлекаетесь рукой — забываете про ногу. Потом подбородок... Палочку, что ли, подставляя? А рот? Не закрывается? Возьмите спичку в зубы...

Сарычев глядел понуро, чувствовал себя виноватым. И Матюшин с Плиткиным стояли, устало опершись на карабины, как на посохи. Вот тебе и новичок...

Может, они и не об этом думали. Но Андрей так понимал, так расширял их молчание.

«Не возмут, — холодел он от предчувствия. — Не видать мне встречи. Вот будет радость Аврусину!»

И снова раздавалось на плацу бряцанье карабинов, и снова командир шагал старательнее солдата, держа шашку «под эфес». И гремел, задышался в ликующем марше оркестр.

Не торопясь, с державным достоинством шел к роте высокий гость, сам великий герцог в лице лейтенанта Горикова.

Лейтенант серьезен и глазом не моргнул. Взглянул небрежно на отдавшего рапорт командира роты, кивнул и пошел дальше, вдоль строя.

Андрей чуть не прыснул. Лейтенант — герцог... Но почему остальным не смешно? Замерла, сдвинулась плечами рота, только глаза справа-налево, справа-налево, в лицо, вслед гостю.

И опять: «Разойдись!» И опять: «Становись!»

Нет, они не просто ходили. Строй РПК был занят сейчас очень трудной, кропотливой, непоситимой для Андрея по своему смыслу и результату работой. Печать какой-то тайны лежала на лицах солдат, отсвет чего-то только ими видимого, но скрытого от него. Почему уже тогда, к вечеру, после занятий, Андрей сам понял, что еще не годится для востречного строя?

Лейтенант Гориков сказал то, о чем Андрей уже догадывался:

— Отставить, Звягин, в следующий раз... Понимаю, те, чуть-чуть... Отмашка...

О, этот торжествующий взгляд Аврусина, оказавшегося рядом!

После отбоя в синем полумраке дежурного света всплыло лицо Сарычева.

— Трба шифовать шаг... — дружески подмигнул он.

Только через два месяца Андрея взяли на первую в его жизни встречу. В Советский Союз с официальным визитом прибывал президент великой державы.

7

Расслабьтесь, расслабьтесь... — озадаченно хмурился Гориков, прожигаясь вдоль шеренг, построенных на плацу за два часа до выезда на встречу.

И правда — все как будто застыли, онемели; приклады карабинов не ощущались в деревянных ладонях, колени, словно стянутые обручами, не хотели

гнуться. Перетренировались, переходили — всю неделю с утра до вечера маршировали на плацу.

— Это всегда так, — чуть подтолкнул Андрея локтем Матюшин. — Как перед первым раундом, в покое, на аэродроме разогреешься — хоть выжимай.

Во время перекура Гориков остановил торопливо пересекавшего плац Пашонкова — до сих пор во встречный строй его еще не поставили, и, чудак, надудя, даже глаза не подняв, обижался.

— Тащите-ка гитару... Для разрядки, — попросил Гориков, скрывая в голосе вину. В самом деле — почему бы и Руслана не взять на встречу?

И может, мелькнула у парня робкая надежда, обернулся мигом.

Руслан циркнул пальцами о струны, легонько, подражая барабану, пристукнул ладонью о деку, и Андрей сразу узнал песню о востречном строе. Полгода назад в роте этой песни не было и в помине. И хотя Руслан почему-то категорически скрывал свои авторские права, все знали, кто поэт, кто композитор.

Андрей перехватил взгляд лейтенанта — как тогда, в вагоне Гориков влюбленно смотрел на отбывающие такт, как бы живущие сами по себе, хозяйничающие на струнах пальцы Руслана: «Шаг, шаг — шаг, шаг...»

Солдаты страшной той войны

Под обелисками уснули.

И, заучив пароль весны.

Их внуки встали в карауле.

Хотелось подпевать, шагать и разглядывать то, что видел только Руслан своим устремленным мимо, адал, поверх окруживших его солдат взглядом.

Под снегом стел, под ливнем стой!

Бессмерный боей должность эта.

На летнем поле замер строй.

На теплом полюсе планеты.

Тонкие, но крепкие пальцы снова дробно промаршировали по деке, отбывая ритм припева, грустные глаза Пашонкова осветились изнутри радостью, и теперь не лейтенант Гориков, а он, гитарист, был главным в солдатском кругу, таким главным, как если бы шел впереди роты.

Мы в мир зеленый влюблены,

А если что случится, если —

Смотри: солдаты той войны

В шеренгах юности воскресли.

Да, в ту минуту Руслан был очень похож на лейтенанта, и весь его облик выражал что-то такое, живое напоминавшее разговор Андрея с Гориковым накануне.

...Словно спохватившись, вспомнив о чем-то перед самым отбоем, Гориков повел Андрея в канцелярию роты.

«Опять нотация?» — раздраженно поежил Андрей, хотя точно знал, что на встречу президента поедет обязательно — списки почетного караула были утверждены.

В канцелярии Гориков молча достал из шкафа альбом с красочной, витиеватой надписью «История РПК» и, сразу же раскрыв на нужном месте, положил перед Андреем.

— Посмотрите, — сказал Гориков. — Знаете эту фотографию?

Андрей взглянул на большой, почти во всю страницу туманный снимок, наверное, увеличенный с оригинала: шеренга наших солдат в длиннополых шинелях и шапках-ушанках, какие носили во время той войны, стояла, держа винтовки в положении «на

караул, перед высоким и грузным, чуть сутуловатым человеком в козырькастой морской фуражке. «Адмирал, что ли, какой-то?» — подумал Андрей.

Ничего особенного на снимке не было, но в глаза бросались уж слишком открытые и добродушные лица наших солдат. У одного из них, курного, толстогубого и, наверное, смешливого, как Линьков, вид был такой, словно это его самого встречал с почетом проходящий мимо шеренги гость. Знай, мол, наши! Но нет, гость был высокий не только ростом. Глаза этого человека в морской фуражке не были видны, вернее, виднелась только краешек глаза, но по всей фигуре, наклоненной к строю, чувствовалось, что наших солдат он рассматривает пристально и придирчиво.

— Третье февраля сорок пятого года, — сказал Гориков — Ялтинская конференция. Глава английского правительства Черчилль обходит строй почетного караула...

Теперь что-то бульдозе, цепкое, желающее схватить мертвой хваткой мелькнуло в лице этого человека. И странно незачисленными показались лица солдат. Особенно вот этот, толстогубый, — сейчас мигнет, не сдержится и улыбнется!

— Обратите внимание, это Черчилль... Прямо забирается, лезет в глаза... Когда его спросили, почему он так внимательно разглядывал наших солдат, он сказал, что хотел разгадать, в чем секрет непобедимости Советской Армии...

Командир роты, туго перетянутый лоснящимися ремнями, с тяжелой шашкой на боку, в сапогах с загнутыми, лакированными голенищами, казался выше ростом, еще большую строгость придавала лицу излишне надвинутая на лоб фуражка, тень от козырька падала на глаза. Острый, ошупывающий его взгляд перебрал каждую пуговицу, пробежал по перчаткам, прочертившим вдоль шеренг белую линию, по носкам сапог, образовавшим на асфальте черную, безукоризненно ровную зубчатку.

Он ничего не сказал — все было сказано вчера, на контрольной репетиции — и только лишь для порядка, а быть может, для того, чтобы размять голос и размягчить скованность, опять овладевшую шеренгами, подал две-три команды.

В небе прогремел самолет. Потом все стихло. И теперь уже турбинный, свистящий звук заматался ниже и ниже...

— Напра-во! Шагом марш! — скомандовал майор тихо, с незнакомой участливостью, и все поняли: самолет приземлился тот самый, с президентом.

Они прошли шагов тридцать и за углом двухэтажного дома открылось летное поле.

Андрей никогда в жизни не бывал на аэродроме и удивился необычайно широкой, какой-то даже степной его пустынности. Если бы не бетон, тянувшийся почти до горизонта, и не вертолет, усталое опустивший лопасти и подремывающий невдалеке, то и впрямь — степь.

Ветер гулял здесь свободно, и двое впереди Андрея сразу же схватились за фуражки, затунали на подбородках ремешки.

Семенящим, сдержанным шагом вышли на бетонную полосу, слева разноцветно полихнувши флажки, — за свежеекрашенным барьерником молчаливо колыхались толпы встречающих.

— Стой! — приглушенно скомандовал командир, и Андрей заметил, что рота встала точно поперек взлетной полосы. Невдалеке сверкнул стеклами аэровокзал.

Самолет появился неожиданно. Посвистывая, словно отдуваясь, он серебристо возник рядом, невесо-

мо скользнул по бетону и, мелко подрагивая крыльями, поддурил к шеренгам — это они обозначили черту, возле которой ему надлежало остановиться.

Андрей так и не понял, то ли они подошли, подравнялись под крыло, то ли крыло само нависло над ними.

К дверце «Боинга» лихо подкатил, прыгнул трап с наброшенной на ступени красной ковровой дорожкой.

Командир роты встал спиной к самолету, лицом к шеренге, скомандовал «Смирно!» и сам замер, ловя звуки приближавшихся от аэровокзала шагов.

«Как же он увидит, когда надо командовать?» — забеспокоился Андрей, заметив в группе подходивших к самолету людей очень ему знакомых.

Он помнил их по портретам, но вот так, в десятки шагов, видел впервые и очень удивился сходству. Но еще больше поразил простоте и естественности, обычности человека, которого знала вся страна. В нем не было ни чопорности, ни холодной натянутости официального, обремененного государственными полномочиями лица, встречавшего столь важного и высокого гостя; он шел неторопливо, с кем-то переговариваясь и в то же время успевая приветливо помахать рукой уже начинавшей бурлить толпе.

Советский руководитель приблизился к трапу ровно в тот момент, когда открылась дверца и в ней показался президент великой державы.

И его Андрей узнал сразу, только был он чуть помоложе, чем на портретах, а может, эту молодость придавала ему порхнувшая по ступеням жена, еще юная и обязательная на вид.

Толпа скомкнулась, вспыхнули «блицы» фотоаппаратов, застрекотали кинокамеры.

Выждавший еще с минуту и угадавший каким-то особым чутьем нужный момент, майор скомандовал:

— На кра-у! — И одновременно с этими словами, повернувшись кругом, с шашкой «под эфес», строевым шагом, оттягивая носки сапог, пошел навстречу отделившимся от толпы советскому руководителю и зарубежному президенту.

Прогремевший «Встречным маршем» оркестр словно заплутал на полуфразе.

— Господин президент!
«Господин президент!» — откликнулся эхом аэродром.

— Почетный караул от войск Московского гарнизона в честь вашего прибытия в столицу Советского Союза город-герой Москву построен!
«Построен!... строен!» — восторженно повторили станы аэровокзала.

«Он совсем не волнуется! Спокойно отчеканивает каждое слово», — с чувством внезапного уважения, граничащего с любовью, подумал о майоре Андрей. Президент стоял, слегка склонив голову, вслушиваясь в каждую фразу рапорта. Был он одет в легкий серый костюм, свободно и небрежно застегнутый на одну пуговицу; синий галстук подчеркивал безлизу сорочки, — и весь этот непритязательный наряд, вежливая манера внимательно слушать как бы равняли его с остальными.

Советский руководитель смотрел на майора по-другому — по-саюски доброжелательно, как на офицера, которого давно знал и с которым часто в подобных случаях встречался.

Отсалютовав шашкой, майор повернулся влево, уступая президенту дорогу, и Андрею почудилось, будто далеко-далеко прозвенели струны Руслановой гитары.

Президент шел прямо на него...

Плавное закруглился горизонт, и Андрей почувствовал, что стоит на земном шаре. Рядовой роты почет-

ного караула, солдат первого года службы Андрей Звягин от имени и по поручению Советского Союза встречал президента великой державы. И не струны Руслаковой гитары, а флаги, тонкие тростики звенели на высоких мачтах, и флаги двух держав трепетали, пелескали на упругом заморском ветру.

И уже не на аэродроме, а во чистом поле стоял богатый Андрей — в кольчуге и шлеме, с сияющим мечом в руках — и прямо на него, не сводя ошупывающих, с зеленоватым, заморским блеском глаз, шел высокий гость из-за тридцатидесяти, из-за тридцати морей. Андрей держал оружие не в том положении, с каким встречают врага, а «на караул», в жесте дружелюбия и мира, и вся земля советская стояла за ним — и родной поселок с наклоненными над прудом вербами, и Кремль с негаснущими звездами, и мать в своем присыпанном блестками снега пальтеце, и майор, затянутый в сияющие ремни, и даже вот тот, с государственным именем, знакомый по портретам человек, — все стояли за Андреем, надеясь на него, наблюдая, как он поведет себя: дрогнет ли, опустит ли глаза.

Президент подошел совсем близко. Нет, он выглядел все-таки старше, чем издавался. «Ну, взгляни, взгляни на меня», — загадал Андрей и чуть не отпрянул, вспыхнул — президент смотрел на него.

Он смотрел недолго, лишь секунду-другую, но задержалась, отдалась в сердце пристальность чуждого взгляда с затаенным где-то на самом дне зеленых глаз любопытством.

Наклонившись к переводчику, президент с улыбкой о чем-то сказал.

Переводчик, молодой, расторопный парень, повернулся к советскому руководителю.

— Господин президент говорит, что очень доволен выправкой. Отличные парни, превосходный караул.

— Я благодарю гостя, — усмехнулся советский руководитель. — Переведите ему, что было бы очень хорошо, если бы на всей земле остались только роты почетного караула...

— О да! О'кей! — просиял президент и приложил руку к груди.

Они пошли дальше, к толпе, зовущей их трепетом разноцветных флажков.

Остальное Андрей припоминал потом смутно, словно это происходило во сне или с кем-то другим: гулко, в самую душу бил барабан, а рота, перестроясь в колонну по четыре, шла, — нет, не шла, а летела над бетонными плитами в торжественном марше, и Андрей все опасался, что вдруг, как у Сарычева, у него полнет ремень или задерется, зацепленная карабином, пола шинели; но в те несколько секунд, пока белесо мелькнуло лицо президента, ничего не случилось, по команде «Вольно!», раздавшейся глухо, как из-под земли, рота глубоко вздохнула, сразу спружинила шаг, и Андрей опомнился уже возле курьих — Матюшин неловко совал ему в рот сигарету.

— Ну, что? С крещеницем, Андрюха!

Переполненный нахлынувшей благодарностью, чувством необыкновенной праздничности, Андрей только и смог спросить:

— Как?

— А ничего, гарно, я в балете! — засмеялся довольный Сарычев.

«Какие они славные — и Матюшин, и Сарычев, и... командир роты», — подумал Андрей, радуясь этому знакомому и новому чувству только что с успехом сданного экзамена. Он не знал, что главный экзамен ждал его впереди.

— А ты vezучий, Звягин, — завистливо вздохнул над тарелкой борща Патешников. — Надо же, встречал президента... На что Аврусин — и то не взяли. Теперь ты эрзакшник. Огни и воды и медные трубы... Тебе майор не родня случайно? Или другая протекция?

Матюшин и Сарычев, сидевшие напротив, одним движением («И тут, как на плацу!» — усмехнулся Андрей) придвинули тарелки с макаронами и, словно по команде, нацеленно тыкнули вилками — тирада Руслана не произвела впечатления. Молчал и Андрей, хотя подначка друга полстала.

Сарычев поклевал вилкой по донышку опустевшей тарелки (и когда только успел!), нахмурился, поводил бровями.

— Воды и медные трубы, оно, конечно... А шо до огней, то трэба разжуваты...

Андрей поднял от своей тарелки глаза.

— То есть...

— Перевожу, — серьезно пояснил Матюшин, и в его мягкий голос прокрапался жестковатый, знакомый по занятиям на плацу командирский холодок. — Сарычев имеет в виду Вечный огонь... Вот когда постоишь у Могилы Неизвестного солдата, тогда будешь полный солдат РПК...

«И что особенного? — с неприязнью подумал Андрей. — Что они все кичатся этим постом? Ну, час стоять, четыре бодствовать... Так это же сплошное удовольствие» — в центре Москвы, в Александровском саду. Как говорится, на людей посмотреть и себя показать...»

Он вспомнил строгую нарядность площадки возле Вечного огня, серебристо-узорчатые, как на морозном стекле, кружева инея на гранитных ступенях, жарко струящиеся, журчащие пламя над прикопченной бронзовой звездой; от этого пламени подтаивало вокруг, хотя морозец тогда был знойный. Но присягую они принимали в декабре, а сейчас май, и там, небось, как в парке, трава, листья, цветы.

— А кто все-таки там лежит? — осторожно спросил Андрей, опять представив ту площадку, как бы просвешив мрамор ниши, черную, в серых блестках, глухую, но совсем не похожую на кладбищенское надгробье плиту. Наоборот, чем-то жизненным, привычно светлым, как в дворцах метро, веяло от этого мрамора.

— Кто там, как вы думаете? — повторил Андрей.

— Неизвестный солдат, — сдвинув брови и немигающе глядя куда-то мимо тарелки, проговорил Сарычев — Неизвестный.

Матюшин отложил ложку.

— Его в шестьдесят... по-моему, в шестьдесят шестом похоронили под Кремлевскими стенами, — произнес он с таким видом, как будто сам лично присутствовал на похоронах. — На бронетранспортере привезли из-под Крюкова. И наш караул сопровождал...

— В шестьдесят шестом? — переспросил Андрей и вспомнил однажды виденное, но давно забытое.

Кто-то из ребят принес в школу две ржавых, осыпавшихся темной окалиной гильзы, алюминиевый портсигар со слипшейся, будто оплавленной крышечкой и полустертый помозок для бритья — каких-то несколько волосинок кисточки, зажатых в почерневшей медной ручке. Принесенное было найдено в обвалившемся, таром окопе, но больше всего Андрея поразили тогда не разговоры с владельцем этих предметов, смутные предположения о его гибели, приглушенно возникшие тут же, а сами гильзы, портсигар и помозок, нелепо и странно, как свидетельства с другой планеты, лежавшие на учительском сто-

ло. Даже нет, не гильзы, будто еще источающие острый запах пороха, и не пустой, смятый, как папиросная пачка портсигар. — Андрей не мог отвести глаз от помазка, быть может, за час перед боем кавашегося живых цветнистых щек. Что-то необъяснимое, несправедливое, не соответствующее логике заключалось в том, что помазок, ну если не жил, то все-таки существовал на этом свете, тускло поблескивал медной, кругловатой, как груша, ручкой, из которой выглядывала, словно прорастала рыжеватая кисточка, а человека, хозяйна этой вещи, уже не было на свете...

— Он погиб под Москвой... Понимаешь, погиб. — Сарычев заговорил быстро, горячо, словно в чем-то убеждая и самого себя: — Там же страшные бои были... Восмая гвардейская Панфилова, танкисты Ка-тукова, кавалеристы Доватора... Они не пустили врага к Москве...

Матюшин, все это время сидевший задумчиво, твердо произнес:

— В Александровском саду он за всех похоронен... За всех известных и неизвестных...

Они помолчали. Почему-то не хотелось притрагиваться к компоту, хотя вот-вот должна была прозвучать команда «Встать!» — второе отделение, сдвинув пустые тарелки и кружки на край стола, нетерпеливо поглядывало на дверь.

— У него ведь и мать и отец еще живы... — с грустью проговорил Патешонков, потянувшись за фуражкой.

— Возможно, — согласился Матюшин, и хмурое лицо его разгладилось воспоминанием. — Нам сверхсрочник рассказывал, уже уволился... Он тогда солдатом был в нашей роте, в почетном эскорте шел. Помнишь, Сарычев?

Сарычев помнил, кивнул.

— Они же тогда от Белорусского вокзала до Александровского сада сопровождали гроб... Стрелевым шагом, с карабинами, по улице Горького... Народу — тыма, по тротуарам оцепление. А напротив «Маяковской» какой-то дед прорвался — и к лафету... «Мой», — говорит, — мой сын! — и все... Ему и так, и сяк — ни в какую! Пристрелили и шел за лафетом до самой площади...

— А потом какая-то женщина... — напомнил Сарычев.

— Да-да... Многие были в черных платках... Как будто знали, что по улице Горького...

— А вы сами-то стояли у Могилы? — спросил Андрей, с робким, но уже родившимся в душе решением.

— Я три раза, — с несвойственной ему горделивостью сказал Матюшин.

— А два, — скромно обронил Сарычев.

И тут они словно отдалались, какое-то непонятное отключение отодвинуло этих двоих, стоявших на посту у Вечного огня и, значит, знавших нечто такое, что было недоступно Андрею и Патешонкову.

— Помнишь того, с тильпанями? Ну, который в старой гимнастерке приходит?

— Как же... Он сначала обойдет пилоны, и по цветку — Ленинграду, Бресту, Волгограду. А еще, когда мы в паре с тобой стояли, старушка положила кусочек булки и крашеное яйцо...

— Кусочек кулича, — поправил Матюшин.

Матюшин и Сарычев, сидевшие рядом, как будто перенесли в другое измерение, как бы в иную плоскость бытия, невидимую Андрею и Патешонкову. Вот так в полумраке зрительного зала, на лицах, выхваченных голубым лучом и как бы им осеребренных, отражается происходящее на экране.

— А в тот раз... — обращаясь теперь не только к Сарычеву, но и к Андрею, к Патешонкову, все ожив-

ляясь, проговорил Матюшин, — подходит мужчина, весь в медалях. Отцепил одну и положил рядом со звездой...

— Это многие делают, — подтвердил Сарычев. — А старушку видел? Как одуванчик, седеенькая, при мне минут двадцать на коленах простояла...

— Тяжкое дело, — сказал Матюшин, опять помрачнев. — Самый тяжелый пост...

— Так в чем же все-таки трудность? — недоумевая, спросил Андрей. — Подход по дорожке? Или чтоб не шевелиться?

Матюшин и Сарычев переглянулись, и оба посмотрели на Андрея, как на человека, которому бытый час объясняли очевидное и понятное.

— Рот! Встай! — раздался голос лейтенанта.

Все оставшееся после победы время Андрей мучительно раздумывал над услышанным. «Старички», конечно, важничают, задают. Но тут было и другое, что Андрей давно подметил, но никак не мог себе объяснить. Он ясно видел: солдаты, чей срок службы перевалил за первый год, вели себя так, словно действительно обладали очень важной, зашифрованной от новичков тайной. И правда, для чего бы эти они старались — набивали на пятках мозоли, в кровь сбивали прикладами руки — только для того, чтобы поровнее пройти?

Но самой большой, непонятной, призрачно мерцающей в пламени Огня тайной было окружено гранитное возвышение возле древней Кремлевской стены.

Кто же это говорил? Кто же это говорил, что в двенадцать часов ночи к Вечному огню приходят на поверку все неизвестные солдаты?

«Я должен там стоять. Должен. Обязательный!» — сказал себе Андрей. И спохватился — до Девятого мая оставались считанные дни.

Каждый вечер, в час, отведенный для личных надобностей, уже целое отделение тренировалось возле специального макета Могилы Неизвестного солдата. И четыре смены, назначенные в почетный караул, готовил не кто-нибудь, а Матюшин.

Сооружение из фанеры мало чем напоминало гранитные ступени, а Огня и вообще не было, и всякий раз, проходя мимо, Андрей немало дивился, с каким старанием солдаты выполняли строевые приемы.

«Артисты», — восхищался он. — Ну, прямо артисты. Это надо же так сыграть!»

Он долго присматривался к длинному и тощему Лыкову, который заступал в почетный караул впервые, хотя и прослужил в роте больше года, и ничего выдающегося в его движениях и поворотах не обнаружил.

«Пожалуй, и я так смогу!» — подумал Андрей и попросил у Матюшина разрешения встать очередным в следующую пару.

— Попробуйте, — без воодушевления позволил Матюшин.

Все силы, все, чему успел научиться за эти месяцы, Андрей как бы переместил в руки, перебрасываящие карабин, в ноги, шагающие в такт разводящему.

С первого захода по команде «Стой!», обозначенной стуком приклада об асфальт, у него не совсем синхронно с напарником получился поворот, и это секундное несовпадение не ускользнуло от Матюшина.

— Резче! — поправил он. — Резче! Вы же у Могилы Неизвестного солдата, Звягин...

Он разрешил Андрею еще заход, и, кажется, получилось — замечаний не было.

— Ну, как, товарищ сержант? — спросил Андрей. Матюшин, не оборачиваясь, впевнившись взглядом в другую, замершую по его команде пару, сказал:

— Неплохо. Только вы не о том, о чем надо думать, когда идете...

— А в принципе? В принципе?

— В принципе подход и отход правильные, — уверенно ответил Матюшин.

«Я же не артист, чтобы перевоплощаться», — обиделся на сержанта, подумал Андрей.

С затененной надеждой вошел он в кабинет командира роты.

Гориков тоже еще не ушел, сидел на привычном месте возле книжного шкафа.

«Поддержка с фланга», — обрадовался Андрей и не успел открыть рта, как майор, встав из-за стола, предупреждающе выдвинул руку, перебил.

— Я видел, все видел в окно, — сказал он. — Молодец, Звягин, отлично.

— Ну, так... забыв, что стоит перед командиром, совсем по-шутки развел руками Андрей и улыбнулся.

— Рано вам еще... — с безоруживающей ласковостью произнес майор.

— Как рано? — смутился Андрей. — Я уже умею! Вы же видели... — и вытянулся, прижал руки, стараясь казаться выше.

— Не-льзя... — упирая на «не», проговорил командир. — Это высшая честь, Звягин... Понимаете? Выходит.

«Он мстит за письмо министру», — обозленно подумал Андрей и уже повернулся, пошел к выходу, как вдруг на полшаге был остановлен голосом Горикова:

— Минуту, Звягин! Товарищ майор! Может, его под знамена?

Андрей обернулся.

— Хорошо, — сухо согласился майор. — В порядке исключения.

9

На встречу ветеранов прославленной дивизии в почетный караул у боевых знамен командир роты назначил Звягина, Пашенкова и Сарычева. Старшим шел Матюшин. Под его сержантским попечением они должны были доехать на метро до Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, там найти у входа отставного полковника, одетого в штатский серый костюм. Еще одна отличительная примета — красная повязка на левом рукаве. Полковник и проведет их к месту встречи ветеранов — на летнюю эстрадную площадку возле «Зеленого театра».

Народу было — не протолкнуться, но с краю массивной колоннады они сразу увидели того, кто им был нужен; отставной полковник оказался довольно еще молодым на вид, может, оттого, что подстрижен был под бобр, как боксер, и эта короткая ершастая прическа словно бы умяла авторитет его сплошной седины. Он обрадованно, как будто давно их знал, кинулся навстречу, пожал, потряс руки и торопливо повел за собой по красноватой, посыпанной кирпичным крошечком дорожке в глубь парка.

Всюду — по дорожкам и аллеям — расхаживали, сидели на скамейках пожилые люди, принаряженные, как на праздник, несколько раз им повстречались мужчины в старых, застиранных, вылинявших гимнастерках, а кое-кто облачился даже в полную парадную форму времен войны, которая была уже не по плечу — топорщилась, казалась слишком тесной.

То тут, то там раздавался радостный вскрик — и пожилые, солидные люди, познания гирляндами ор-

денов и медалей, сверкавшими на пиджаках, бежали навстречу друг другу, кидались в объятия.

Непонятное было ощущение — в этом парке, ископленном тысячами ног, расчерченном на скверы и газоны, пронизанном аллеями и дорожками, в этой пестрой, раскрашенной круговерти люди искали друг друга, как в дремучем лесу. И чтобы они обязательно встретились, почти на каждом повороте и перекрестке была установлена стрелка-указатель. На ней значились названия армий, дивизий и полков. И в этом тоже было что-то невероятное, словно парк культуры и отдыха вдруг оккупировали несметные воинские части и скрытно в нем расположились.

Одна из таких стрелок с названием гвардейской дивизии привела их на открытую эстрадную площадку. Все лавочки — от первой до последней уже были заняты точно такими же пожилыми людьми, какие встречались на пути сюда. Они сидели тихо, в ожидании, неторопливо и негромко переговариваясь. Отставной полковник завел их за эстраду, поманил за собой.

Темно-красное полотно, кое-где порванное и уже истлевшее, словно подпаленное по краям, тяжело развевалось на отполированном древке, и Матюшин ловко его подхватил, куда отставной полковник, видно, не рассчитав силы, чуть было не уронил, высвобождая одной рукой из чехла.

— Сарычев — знаменником, Пашенков и Звягин — ассистентами, — тут же распределил обязанности Матюшин, передавая знамя Сарычеву.

Тот привычно взялся за древко, потянул вверх, потрогал знамя на вес, чтобы угадать, как удобнее нести, и, перекинув полотно влево, встал, приготовился, ожидая глянув на отставного полковника.

— Пора! — сказал отставной полковник и помахал кому-то в глубине эстрады: тут же щелкнуло, зашипело в репродукторе, и сверху обрушилась, загремела песня: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...»

Сарычев отлично знал весь порядок, весь ритуал. Выйдя из-за эстрады, он не стал подниматься кратчайшим путем на сцену, а обошел сначала всю площадку — до последних рядов, и только потом, по проходу начал возвращаться назад. Андрей шел слева от него, изо всех сил стараясь попадать в ногу, стиснув зубы — почему-то дрожал, отвисая, подобродок, — идти было неудобно, слишком узок оказался проход, да к тому же все встали, близко толпились, мешали идти.

Сцена тоже была полна. За накрытым красным столом стояли люди в штатском и военном, и хотя лица сливались, Андрей почувствовал, что все смотрят на них, несущих знамя.

Он почти не слушал команд, которые отрывистым шепотом подавал Сарычев. Стараясь попадать в ногу, они поднимались по ступенькам и встали за столом президиума в глубине сцены.

Андрей вгляделся. Народу собралось уже много — все места были заняты, кое-кто даже стоял, приспосовившись к ограде. Но больше всего Андрей удивился как бы исходящему из передних рядов металлическому мерцанию — никогда он еще не видел так много орденов и медалей.

От зрительного зала Андрея отделял президиум — в двух шагах теснились, горбились спинки, и невольно бросалось в глаза, как много собралось вместе седых людей. И было что-то трогательно-смешное в том, что люди эти, с одышкой одолевавшие ступени, грузно занимавшие ступя, называли друг друга Петями, Вовами, Сережами. Слово они по-своему, по-стариковски дуранились, вспоминая давнишнюю, детских лет озорную игру,

Но вот со своего, как видно, председательского места поднялся тощий, узкоплечий мужчина, стуловатого, вопрекистельным знаком наклонился над столом, пощелкал пальцем по микрофону, что-то сказал. На худой, недавно подстриженной шее розовые проступили пятна. В микрофоне скрипнуло, зашуршало, и голос стал слышнее, отчетливее.

— Вот посмотрю я вперед,— покашливая, сказал тощий мужчина и повел перед собой рукой.— Посмотрю в зал, и кажется: как было нас много, так и осталось. А ведь это не нас, не нас... Незнакомые все лица. Зрители, значит, больше...

Забудька графин. Тощий мужчина отпил глоток и обернулся к президиуму. На какие-то секунды обернулся, и Андрей сразу заметил: на стареньком кителе — орден Ленина, три Красного Знамени и медалей — сплошной слиток.

— А посмотрю назад,— ошевишь голосом продолжал мужчину,— посмотрю назад: ребят наших все меньше и меньше. Редуют ряды. На первой встрече, в пятьдесят пятом, восемнадцать человек сидели в президиуме, а сейчас — десять. Только за этот год троих потеряли. А ведь придет день, когда кто-нибудь из нас и в зале-то останется один...

— Когда-нибудь вообще никого, не останется,— заворчался на стуле прямо перед Андреем полный, с блестящей лысиной мужчина.

— Вообще ни одного участника войны,— уточнил профессорского вида старик в очках.

— Участник войны — понятие растяжимое. Всем досталось. А рабочий — не участник, по-вашему? Ну-ка, постой послуток у станка с пустым животом... Да еще под бомбами...

— Правильно. Вот я и говорю, все военное поколение сходит на нет...

— А как же иначе — диалектика...

— Диалектика, оно верно, а вам не кажется, что вместе с человеком умирает и его время? Что самое главное в нашей биографии? Война...

— Вы хотите сказать, что вместе с последним участником войны умрет и память о войне?

— В какой-то степени — да. То, что останется в книгах и фильмах,— это уже вторичное, так сказать, страшный свет. Одно дело — смотреть по телевизору фильм о блокадном голоде, и попивать чаек с пирожком, а другое — самому делить на шестерых стограммовый кусочек хлеба. Одно дело — лежать под бомбами, а другое — читать про бомбежку под уютным торшером...

— Так затем и страдали, чтобы детям жизнь досталась посветлей и потеплей...

— Не спорю. А все же «спасибо» хотелось бы услышать и от правнуков. Будущая-то жизнь... рождена вчерашней смертью...

Председательствующий постучал по графину карандашиком — услышал спор этих двоих, и они замолчали и сидели, насупись, делая вид, что слушают выступавших, но, наверное, что-то мучило их обоих, потому что мужчины профессорского вида, не выдержав, опять заговорили:

— Вам не приходило в голову, что память поколений работает, как трансформатор? Главным образом, понижающий напряжение. А хотелось бы с повышением.

— Но ток-то все равно бьет... Лысый усмехнулся.— Вы же помните гражданскую войну, хотя родилась в год ее окончания...

«Нет, пожалуй, лысый больше похож на профессора», — подумал Андрей.

— Так мы договоримся до того, что помним... Бородинское сражение — хитроват блеснул очками второй мужчина.

— А что? Помним! Люди уходят вроде бы по-

одиночке, а получается — целыми поколениями. Поэтому и побатаально, выполнив на этом свете свою боевую задачу... А знамена...

Лысый поискал глазами, повертел головой и вдруг обернулся к Андрею.

— А знамена оставляем вот этим...

Андрей залился краской, опустил глаза.

Коренастый мужчина, едва выглядывающий из-за трибуны, рассказывал о каких-то «пэ-э-эрах», стрелявших по танкам, о том, как, переправившись через реку всем батальоном, они остались в живых на том берегу лишь втроем — и тут выяснилось, что третий не кто-нибудь, а вот этот самый лысый, минуту назад доказывавший свою причастность к Бородинской битве. Трудно, невозможно было поверить, что эти люди, отяжеленные возрастом, бросались под танки, переплывали ледяные реки, бежали к рейхстагу по смертоносной площадке. Андреем казалось, будто они рассказывали не о пережитом, а о прочитанном или виденном в кино.

Его взгляд на магнитично соприкоснулся со встречным из зрительного зала. Подавшись вперед, похожая на старенькую учительницу женщина во втором ряду с двумя блеснувшими на кофточке медалями долго не сводила с него глаз, но, приглядевшись, Андрей понял, что она смотрит как бы чуть-чуть мимо, и догадался, что ее интересует знамя. Она словно прошушывала, перебирала каждую складку и даже как будто шевелила губами, пыталась прочесть вышитую на знамени надпись; наверное, это было очень трудно — женщина щурилась и все больше высывалась над плечами сидевших в первом ряду.

«Что это она?» — удивленно подумал Андрей.

А женщина, вдруг вскрикнув, вскочила с места и бегом бросилась к сцене. Споткнувшись, перескочив две ступеньки, она кинулась к знамени и с глухим стуком упав на колени, схватила бахромистый край полотнища, прижалась к нему губами. Андрей услышал рыдание.

Он хотел наклониться, помочь встать и уже было нагнулся, но что-то остановило его, и, целясь от неловкости, от несурзатности положения, в котором оказался, Андрей остался стоять, как было положено по инструкции — по стойке «смирно».

Зал оледенело молчал. Молчал и сбитый с толку очередной оратор. Председательствующий подошел к женщине, взял ее под локоть, помог встать и, с неловкой улыбкой с чем-то спросив, усадил рядом.

— Товарищи! — сказал он, постучав по графину карандашиком.— Продолжим заседание. Ничего особенного. Просто человек узнал свое знамя...

Андрей вспомнил то, что по пути сюда замечал лишь мимоходом. Указатели воинских частей, расставленные в парке, вели не просто к полкам и дивизиям, а к знаменам. Ну да, к знаменам. Он же видел, как они вспыхивали, рядом светились среди деревьев. Люди искали свои знамена.

— Продолжим! — опять постучал карандашиком председательствующий.

10

3 адание командира роты было выполнено, и, прежде чем вернуться в роту, раздобывший Матюшин своей серпантинской властью разрешил погулять, поразвлечься полчаса — не каждый день и даже не каждое увольнение удается попасть в парк культуры и отдыха.



Народу в парке прибавлялось. Толпы, несметные, как после футбольного матча, вливались в арку и, бурля, растекались по дорожкам. Воинские части, расквартированные на эстрадных площадках, в читальных павильонах и просто на зеленых лужайках, с каждым часом получали подкрепление, и уже не один, а несколько оркестров переключались трубами, и то тут, то там возникающие песни перебивали одна другую.

Немного отстав, Андрей перешел ажурный мостик и уперся в толпу, которая в странном, безмолвном любопытстве разглядывала что-то возле прицепленного к куст боярщика указателя стрелковой дивизии.

Андрей протиснулся дальше и увидел посреди толпы девушку. Она стояла, потупив глаза, словно чего-то смущаясь, а когда подняла их, очутившийся совсем близко Андрей успел перехватить ее темный, как ему показались, с золотистыми искорками взгляд. «Глаза с веснушками», — сразу подумал Андрей, но в этих глазах держалась какая-то очень взрослая дума, не соответствующая скалестенному, со вздернутым носиком личику. Что-то девчоночье и одновременно мальчишье было в ней, может, потому, что и подстрижена она была «под мальчика» — светлые завитушки, наверное, непослушные гребню, проявляли полную непокорную самостоятельность.

Глаза с веснушками словно бы вспыхнули от соприкосновения с человеком, нарушившим неподвижность толпы, и Андрей заметил, как, оживясь, они скользнули по необычной его форме, на мгновение задержались на аксельбантах и тут же словно пригласили, потеряли всякую заинтересованность.

И только сейчас Андрей обратил внимание на то, что разглядывала толпа. Девушка прижимала к груди лист ватмана с приклеенной к нему фотографией. Нанюска лист пересекала надписи, выведенная синим фломастером.

«Что помнит?» — прочитал Андрей.

С фотографии, как бы через залитое дождем стекло, смотрел парень в гимнастерке и фуражке, чуть сдвинутый набекрень. Черты лица были размыты, только глаза остались черными, словно проникающими сквозь лист, и с них не слиняла та смешливость, которую много лет назад секундно перехватил и запечатлел объектив аппарата. Парень был примерно того же возраста, что и Андрей, и, если бы не военных времен форма, — солдат из соседнего взвода.

«Что помнит?» было старательно выведено круглым девичьим почерком. — Рядовой отдельного лыжного батальона 20-й армии Сорокин Николай Иванович. Пропал без вести в декабре 1941 года, под Москвой».

Кто он ей, Сорокин Николай, пропавший без вести где-то под Москвой?

«Наверное, отец», — предположил Андрей и тут же усомнился: не могло быть у этой восемнадцатидвадцатилетней девочки отца, всевавшего в ту войну. Она была, наверное, как и Андрей, пятьдесят шестого, ну, пятьдесят седьмого года рождения.

Андрей подвинулся вперед, рука сама потянулась к фотографии, и он тихо, чтобы не слышали другие, спросил:

— И вы Сорокина, да?

Он шагнул непроизвольно, неосознанно и тут же об этом пожалел. Девушка медленно обернулась на его слова с тем выражением раздражения, уже знакомым Андрею, когда любой вопрос воспринимается лишь как желание завязать разговор; ее глаза подернулись холодком. Девушка отвернулась.

— Вы меня не так поняли, — покраснев, пробормотал Андрей. — Я просто хочу вам помочь. Я могу... Зачем он это сказал?

Любопытство и надежда мелькнули в ее глазах, и неприступные за минуту до этого, они широко раскрылись и впустили Андрея. Девушка свернула ватманский лист в трубку и медленно, как бы приглашая Андрея, пошла по дорожке, ведущей к выходу из парка.

— Он вам кто? Дед? — спросил Андрей, приставившаяся рядом.

— Нет, — с недоверчивой улыбкой приглядываясь к Андрею, сказала она.

— Тогда... дядя...

Теперь засмеялась ее глаза. Ей, наверное, нравились эта загадка. Завитушки на лбу подпрыгнули, она кокетливо покачала головой.

— А вот угадаете!

— Зачем гадать? — деловито проговорил Андрей. — Нужны данные — и все...

— Данные почти нет... Это же последний его адрес: лыжный батальон. А вы что, — резко обернулась она, — имеете к этому отношение? Вы где служите? Эти аксельбанты... Кто носит такую... — она поискала слово и рассмеялась, — гусарскую форму!..

Андрей вспыхнул, но не подал вида, что оскорбился.

— Я служу в роте почетного караула, — неожиданно прямо сказал он. — И мы имеем возможность... Разрешите, запишу данные...

— Это что же за рота? Ах да! — Поджав губы и нарочито нахмурив брови, но не скрывая насмешки, она всплеснула руками, прихлопнула в ладоши. — Встречаете королей и герцогов? — И сразу же серьезно: — Пишите!

Андрей с готовностью достал записную книжку, отстал страничку с буквой «С».

— Почему вы решили, что я на «С»? — спросила она с удивлением.

— Я не вас, я его... — пробормотал уличный Андрей, показывая на ватманскую трубку.

— А я так и поняла, — кивнула она, дрогнув завитушками.

— Так как? — настороженно, боясь, что его стратегический замысел, уже разгаданный, сорвется, спросил Андрей.

— Вот, — сказала девушка. — Настя... Можете позвонить... — И назвала номер телефона.

— Спасибо, — проговорил Андрей. За что он сказал «спасибо»?

К ним гуском подходили Матюшин, Сарычев и Патешников.

— Вы куда пропались, Звягин? — начальственно спросил Матюшин, но, взглянув на девушку, осекся и сказал мягче: — Пора ехать в роту!

— До свидания, — произнес Андрей, желая сейчас одного: чтобы Настя осталась, чтобы не пошла с ними — все-таки у Матюшина вид был параднее да и сам он — куда симпатичнее.

— Жду, — подала легкую руку Настя. — До свиданья...

(Окончание следует.)

Евгений Винокуров



Колодец

И когда уже не было силы идти,
то, как всякий отчаявшийся землепроходец,
неожиданно я повстречал на пути
позабытый, осыпавшийся колодец...

Я нагнулся и крикнул в него, и тогда
там, где было все пакостно и безотрадно,
на заброшенном дне замерцала вода
и протяжный мой крик возвратила обратно.

Над колодцем торчал измочаленный шест,
и молчал я,

 постигнувший удвоенье.
И кочная вода повторила мой жест,
означавший надежду и удивленье,

И тоска отошла, что пилила, свербя,
на мгновенье,

 — и это почел я за благо,—
и в колодец смотрел я, как будто в себя,
и лицо мое вверх подымалось из мрака.

Черепаша

Вот причуда пустоты и праха,
давшая смиренности обет,
проползает полем черепаха,
предвкушая за кустом обед.

Средь постылой мировой пустыни
движется она едва-едва...
Что за дело ей до этой сини,
твоего, природа, торжества!!

Молока ей из бутылки вылей
и зерна ей насыпь из горсти,
Сколько надо дьявольских усилий,
чтобы ей за пищей проползти!

Залегла средь стеблей молочая,—
надо быть чуть-чуть и посмелей! —
острое блаженство ощущая
от обыкновенности своей.

Хиппи

Век тонет в крике, сипе, хрипе,
царит земной переполох...
Лежит среди Парижа хиппи
и давит на подруге блох.

И нет им никакого дела
до стонущих в тоске родных!
Прокисшим потом пропотело
последнее тряпье на них.

О чем тут может быть забота,
когда вся жизнь для них пустяк,
когда безумная свобода
над ними подняла свой стяг!

Хотя среди земного ада
прожить так просто, без затей!
А может быть, и впрямь не надо
варить борщи, качать детей!

А может, так и жить у края,
чтобы не мучилась рука,
упорно запонку вдевая
с утра в петлю воротника!

Там, где грохочет эстакада,
они лежат, дрежа в углу...

А может быть, и впрямь не надо
в камне шевелить золу,
а видеть на планете старой
лишь звездный мир над головой,
как этот, что лежит с гитарой
на многолюдной мостовой!



Спасите нас от пророчков,
от воплей их и от слез,
от наступающих сроков,
предсказанных ими всерьез.

Нельзя уже и за водою
девице пройти стороной,—
сни трясут борсодю
и брызгаются сплюной.

Спасите нас от пророчков!..
Удел наш — поле и труд.
Они от наших порогов
наших детей уведут.

Замуж не выйдут девы
и ведаť не будут стыда.
И оскудеют посевы,
и пропадут стада!

Спасите нас от пророчков,
что впади в неистовый раж,
и там, за кушницей дроков,
пусть догорит мираж.



**Роберт
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ**

А ДИСКУССИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

(Заметки о песне)



Рисунки
И. ОФФЕНГЕНДЕНА.

Сначала несколько цитат:

«Песня, как никакой другой жанр, всеобъемлюща. Она призвана отражать и преломлять в себе крупнейшие события эпохи. Она конденсирует в себе и тонкую лирику, и героику, и гражданственность...»

А. Флярковский. «Литературная газета»,
№ 48, 1974 г.

«Профессиональный слух, конечно, улавливает эстетическую фальшь и пустословие в песнях, исполняемых с эстрады или по радио, но, честно говоря, знакомство с печатными текстами повергает в уныние. Как мало хороших, поэтически выразительных песен и как много безликих стереотипов, пошловатых шлягеров, холодных речитативов, имитирующих подлинно высокие чувства...»

А.Л. Михайлов. «Литературная газета»,
№ 19 1973 г.

«...Когда же текст не на высоте, то и песня уже не песня, даже если музыка мелодична...»

М. Каратаев. «Литературная газета»,
№ 32, 1973 г.

«Нельзя оправдать появление бесчисленного количества «однодневок» постоянной жадной новых песен... Невозможно мириться с теми «творцами», которые считают, что «сделать» песню легче легкого...»

А. Пахмутова. «Литературная газета»,
№ 13, 1973 г.

Я привел только несколько высказываний, так сказать, несколько всплесков из тех могучих дискуссионных «бурь», которые неслись на страницах «Литературной газеты» и год и два года назад.

Речь в этих дискуссиях шла о песне, и, надо заметить, что в интонациях всех выступающих в основном преобладал сарказм, почти каждый автор обязательно разделялся в своей статье с теми или иными песенными «словами», с тем или иным песенным «текстом».

И если говорить о главном выводе из дискуссии, то литераторы — авторы статей — сформулировали его примерно так: хорошие стихи — песня хорошая, плохие стихи — плохая. Все просто.

Я было уже почти полностью согласился с этим, как вдруг услышал по радио Нани Брегвадзе. Пела она знаменитую «Калитку».

Отвори потихоньку калитку
И войди в тихий садик, как тень.
Не забудь потемнее накидку.
Кружева на головку надень...

Я вслушиваясь в голос певицы, а про себя повторяю общий вывод песенной дискуссии: хорошие стихи — хорошая песня, плохие стихи...

Но погодите, в «Калитке»-то стихи не слишком! Попадались они под руку любому участнику дискуссии, и можно себе представить, что осталось бы от них! Выходит, не попадались под руку? А может, все не так просто и дело в другом?

Звучит песня. Тихая, медленная песня. И мне, например, не хочется выяснять, хорошие там стихи или плохие. Потому что в ней — звучащей — происходит преобразование поэтических строчек.

Но, может быть, она одна такая?

Давайте еще поцзем:

Калинка, калинка, калинка моя!
В саду ягода-малинка, малинка моя!..

Что в этих стихах? Если разбирать их в отрыве от музыки, то ничего особенного. Обычные народные прибаутки. Не хуже и не лучше других.

Но если вспомнить музыку (а дело в том, что ее и забыть то невозможно), вся общность, вся неприязнительность двуступия исчезает напрочь!

С первых нот, с первого протяжного «Ка-а-а...» вас захватывает редкостное и радостное волнение. В нем ожидание чуда. Пока еще озорная, присказка. Предчувствие, в котором и молодецкий замах в безудержная ураль!

Потом — удар! — «...линка, калинка, калинка моя!..» Слова выкатываются, выговариваются — точные, родниковые слова. Музыка — в них, и они — в музыке. Дальше, дальше, чаще, чаще!

Пошло, раскатилось, расхохоталось — солнечное, задорное, зовущее, наше! Вот оно, вот — развернулось во всю ширь! И дальше, дальше: кто скорей, кто веселее, кто либнее, кто яростней, кто невозможней, кто невероятней!

Еще бы, русская ласявола!..

Встречаются и другие случаи.

Ведь порою песня больше и чаще, чем любой другой жанр искусства, может и умеет впечатываться в эпоху, в тот или иной ее отрезок. Впечатываться навсегда!

Причем для конкретного человека бывают одинаково дорогими и «Песня о встречном» и «Утомленное солнце», которое «нежно с морем прощалось». Вещи, как вы понимаете, несравнимые!

А вот для него, конкретного человека, в этих двух — абсолютно разных — песнях заключена молодость. А еще молодость страны, вдохновенной, мечтающей, ищущей, работающей страны. И обе эти песни будто эхо той молодости. Дорогое, далекое эхо.

Говорить, что тогда была только «Песня о встречном», а «Утомленного солнца» не было, значит говорить неправду. Значит отказываться от какой-то части собственной молодости.

«Утомленное солнце» — плохая песня? Конечно, плохая.

Но когда-то это «Солнце» все-таки вспыхнуло, взорвалось. А потом погасло. И однако при жизни своей оно успело осветить чью-то юность, чью-то первую любовь, чью-то первую встречу. И поэтому осталось в памяти.

Я понимаю, что само «Солнце» лучше от этого не стало. И все равно «резвиться» по поводу его текста не могу. Рука не поднимается. Что-то не дает мне этого сделать. Я даже знаю, что. Уважение к людям, чью молодость озарило «Солнце».

Может быть, это частный случай. Но, когда мы вспоминаем добрые старые песни, такие частные случаи игнорировать нельзя.

И говорю я не о том, что стихи некоторых (даже хороших) песен без мелодии хуже. Я о том, что они с мелодией лучше. Намного лучше...

Вот как преображаются слова в другой песне. Совсем другой.

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!..

Первое же слово «вставай!» в песне звучит невыносимо длинно. Звучит как приказ. И как мольба. Оно бесконечно громкое и открытое — это «вставай!». Потому что страна и впрямь огромная. И надо докричаться до всех, до каждого, до любого надо, чтобы все услышали. Абсолютно все!

В этом «вставай!» есть и мамах. Почти как тот, «калывинный». Но уже без игры, всеерьезно, жестоко-беспощадный замах. Страшен будет удар после такого замаха!

И слово, «огромная» поется так, что в нем ощущаешь не только немалую махштабность страны, но и слышишь грохот ее железных дорог... «Огромная», — забько становится от этого слова.

И ритм песни, как ритм сердца Родины. А еще он, как поступь ее полков, ее дивизий, ее армий.

Есть герои-люди. Есть герои-города. Но если бы было установлено знание «песни-героя», то одной из самых первых это звание получила бы «Священная война».

Вот что значила и значит эта песня.

Вот почему я не могу отделить ее от тех грозных месяцев и лет, а в ней не могу отделить стихов от музыки...

И даже странно вдруг убедиться в том, что «Священная война» и «Москвичи» («В полях за Вислой сонной...») написаны одним размером. И что в припеве «Калинки» и в песне «С чего начинается Родина» тоже один стихотворный размер. Настолько различны по интонации эти хорошие песни.

Да и вообще, когда мы слушаем настоящую песню, то, согласитесь, нам и в голову не приходит вопрос: что в ней все-таки лучше — стихи или музыка? А если такой вопрос возникает, то, значит, сама песня не очень хороша...

Теперь еще об одной песенной «тайне».

Даже когда я читаю (просто читаю) стихи М. Исаковского («Враги сожгли родную хату», то все равно вопреки моему желанию где-то подсудно во мне звучит музыка М. Блантера, написанная на эти стихи. Звучит вместе с каждой строкой, вместе с каждым словом.

Допустим, я пытаюсь ей не поддаваться. Я нарочно тороплю стихи, отделяю их от музыки. А она — музыка — не дает этого делать. И я чувствую, что, даже читая стихи про себя, я должен читать их так, как они звучат в песне.

Получается, что песня — это еще и особый способ прочтения стихов. (И говорю не о мелодикамации!) Способ, который Илья Сельвинский когда-то пытался выразить графически. Вспомните его «эс-паузы».

Я не теоретик. Я не могу отбить хлеб у музыковедов, хотя бы потому, что абсолютно ненаучно делю для себя песни лишь на хорошие и плохие.

Заранее согласен, что такое деление, мягко говоря, безупречно.

Однако меня оно устраивает. Во всяком случае, это более понятно, чем существующее деление песен на «эстрадные», «массовые», «литературные» и т. д.

Возьмем какой-нибудь распространенный термин и попытаемся вычлнить в него, соотнести его с жизнью.

Ну, например, «эстрадная песня».

Что же оно такое — «эстрадная песня»?

Должно быть, песня, которая исполняется на эстраде? Одним солистом? Квartetом? Вокальным ансамблем?

А если на эстраде солист поет с хором, это что? Не «эстрадная песня»? А какая? Хоровая? Массовая? Но ведь массовость песни определяется не количеством исполнителей!

Тогда чем? Популярностью в массах? Однако популярными, даже очень популярными, бывают и песни-пустышки, песни-однодневки!

И потом, смотрите, что получается: ежели песня про любовь, то ее, не задумываясь, называют «эстрадной», а ежели про КАМАЗ, то как-то стесняются.

Значит, все дело в содержании, в идее?

И, может быть, вопрос прояснится, если разложить песни по традиционным полочкам: это лирика, это гражданственность?

Может, он и прояснится, да только не очень. «Землянка» А. Суркова и К. Листова, «Журавли» Р. Гамзатова и Я. Френкеля (по-моему, лучшая песня последних лет) — это что? С какой полки? Лирической? Публицистической? Я не знаю.

Да неужели все определяется только наличием электрогитар в аккомпанементе и количеством блесков на платье певицы?

Если исходить из нынешней практики, то получается именно так.

Видите, термин «эстрадная песня» вроде бы понятный, даже навязный в зубах. Употребляют его и с трибун и на газетных страницах, а что он в конце концов обозначает?

Ведь сегодня этим термином можно окрестить любую песню. Любую!..

Обидно, что почти нет настоящих теоретических работ по песне.

Конечно, я не говорю о статьях в специальных журналах. Такие статьи время от времени появляются.

Но главная их беда даже не в занудности, а, скорее, в их надменном взгляде свысока. В снобистском похлопывании по плечу «легкого жанра».

А советская песня давно уже не нуждается в снисхождении. Лет почти шестьдесят как не пуждается. И глядеть свысока на нее не надо. В пору бы дотянуться до высоты иных советских песен!..

Настоящая песня — это огромно. Это часть нашей жизни. Причем значительная часть.

Ведь она, песня, нежная колыбельная песня, будто спрессованная из доброты, света и тепла, — первое, что мы слышим, когда приходим на землю.

И она, песня, — последнее, что провожает нас в конце жизни, когда мы уже ничего не слышим.

Между этими двумя песнями — колыбельной и траурной — наши любовь и ненависть, гнев и восторг, печаль и вдохновение, работа и отдых.

Между этими двумя песнями — наша жизнь. Петрая, мельтешащая, прожитая, такая продолжительная и такая мгновенная жизнь.

Жизнь, в которой постоянно звучат песни.

Песня — это наша память. Не только наша, личная, но и звучащая память Человечества.

Что касается поэзии, то она вообще долгое время существовала только в жанре песни. Стихи пелись. Обязательно пелись. Такие песни шифровались веками и оберегались, как огонь в очаге.

Можно сказать, что песня — это составная часть детства Человечества. Так стоит ли забывать собственное детство? И надо ли относиться к нему пренебрежительно?

Древние песни, старые народные песни — это озвученная археология.

Археология, восстанавливающая характер наших предков. Их души.

Рядом с прекрасными народными песнями живут, не меркнут, не стареют и песни революции, песни

гражданской войны. Наша советская песенная классика. Гардения наша. Боевой стаж этой гвардии исчисляется десятилетиями.

Советская песня — в дни мира и в дни войны — всегда была и оружием, и паролем, и мечтой, и клятвой.

«Легкий жанр» то и дело становился тяжелой артиллерией.

А если говорить о воздействии на массы, то ни один вид искусства не может так объединять людей, как это делает песня!

Нет, настоящая песня — это очень серьезно. Очень!

Я пишу эти строки и чувствую, что в них есть какая-то оправдывающаяся нитонация. Будто я сам себе доказываю, как нужна и важна песня. Или пытаюсь убедить в этом кого-то неведомого. Зачем? И кого? Ведь буквально все понимаю важность и нужность настоящих талантливых песен!

Понимают-то проде бы все...

И, однако, я уже почти привык к тому, что некоторые мои коллеги, даже написав хорошую песню, сообщают об этом, как бы извиняясь:

«Вот, мол... помимо серьезных стихов... я тут... случайно, конечно... хе-хе... изобразил, так сказать... но это так... вместо отдыха...»

Фраза предназначается в основном для собеседника, который, естественно, убежден, что уж никак невозможно: «с небес поэзии» и вдруг — в песню!..

Вот видите, с одной стороны, «все понимают», и «все согласны», а с другой стороны, среди этих «всех согласных» происходят любительские вещи.

Например, когда хорошие поэты (написавшие, помимо всего прочего, много известных песен) рассказывают о своем творчестве, то почему-то в этих рассказах обязательно присутствует мысль: «Я лично никогда не думаю о том, станет стихотворение, которое я пишу, песней или не станет...»

Иными словами, автор хочет сказать: «Я, мол, вообще-то человек серьезный. Талантливый. Стихи пишу. И за то, что с ними происходит дальше, никакой ответственности нести не хочу. Мои стихи становятся песнями? Да что вы говорите?! А впрочем, что ж, значит, в disposición ко всем остальным достоинствам я еще и, оказывается, обладаю тонкой песенной душой... Но это уже врожденное...»

Ты берешь книжку такого — повторяю — серьезно, хорошего поэта и видишь, что многие стихи его (такие песни и не ставшие ими) написаны по так называемым «железным» песенным законам.

Во-первых, в каждом стихотворении не больше 4—5 стрф.

Во-вторых, в каждой строфе (или через одну) есть точно найденная повторяющаяся строчка. Как правило, последняя.

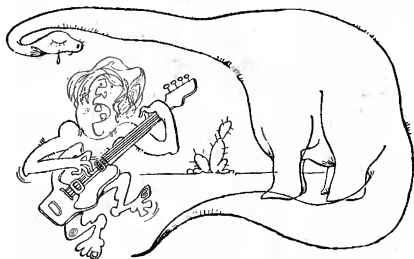
В-третьих, каждая строка в таком стихотворении целиком вмещает в себя одну законченную фразу. И не бывает так, чтобы фраза переносилась и заканчивалась, скажем, где-то посредине следующей строки.

Наконец, в-четвертых (достигается это не часто, но достигается), в таком стихотворении порою подзвучно много строк заканчивается (мечта композитора и исполнителя) на «песенные» -а, -о, -я...

Созданные по этим законам стихи могут быть и плохими и хорошими. Сейчас я говорю о хороших стихах.

И, простите, не верю прозаическим манифестам их авторов. Тем, в которых говорится, что «песня полыхала сама собой». Что автор «и не предполагал...».

А как же тогда быть с песнями, написанными специально для какого-нибудь конкретного



фильма или спектакля? Они, что, тоже получаются «сами собой»?

Неужто, создавая порою сугубо специфическую песню для фильма, встречаешься с режиссером, композитором, споря с ними, предлагая свои варианты, мастытный автор так уж и «понятия не имел, станут стихи песнями или не станут...».

Думаю, что подобные авторские заявления очень подошли бы для опубликования в журнале «Наука и жизнь». Там был такой специальный раздел под названием «Маленькие хитрости»...

А зачем хитрят серьезные люди? Кого обманываешь? Чего стыдиться?

Некого и нечего стыдиться тем, кто честно относится к своей работе. Тем, кто пишет песни.

Впрочем, нет! Зря я говорю, что стыдиться нечего.

Увы, есть чего стыдиться. Очень даже есть. Ведь написав несколько удачных песен, ты, причем, учтите, добровольно, переходил из привычного разряда «нормальных» поэтов в разряд поэтов, к которым прибавлено то ли цеховое определение, то ли уточнение их возможностей, их масштабы.

Ты переходил в разряд «поэтов-песенников». Термин этот руган много раз, но он существует. Пишешь стихи? Ты поэт.

Ах, еще и песни пишешь? Тогда ты поэт-песенник.

(Господи, и почему это никому не приходит в голову называть хорошего поэта Егора Исаева «поэтом-позмистом»? Ведь он пишет только поэмы!..)

Ну да ладно. Не в терминах дело...

Однако если «просто поэт» — это вроде бы высокая каста, вития, философ, разговоры с богом и прочее, то «поэт-песенник», сами понимаете, никакой не вития и уж само собой не философ. Да и разговоры у него происходят не с богом, а преимущественно с композиторами и — когда повезет — с исполнителями.

Далее: ежели число «просто поэтов» — членов СП СССР огромно, но все-таки его можно назвать, то число «поэтов-песенников» назвать нельзя. Никто не знает, сколько их.

Сейчас не пишет песен только тот, кому их лень писать. (Если в этой фразе и есть преувеличение, то не очень большое.)

А ведь согласитесь, для человека совсем не равно, быть одним из пяти тысяч вполне уважаемых деятелей культуры или же одним из тьмы, представителем неформальной массы непонятных людей, быть «поэтом-песенником».

Шучу, конечно.

К любому прозвищу можно привыкнуть. И неудовлетворенное авторское самолюбие тут ни при чем. Но то, что песни действительно пишут многие, — факт...

Начнем с самодеятельности.

Теперь без нее не обходится ни один завод, стройка, институт, колхоз, школа, не говоря уже о Дворцах культуры и клубах.

Ну а если есть самодеятельность, то в наши дни там обязательно есть инструментальный (или вокально-инструментальный) ансамбль.

В каждом ансамбле (почти наверняка!) есть люди, которые пробуют свои силы в сочинении стихов или музыки. Так возникают «самодеятельные» песни.

О чем они? Да о том же, о чем и «несамодеятельные». О любви, о молодости, о работе, о своем городе, институте и т. д.

Песни эти иногда удачны, искренни, своеобразны. А чаще всего наивны, многозначительно «красивы», в общем, непрофессиональны.

Впрочем, «самодеятельные» авторы и не претендуют на какую-то межобластную известность. Они пишут песни для себя. И для себя исполняют.

Они вполне довольствуются хотя бы тем, что их незамысловатые сочинения нравятся друзьям, товарищам по работе, сослуживцам. К тому же местное клубное начальство при случае с удовольствием представляет гостям: «А вот это наш поэт...», «А вот это наш собственный композитор...»

Песни «самодеятельных» поэтов и композиторов исполняются в общих концертах, и нельзя сказать, что они совершенно не влияют на музыкальную жизнь страны, не влияют на вкусы людей.

Влияют, и даже очень. Особенно на молодежь. Из самодеятельности на профессиональную сцену приходят не только артисты, музыканты, певцы. Из самодеятельности иногда приходят и поэты. Путь это долгий, трудный, полный разочарований, побед и мужества.

Но если у человека есть талант и есть настойчивость, то он может добиться своего.

А как быть, если таланта нет, но... очень хочется? Тогда можно сделать попытку пробиться в «песенники»...

Допустим, молодой человек, учась в техническом вузе, был там кумиром. Он писал стихи, и уже одно это нравилось всем сокурсникам без исключения.

Правда, когда он посылал свои стихи в самые разные газеты и журналы, отовсюду приходили вежливые и холодные отказы. («Слишком слабо...», «Несамостоятельно...», «Отсутствие таланта...», «К сожалению, наш журнал не сможет...»)

Конечно, молодой человек был недоволен такими ответами. Тем более, что несколько песен этого моло-





дого человека (музыка либо его собственная, либо одного из музыкантов ансамбля) охотно пели студенты.

Они-то пели потому, что песни были написаны их товарищем. Пели потому, что в песнях шла речь об институте, о нелегких сессиях, о будущей профессии.

Но молодой человек не размышлял об истинных причинах своей популярности. Он решил «заняться творческой работой», решил целиком переключиться на песни. Ведь, по его мнению и по мнению его друзей, сочиненные им песни были не хуже тех, некоторых, исполнявшихся по радио и на профессиональных эстрадах. «Не боги горшки обжигают!» — решил молодой человек и объявил себя «поэтом-песенником».

Что же, насчет горшков, которые обжигают «не боги», молодой человек прав.

И насчет того, что его стихи, наверное, ничуть не хуже тех, которые встречаются во «всесоюзно звучащих» песнях, он тоже прав.

Тем не менее то, чем он собирается заняться в жизни, не имеет к творчеству никакого отношения.

Михаил Исаковский писал в одной из статей: «...нас начинает захлестывать волна песен, по музыке, может статься, и хороших или в крайнем случае средних, но написанных на слабые, на скверные, бездарные стихи, которые отнюдь не могут служить украшением нашей поэзии. Скорей всего они компрометируют ее. И пусть авторы таких стихов называют себя поэтами-песенниками. Они не поэты. Они ремесленники, поденщики, даже откровенные халтурщики...»

Сказано резко, но абсолютно справедливо.

Так что упомянутый молодой человек, ринувшийся в песню, потому что никто не хотел печатать его «не песенных» стихов, поэтом не стал.

Он стал сочинителем текстов. Текстовиком.

И, может быть, именно на его «произведениях» сейчас оттачивают свое остроумие авторы критических статей о песне...

Я тоже мог бы привести примеры пошлых, анекдотически бессмысленных песенных текстов. Но я не буду этого делать, потому что разбор таких «перлов» сам по себе мало что дает.

Во-первых, как правило, эти песни уже мертвы. То есть они, конечно, были. Звучали. А теперь вместо них появились другие. Равного качества.

Во-вторых, текстовику никогда не бывает стыдно. Ведь он циник-многоостановчик. И на каждую упомянутую в критическом разборе песню у него есть двадцать неупомнутых. Точно таких же по качеству. Лучше-то он все равно не сможет писать, как бы мы его ни стыдили!

Значит, вопрос не в той или иной песне, а, скорее, в тех или иных авторах.

Ибо, пока мы разбираем их «творчество», они бодро и весело продолжают создавать очередные «тексты слов».

Они поднатерели в своей нахрапистой профессии и могут подтекстовать все, что хотите, — от заводских гудков до соловьиных трелей.

Они беззастенчиво тянут мысли и строчки у других — известных и неизвестных — поэтов.

И создают «свое».

Но каждый раз котлета, которую они предлагают слушателям, уже была однажды съедена.

К примеру, стоило появиться «Журавлям», как тут же в десятках других песен — лирических, эпических, всяческих — главными действующими лицами оказались эти пернатые.

И если судить по песням, то прекрасному журналисту Василию Пескову, который ведет на телевидении передачи «В мире животных», нечего волноваться о журавлином поголовье.

Ведь целые стаи, — да что там стаи! — эскадрильи, армады журавлей летают над нашими головами, перепархивая с концерта на концерт, с одной эстрады на другую. Честное слово, хоть отстрел объявляй!..

Впрочем, если бы все ограничивалось только такими совпадениями, беда была бы невелика.

Все дело, если хотите, в принципиальной вторичности таких песен. И в том, что количество их — объективно! — переходит в качество.

В качество, которое ниже любой критики.

Конечно, я не хочу сказать, что текстовики — единственный бич нашей песни. «Посильную лепту» в создание плохих песен вносят и профессионалы. Даже именитые.

И все-таки, негодуя по поводу обилия слабых, бедных текстов, удивляясь беспомощности «самодеятельных» и профессиональных изготовителей песенных «рыб», я смею утверждать: количество плохих песен в общем-то намного меньше количества плохих стихов.

Только песенные неудачи, помноженные на современную технику воспроизведения, всегда громче, всегда слышнее неудач стихотворных.

Может быть, поэтому они так заметны.

Авторы статей о песнях обычно настаивают на том, что на пути текстовых полуфабрикатов надо воздвигнуть дополнительные заслоны. Такие «заставы богатырские».

Предложение вроде бы заманчивое.

Но даже в нем прежде всего бросается в глаза одиозный подход к проблеме — отрыв песенных стихов от музыки.



Для того чтобы обычные стихи пришли к читателю, существует известная цепочка: поэт — редактор — читатель. И главное ответственное лицо в ней — поэт. (Редактор тоже, но в меньшей степени.)

Что же касается новой песни, то она может прийти к слушателю двумя путями.

Путь первый: композитор берет чьи-то стихи из газеты, журнала или сборника и пишет на них музыку.

Путь второй: стихи приходят к композитору, минуя печать. В этом случае цепочка выглядит так: поэт — композитор — редактор — исполнитель — слушатель.

Казалось бы, обилие «промежуточных инстанций» (чем не заслоны?) — гарантия того, что по этой цепочке не может пройти халтура, бессмыслица или просто малопонятная вещь.

Однако в действительности такой гарантии нет. В действительности сквозь эти заслоны прекрасно проскальзывают и халтура, и бессмыслица, и бездарные поделки.

Почему же так происходит?

А вы представьте себе реальную ситуацию: некий текстовик приходит к композитору и, сказав несколько уважительных слов, передает ему свой опус.

Допустим, композитор в стихах разбирается не очень. Но фамилию пришедшего к нему человека он слышал раньше и знает, что кто-то из его коллег-

композиторов с ним работал. Да и в напечатанном на машинке тексте вроде бы все правильно. Есть заятный, с точки зрения композитора, ритм. Даже рифмы есть. И тема подходящая. Нужная тема. Композитор пишет музыку. Он делает это совершенно искренне, заинтересовавшись ритмическим ходом. Потом играет песню соавтору. Тот, естественно, доволен.

Вместе они направляются к редактору. Основная работа редактора — целый день прослушивать новые песни. Он их прослушивает все: и очень хорошие (редко), и очень плохие (часто), и средние, «никакие» (очень часто). Причем в музыке редактор понимает больше, чем в стихах. (Еще бы — музыкальное образование!) И ему кажется, что в мелодии новой песни «что-то есть...». А стихи... Ну что стихи?.. Пожалуй, все нормально.. «Только вот эту строчку исправьте..» Текстовик исправляет.

Следующий этап — исполнитель. Песня ему подходит. Особенно те места, где можно показать голос, где можно «выдать». А еще хорошо, что последнее слово в каждом куплете оканчивается на «а». Это хорошо. Это вокально... (Иногда мне даже кажется, что некоторым исполнителям все равно, какое слово оканчивается на «а»: «Родина» или «клякwa».) А дальше? Дальше — слушатель. Дальше — мы с вами...



Я проследил путь средней песни. Проследил, почему не усложняя и не драматизируя. Поверьте, эта песня будет исполнена, будет записана на радио, прозвучит несколько раз, а потом затихнет навсегда, уйдет в песок, исчезнет из памяти.

А потом появятся новые песни: хорошие, средние, плохие. И у каждой из них будет своя история, свой повод для рождения, своя причина смерти.

Но во всех «смертельных случаях» главной причиной будет нотаантливость, непрофессиональность, этакое «пронисание» хотя бы одного из звеньев цепочки: поэт — композитор — редактор — исполнитель — слушатель. (Учтите, в этой длинной цепочке я еще пропустил целых три звена, три профессии — аранжировщика, дирижера и звукорежиссера. А ведь



их талантливости и профессионального уровня тоже зависит конечный результат!]

Я привел пример, когда хороший композитор создал музыку, вдохновившись средним текстом. И поэтому песня не получилась. Но ведь можно вспомнить и другое.

Сколько композиторов — профессиональных и самодельных — писали музыку на стихи Сергея Есенина? А как мало песен осталось!

И это при том, что стихи Есенина поразительно песенны! Но даже эта поистине гениальная песенность не помогла, не выручила, не поддержала благие композиторские порывы.

Так что хорошие сами по себе стихи — это не всегда гарантия удачной песни. Повторяю: талантливым должно быть каждое звено песенной цепочки.

Но может возникнуть естественный вопрос: «А как же быть с «Калиткой» и «Утомленным солнцем»? Не получается ли, что иногда, в силу каких-то особых причин, могут «выжить» и песни с плохими стихами?»

Да, так иногда получается.

Но и «Утомленное солнце» (в большей степени) и «Калитка» (в меньшей) — это исключения из правил. Причем вполне объяснимые исключения.

Каждый раз появлению, популярности и выживанию таких песен предшествовал своеобразный «песенный голод», предшествовала нехватка песен какого-то определенного склада, определенного характера (к примеру, танцевальных или тихих, любовных).

А когда начинается голод, то люди становятся менее привередливыми, менее разборчивыми в том, чем этот голод утолить. Берется первое попавшееся. То, что под рукой.

Поэтому такие песни и становятся популярными. Поэтому и возникают исключения из правил.

Однако, помня об этих исключениях, я все-таки продолжаю говорить о главном — о правилах...

Звучащая песня — это обязательно коллективный труд. (Если, конечно, ее не исполняет певец, который сам пишет и стихи и музыку.)

Звучащая песня — это обязательно сумма усилий многих людей.

О ней никогда нельзя сказать: «Я написал...»

В какой-то мере работу над новой песней можно сравнить со съемками фильма.

Я, конечно, не сравниваю объем труда и его масштабы. Я говорю лишь о том, что в обоих случаях в работе участвуют люди разных профессий. Разных! Вот в чем главная сложность.

В фильме цепочка участников еще длиннее.

Но даже в нем талантливая игра актеров, как правило, не может заслонить убогости сценария, а великодушное мастерство оператора лишь подчеркивает суетливость и бездумье режиссера.

Однако в случае провала фильма там хоть есть с кого спросить. Там спрашивают с главного режиссера.

У песни нет главного режиссера. Спрашивать не с кого. Да и спрашивают редко.

А если критика и раздается, то она обычно идет по «ведомственному принципу»: поэты критикуют автора стихов, композиторы ругают музыку, исполнители — своего собрата-певца да иногда дирижеров. Почему-то от всех достается редактору. И почти ни от кого — аранжировщику и звукорежиссеру. (В этом вообще мало кто разбирается.)

И, конечно, такая отдаленность критики, ее «нестыкованность» никак не может исправить положения, никогда не сможет помочь общему делу...

А я снова и снова вспоминаю, каким прекрасным «главным режиссером песни» был Марк Бернес! Как дотошно и профессионально выискал он во все поэтические и композиторские нюансы! Как неожиданно «замакнул» во время работы, а потом — после паузы — вдруг говорил: «Погодите! А если так попробовать?..» Как точно ушел он чувствовать музыку и как прекрасно понимал слово!

Опытный артист, Марк Бернес невероятно волновался каждый раз, когда выходил на сцену. Особенно, если выходил с новой песней.

Но это была уже его песня! Его — с первой до последней строки. Его — с первой до последней ноты.

Еще и поэтому она сразу же становилась нашей песней. Песней народа.

От всего этого «начальные зелья печочки» — поэт и композитор — не становились менее главными. Наоборот, вопрос «кто главнее?» в этом случае просто не мог возникнуть. Ведь речь шла не о том, что исполнитель как-то подавала авторов, а о том, что он наиболее истинно, наиболее полно и трепетно выявляла суть песни.

«Главная режиссура» исполнителя давала право говорить о «песнях Утесова», «песнях Шульженко», «песнях Отса».

Да и сейчас мы можем сказать о «песнях Зыкиной», «песнях Магомаева», «песнях Кобзона», имея в виду не только манеру пения, но и нечто большее: характер исполняемых произведений, линию творчества.

Если присмотреться, то истинные песенные удачи приходят тогда, когда существует содружество поэта и композитора. Здесь уже они оба осуществляют «главную режиссуру».

И опять-таки я говорю не просто о совместной работе (встретились, познакомились, написали песню). Я говорю о настоящем сотрудничестве, которое обязательно включает в себя и такое обыкновенное (а вместе с тем и очень непростое) понятие, как дружба.

Не «дружим, потому что пишем». А «пишем, потому что дружим».

Вспомните: И. Дунаевский — В. Лебедев-Кумач, М. Блантер — М. Исаковский, А. Островский — А. Ошанин, А. Пахмутова — Н. Добронравов, М. Фрадкин — Е. Долматовский, Я. Френкель — К. Ваншенкин, О. Фельцман — Р. Тамзатов, Э. Колмановский — Е. Евтушенко, В. Соловьев-Седой — М. Матусовский, Д. Тухманов — В. Харитонов, Г. Пономаренко — Б. Евова. Сколько хороших песен родилось в результате этих, по-настоящему творческих содружеств!

Конечно, к таким «парам» нельзя подходить, словно к католическому браку, и требовать от поэта и композитора «взаимной верности до гроба». Поэты и композиторы вольны в выборе соавторов. Но во всех случаях, работая вместе, надо знать и понимать друг друга. Надо быть единомышленниками.

Ибо только у единомышленников могут появиться такие песни, как «Подмосковные вечера» (В. Соловьев-Седой и М. Матусовский), «На безымянной высоте» (В. Баснер и М. Матусовский), «Песня о трудовой молодости» (А. Пахмутова и А. Ошанин), «Течет Волга» (М. Фрадкин и А. Ошанин), «Мелодия» и «Надежда» (А. Пахмутова и Н. Добронравов), «Родина» (С. Тулков и Ю. Полухин), «Комсомольцы-добровольцы» (М. Фрадкин и Е. Долматовский), «Хотят ли русские войны» (Э. Колмановский и Е. Евтушенко), «Песня о друге» (А. Петров и Г. Поженян).

И мне, например, обидно, что на стихи прекрасного поэта Евгения Винокурова написана только одна песня — «Москвичи» (музыка А. Эшпая). Но, как говорится, дай бог, чтобы у каждого из нас было по такой одной-единственной.

Всегда узнаются и волнуют песенные стихи Булата Окуджавы, с кем бы из композиторов он ни работал.

Интересно начал свой путь в песне Андрей Вознесенский. Его содружество с А. Бабаджаняном и М. Таривердиевым обещает много.

Есть настоящие удачи у С. Острового, А. Дементьева, Г. Горбовского, И. Шаферана, М. Танича и М. Пляцковского.

Список этот можно продолжать в дальнее. Оп, правда, не бесконечен, но достаточно велик. Это ра-

дует И все-таки я хотел бы ощутить реальное продолжение такого списка.

Пусть в нем появятся и молодые поэты и поэты маститые. Те, которые пока что не очень-то «спускаются» до песни.

Дело, конечно, не в том, чтобы все эти поэты — маститые и не маститые, — навалившись общими силами, как-то повысили «средний песенный уровень». Тогда не стоило бы затевать разговоры.

Ведь если в экономике мы с полным правом можем оперировать такими понятиями, как «средняя производительность труда», «средний уровень производства», то в искусстве — литературе, музыке, живописи — не может быть никакого «среднего уровня». «Средний уровень» искусства — это не искусство! Так что дело в том, чтобы на пути песен-одиночек, на пути беззвучицы, халтуры, бездарности был воздвигнут единственно реальный, надежный и прочный заслон.

Заслон из галантливых песен!

И здесь, конечно, мы не обойдемся без помощи наших собратьев по искусству — композиторов, музыкальных редакторов, аранжировщиков, дирижеров, звукорежиссеров и исполнителей.

Кстати, несколько слов об исполнителях.

Иногда считают, что главная их сегодняшняя беда в том, что они, исполнители, стали слишком усердно пользоваться микрофонами. Что раньше, дескать, этого не было. Что раньше все было гораздо объективнее: если у человека было голос, его было слышно и без микрофона. А если голоса не было, человек просто не пел. И что раньше голоса у певцов были намного сильнее, лучше.

Мне это напоминает разговоры «знатоков» о нашем доисторическом футболе: «Вот раньше было — да! Помню, Степанов проходил по центру, потом ка-а-ак парашел! Боканав штагна — пополам!». А Старостину целый сезон вообще запрещали бить правой ногой. Только левой. Потому что он правой трех защитников убил. За месяц...

Может, звучит оно и впечатляюще, но это неправда. Так же, как и то, что раньше у «тех» певцов голоса были во много раз сильнее, чем у нынешних. Не было этого.

И с микрофоном уже ничего нельзя поделать. Залы ныне огромные, гигантские залы. При любом голосе в таких залах без микрофона никто ничего не услышит. Да и к микрофонам все привыкли — и исполнители и слушатели.

Хотя к тому, что соревнования певцов, соревнования ансамблей порою превращаются в соревнования аппаратуры, привыкнуть нельзя.

Однако это издержки. Болезни роста. Кстати, вполне излечимые болезни.

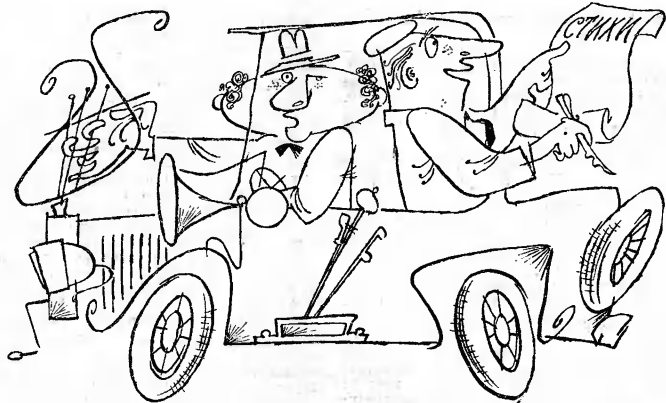
Талантливые исполнители у нас есть. Я мог бы назвать А. Зыкину и Ю. Гуляева, Н. Брегадзе и М. Магомаева, Э. Пеху и И. Кобзона, Г. Ненашеву и Л. Лещенко, М. Кристинишвили и Э. Хиял, С. Ротару, А. Пугачеву и С. Захарова.

Я мог бы добавить к этому списку еще в Е. Камбурову, Ю. Богатикова, М. Пахоменко, В. Вуячича, и ансамбли «Песняры», «Дружба», «Ореро», «Гая», которые часто демонстрируют у высочайшую музыкальность и хороший вкус.

У нас появилось главное: появилась школа исполнения советской песни. Значит, обеспечен приход на эстраду молодых, способных артистов.

Так что, по-моему, — и поверьте, это не просто беспринципный оптимизм, — у нас есть что исполнять и есть кому исполнять.

И уж точно — есть для кого!



Есть народ, который не просто «читатель», «зритель», «слушатель». Прежде всего он хранитель. Хранитель традиций. Хранитель вечного песенного огня.

А дискуссии о песне идут и будут идти. Собственно говоря, идет одна бесконечная дискуссия. Идет, то чуть затихая, то вспыхивая с новой силой. И порою каждая новая вспышка многими воспринимается так, будто до нее о песне никто, ничего, никогда не говорил.

Я же хочу закончить статью тем, чем начал, — выдержками из давних и недавних дискуссионных всплесков «Литературной газеты»:

«Профессиональные композиторы просто физически не в состоянии справиться с огромным спросом на песню. Зато охотно откликаются люди, которые вообще не имеют права заниматься поэзией и музыкой...»

М. Фрадкин. «Литературная газета», № 4, 1975 г.

«Мне недавно сказали, что в Москве существует около пяти тысяч так называемых вокально-инструментальных ансамблей (а попросту групп в четыре гитары и барабан), профессиональных и самодеятельных. Ради бога, не подумайте, что я выступаю против самодеятельного творчества. Я всячески за него. Но я признаю только такое, в котором есть труд и творчество...»

Л. Утесов. «Литературная газета», № 35, 1974 г.

«Пока педагоги, психологи, социологи ломают перья в поисках наиболее оптимальных средств эстетического воспитания, песня предлагает свои услуги «с доставкой на дом» по весьма сходной цене и плюс ко всему в элегантной моднейшей упаковке. Не будучи коротко знакомыми с подлинными достижениями классической и современной лирики, иные (а этих много) молодые люди с полным основанием считают песню, ту са-

мую песню, которую мы, критики, так дружно бралим за пошлость и языковую неуклюжесть, арбитром хорошего вкуса, морали, красоты... Доколе будет калечиться не только эстетический, но и нравственный вкус юношества? Доколе ретивые текстовики будут научать молодых людей нормам и правилам, словно вытасненным из прабабушкиного комода?»

С. Чупринин. «Литературная газета», № 28, 1973 г.

«Странное дело! Желать одних песен и более ничего, ни на что не походит. Кажется, что такой охоты не бывало в Греции и Италии, где народ с утра до вечера пел и плясал; а наши православные и ездят по балам, и торгуют, и сеют хлеб, и курят табак, да еще при том успели прочитать 126 000 одних песенников. Верно, тут кроется что-то недоброе!..»

И. Сахаров.

Это уже не из «Литературной газеты». Цитата взята из предисловия к пятитомному сборнику «Песен русского народа». Сборник издан в Санкт-Петербурге. Год издания — 1838.

Чувствуете, как давно началась наша дискуссия?

Тода три назад довелось мне быть свидетелем такой сцены.

Ираклий Ауарсабович Андрионов, путешествуя по Верхневолжью, оказался в поселке Пено. Приехал он сюда вовсе не за тем, чтобы искать неведомые строчки — Пено лежит в стороне от знаменитых литературных маршрутов Калининской области. Его привела в этот живописный лесной край память о минувшей войне: фронтовой корреспондент Андрионов бывал здесь суровой зимой сорок второго.

И вот сейчас ходил он тихими приозерными улицами, легко отыскал дом, в котором тридцать с лишним лет назад незнакомые люди приютили смертельно уставшего, околеченного от холода военкора. Побывав в музее Лизы Чайкиной, постоял на берегу озера и уже собрался было уезжать, когда к нему подошла молодая женщина в забрызганной известью спецовке, смущенно поздоровавшись и спросила:

— Вы что, уже уезжаете?

— Да,— ответил Андрионов,— Хотим еще в Осташков успеть.

— Как же так? — растерялась женщина.— А мы специально перерыв сделали, всю бригаду собрали...

— Какую бригаду? — теперь уже растерялся он.

— Строительную. Тут вот, рядом, школу строят, может, видели? Узнали наши, что вы в Пено, ну и послали меня пригласить вас. Так что вы уж не уезжайте, ведь народу сколько собралось!

Впрочем, ничего необычного в Пено тогда не произошло. Так было в Торжке и Бернове, в Старице и Митине: его «копознавали», подходили как к старому и доброму знакомому, говорили: «Вы должны выступить у нас обязательно, ведь собралось столько народу!» И он, ломая график путешествия, которым эти встречи вовсе не предусматривались, выступал перед педагогами, партийными работниками, школьниками, рабочими.

..Слово Андрионика. Устное и печатное. Звучащее по радио, с грампластинок, с телевизионного экрана, живущее в книгах и на магнитной ленте. В чем его сила? В чем его магия? Ответ на эти вопросы надо искать в самой личности Ираклия Андрионика, в уникальности его дарования. Очень хорошо сказал об этом К. Чуковский:

«В справочнике Союза писателей кратко сказано, что Андрионов Ираклий Ауарсабович — прозаик, литературовед, и только.



А. ПЬЯНОВ

МАГИЯ СЛОВА



Если бы я составлял этот справочник, я раньше всего написал бы без всяких похвастаний на экскентрику: Андрионов Ираклий Ауарсабович — колдун, чародей, чудотворец, кудесник. И здесь была бы самая трезвая, самая точная оценка этого феноменального таланта. За всю свою долгую жизнь я не встречал ни одного человека, который был бы хоть отдаленно похож на него.

И вот — новая встреча с Андрионовым: издательство «Художественная литература» выпустило двухтомник его избранных произведений. Под обложкой — давно знакомые названия: «Загадка Н. Ф. И.», «Тагильская находка», «Земляк Лермонтова»... Первый том составили знаменитые «Рассказы литературоведов». Знаменитые бесспорно, ибо только отдельные издания выходили они шесть раз. Попробуйте отыскать в нашем богатом интересными исследованиями литерату-

роведении нечто столь же популярное.

Что же стоит за этой красноречивой «арифметикой»? Непреходящий читательский интерес к «Рассказам». Первые из них появились около сорока лет назад и знаменовали собой рождение нового литературного жанра. О его истоках, проблемах, практике писателя размышляет в заключительной статье тома, которая так и называется «О новом жанре». В ней — тонкие наблюдения над литературой, живые биографические зарисовки, раздумья о судьбе жанра, который стал для писателя одним из любимых.

Тогда, еще в тридцатые годы, Андрионов первый рискнул поведать читателю не только о результатах своих исследований и размышлений, которыми был увлечен искренне и страстно, но и о самом процессе, «кухне» этой работы, показать «ход мыслей ученого, его догадки, сомнения, поиски, заблуждения, находки, неукротимое стремление добыть неопровержимые доказательства своей правоты, расплаиваемое часами, месяцами, а иногда и годами напряженного систематического труда, горение ума и сердца...»

Дерзкий (по отношению к традициям академического литературоведения) эксперимент удался. Именно тогда родилось знаменитое андрионовское: «Я хочу рассказать вам...» Он искренне желал поделиться с нами тем, что составляло смысла и радость его жизни. История расшифровки загадочных инициалов Н. Ф. И. — событие, казалось бы, незначительное, частное, сугубо литературное, — рассказанная извольнованно, страстно, увлекла, захватила даже тех, чей интерес к Лермонтову ограничивался школьной программой. В этой своей ставшей теперь хрестоматийной работе Андрионов синтезировал строгую научность исследовательского труда, поэзию и романтику поиска, свободную форму устного рассказа.

Позднее, положенные на бумагу, «Рассказы литературоведов» составили некое единое повествование с острым сюжетом, широкой географией, огромным числом действующих лиц. Они, эти рассказы, обогатили науку, уточнили и открыли новые черты, факты жизни и творчества великих наших поэтов — Пушкина и Лермонтова. И вместе с тем они обогатили нас. Не только знанием, не только интереснейшей информацией, но и тем, что приобщил к поискам писателя, сделал как бы соавторами его открытия и нахо-

док. И еще они пробуждали в нас желание искать самим. Вероятно, потому, что Андроников показал читателю весь путь поисков — не легкий, тернистый, изобилующий неожиданными поворотами, тупиками и лабиринтами. Согласитесь, что не часто прежде в литературоведческих трудах встречались заголовки, подобные этим: «Тайна Ваганькова кладбища», «Метод опознания личности», «Утерянный след». И это вовсе не для остроты, не для закручивания сюжета. Заголовки точно отразили самую технологию работы исследователя, который упорно пробивался к истине, порой уподобляясь детективу, ведущему сложное расследование со множеством неизвестных.

Все это вместе взятое и сделало «Рассказы литературоведа» столь популярными, столь любимыми. А вот какое отношение к ним автора. «Эту книгу,— пишет Андроников,— считаю для себя особо принципиальной. В ней утверждается жанр, который ныне иронически называют «занимательным литературоведением», что неверно потому, что тут излагаются не чужие открытия в доступной для восприятия форме, а «детектив без преступления» — «история приключений ученого»...

Сейчас, перечитывая «Рассказы», убеждаешься, что «история приключений» И Андроникова нисколько не утратила своей привлекательности и увлекательности. Ибо это литература, и литература настоящая.

Диалог интересов писателя огром. В предисловии к двухтомнику он пишет:

«Хотя я занимаюсь Лермонтовым всю жизнь, Лермонтовым не ограничиваюсь. Привлекает множество явлений культуры русской, грузинской, их взаимная связь, фигуры Пушкина, Руставели, Александра Чавчавадзе, Бараташвили, Гоголя, Горького, Леонидзе, Чикова, захватывают тайны древней грузинской ноты и образ Шалаяпина, искусство Яхтована, искусство Довженко, увлекают жанр научного поиска и теория телевидения, сокровища наших музеев и Пушкинские праздники поэзии».

Однако этот впечатляющий перечень далеко не полон. Открою второй том «Избранного». Он густо населен людьми, близкими писателю. Точными, динамичными штрихами набросаны их портреты: Уланова и Шостакович, Бонди и Шкловский, Гамзатов и Катаев... «Всех этих знаменитых людей во всем своеобразии их индивидуальной особенностей худо-

жественно воссоздает чудотворец Андроников». Это сказано об устных его рассказах, которые позволяли нам увидеть Алексея Толстого, Горького, Качалова, Остужева... Но определение К. Чуковского можно отнести и к «словесным портретам», так широко и полно представленным среди избранных произведений писателя. Они по праву могут быть отнесены к «театру» Андроникова. Театру весьма своеобразному, неповторимому, театру не масок, не мертвых слепков со знаменитостей, а полнокровных характеров.

Живущий в стихии устного рассказа, звучащего слова, Андроников правомерно беспокоится о том, что рассказы напечатанные «теряют большую часть своих выразительных средств, а тем самым и содержания». Но происходит удивительная вещь: виденное и слышанное в исполнении самого автора проецируется на печатный текст рассказа, как бы озвучивает его, компенсируя потери. Раскрываешь книгу — и перед тобой не просто строки текста, а воскрешенный магией таланта гениальный Остужев, феменальный Соллертинский, экспансивный Штидри и еще великое множество интересных людей, встречей с которыми мы обязаны ему, Андроникову.

Однако рассказы о них, вошедшие во второй том, не просто блистательная галерея портретов. Здесь срез огромного культурного слоя, размышления об искусстве и его предназначении, точно зафиксированные приметы времени и бытия.

И еще в этом томе много музыки. Она звучит в рассказах, которые давно уже полюбили читатели: «Ошибка Сальвини», «Горло Шалаяпина», «Первый раз на эстраде»... Музыкальная тема в творчестве Андроникова не случайна. Послушаем, что он говорит об этом сам: «С 1926 года литературные мои интересы стала затмевать любовь к музыке. Я начал ходить на все симфонические концерты и по запискам посещал классы консерватории, дома занимался теорией и историей музыки».

Чем закончилось это увлечение, мы хорошо знаем из рассказа «Первый раз на эстраде» — веселого и немножко грустного. Но любовь к великой стихии осталась в его сердце навсегда, откликнулась во многих произведениях. Он пишет интересное эссе о русской песне, выпускает сборник «К музыке».

Книги Андроникова справедливо называют своеобразными учеб-

никами, ибо они воспитывают в человеке любовь к прекрасному, учат его беречь родную культуру, множить ее сокровища.

Казалось бы, столько уже сделано им, а он в предисловии к избранному своим произведениям говорит: «...кажется, что в работе до главного я еще не дошел, что многое надо еще исследовать и многое рассказать...»

Он — в пути, он продолжает поиск. И мы с нетерпением ждем, когда снова прозвучит столь знакомое и волнующее: «Я хочу рассказать вам...»

Слово Андроникова... В чем его сила, в чем его магия? Вероятно, в том, что это слово Андроникова.

Резонанс этого слова высок: Ираклий Андроников удостоен в этом году Ленинской премии.

В. ЛАКШИН

ДНИ И ГОДЫ ГЕРОЕВ ВАМПИЛОВА



На фотография — почти мальчишеское, простое лицо: копна густых волос, лезущих на лоб, уши торчат, рот чуть приоткрыт, рубашка простенькая, без галстука. Слесарь-практикант или студент, парнишка из летнего стройотряда?

А это писатель, один из лучших драматических писателей наших дней, Александр Вампилов. Роден в 1937-м, в Иркутске, утонул в Байкале летом 1972, накануне

не того дня, когда ему должно было исполниться 35 лет.

Русский гений издавна вешает Тех, которые мало живут...

Отчего-то и до сих пор слишком часто сбывается эта примета, отлитая в стих Некрасовым. А может просто так кажется, потому что истинные таланты редки, и ранний их уход бьет по сердцу как отвратительная несправедливость судьбы.

Пьесы Вампилова, печатавшиеся при жизни автора по большей части в областных альманахах, вырывали время от времени на столичной и провинциальной сцене. Но только лежащая сейчас передо мною книга (А. Вампилов. Избранное. «Искусство», 1975), объединившая главное, что он успел написать, дает понятие о существенном смысле его творчества, о владевшей им неотступной думе, воплотившейся в пестрых театральных лицах.

Аар драматического писателя — из самых редких в литературном ремесле. Форма драмы ставит немало стеснительных условий. Надобны особый драматический слух, подобный музыкальному, и чутье, чтобы не просто переводить литературную речь в диалог, но чтобы она лилась сверхающим, пористым потоком. Да еще необходимо уметь привести на сцену героя, столкнув его с другими и вовремя увести, чтобы актер не переминался праздно на подмостках — иначе заскутает зрительный зал. И мало ли еще что надо! Но главное, чтобы пьеса дышала жизнью — подлинной, узнаваемой.

Все эти дары, говоря по-старинному, Талия и Мельпомена положили при рождении в колыбель Вампилову: он был драматическим писателем «милостью божьей».

Маленькая пьеска «Двадцать минут с ангелом». А как точно нашел автор смешное и острое положение! Он довел его до трагикомедии, естественно и незаметно поднял нашу мысль от житейского анекдота к философскому раздумью, и сюжет мастерски расположил: разила, вывернула наизнанку и, казалось бы, все запутав, безупречно развязал узел. Совсем гоголевская по комедийной энергии штука!

В молодом авторе еще не перебралли литературные влияния, тянется хвостик театральных воспоминаний и «цитаты»: то Хлестаков аукнется, то addirittura Епиходов мелькнет, а то проидут оттоловско-самые древние, еще от Плавта и Теренция, приемы комедии: «узнавание», любовь вазанного брата к сестре, как в пьесе «Старший сын». Для Вампилова еще не

миновала пора ученья, но проходил он его на самом высоком уровне и как достойный ученик классиков, потому что в главном был нов и современен.

В первой большой пьесе «Прощание в июне» собственная тема Вампилова уже слышна, но как предвещает, обещание. Она еще не набрала силы, еще только прорезывается сквозь сюжет «студенческой комедии», то слишком замословотой, то чересчур простенькой, в стиле факультетского капустника. Тут еще густо эффектны положения, они набросаны щедро и неразборчиво. Расстроившаяся свадьба, несостоявшаяся дуэль, герой, отбывающий 15 суток на принудительных работах... Автор еще не вполне верит, что может удержать наше внимание очерком характера. А характер уже представлен, своя тема заваляна судьбой молодого Колесова.

Талантливый студент — любимец курса, локкий, дерзкий и находчивый с девушками, бесшабашный озорник, Д'Артаньян, сорывголова... Не лезет в карман за словом, очаровывает на ходу случайную незнакомку на автобусной остановке, является на свадьбу друзей через окно и не теряется, когда его гонят из института: пристраивается садовником на даче у гражданина Золотуева.

Этот Золотуев будто бы совсем вводное комическое лицо, но в замысле пьесы важнейшее. Нарушая все законы жанра, он произносит монолог на три страницы, не перебиваемый хотя бы ради сценического правдоподобия репликами собеседника, вроде: «Ну, а дальше?», «Вот так история!», «Ну и ну!». Монолог этот — о беде старого взяточника, нарвавшегося на честного человека. Он все никак поверить не может, чтобы тот взятки не брал — все берут, важно не промахнуться в предложенной цене. Золотуев обижается, негодует на его показную честность и, даже отсидев положенный срок, уверен, что сидел напрасну: значит, мало давал.

Но при чем тут пенсионер Золотуев, когда нас интересует заливчатски смелый, честный и обаятельный парень Колесов? В Колесове кипение сил молодых, неопасное озорство, но вообще-то он отчаянный малый, и когда его вышибают из института, большиной ребят на его стороне.

Беда приходит к молодому герою с другого бока: когда надо делать первый нешуточный жизненный выбор. Тут уж не крохушка по жуликам переливается, дело серьезно: институт или лю-

бов? Так случилось, что герой Вампилова покори сердце Тани, дочери ректора института, с это совсем не по душе ее отцу.

Вот когда мораль Золотуева с презрением и насмешкой отвергнутая, оказывается все же проблемой... А что, ведь и правда, с жизнью не поспоришь. Это в книжках хорошо читать в кино видеть. А тут сам реши, и для каждого этой одажды возникающий перед ним выбор во то крат труднее, чем кажется в теории и издании. Посмеявшись над Золотуевым, Колесов сам не замечает, как переключит в его веру: все продается и покупается, важна цена и цель. Бросить любимую девушку, как требует ее отец, и тяжело и подлово. Но если диплом горит? Если судьба на кону?

Для любого из нас настает момент, когда из тихой гавани семьи, дома, школы ты выплываешь в открытое море жизни в где-то встречает тебя неизбежно первое испытание совести, первый рубеж, перейдя который, ты, случается, уже другой человек. Эта минута, этот критический миг и интереснее всего Колесова.

Ведь Колесову было присуще все, что свойственно хорошей, честной личности: радом с восторженностью и поперек ей — скептическая поза, радом с романтикой души — недоверие к фразе, воспитательному нажиму, нравственным прописям, которыми вечно надевают старшие. Отсюда, наверное, озорство, молодечество. Отсюда и демонстративная практичность, познаный рационализм, немного смелый и еще безынный в юном возрасте, не заметный, как у Колесова, оправдывающий первые сделки с совестью.

В пьесе «Двадцать минут с ангелом» Вампилов покажет, к чему в своей ковенной логике может повести процесс начавшегося нравственного разрушения. У всех постояльцев запитанной гостиницы «Тайга», кроме, пожалуй, юной Фанны, есть нечто золотуевское. Золотуев не верил, что есть люди, которые взятки не берут. Постояльцы «Тайги» не могут представить себе, что найдется кто-то, кто просто так, «за здорово живешь» отдаст свои деньги нуждающемуся в них незнакомому человеку. В случае «спасителя» подозревают злоумышленника, шпона, сумасшедшего. Сознание подсовывает привычные стереотипы объяснений. Ни одно из них не подходит, а предположение, что человек может сделать добрый поступок «просто так», как бы исключено заранее. Неповытный пугает, в дело кончается те-д,

что «спасаемые» готовы вязать и тащить в милицию откликнувшегося на их призывы о помощи «ангела». Итак, верить людям и вечно ошибаться? Или не верить им?

Действие пьесы «Старший сын» начинается с довольно грубого розыгрыша, нехорошей мистификации. Вамилов вообще любит заявлять сюжет по внешности легкомысленно — шуткой, фарсом, но завоевав наше внимание, на этом не останавливается. Так и в этой пьесе. Двое подгулявших, промерзших молодых людей опоздали на последнюю электричку и ищут себе ночного пристанища. Недоверчивые люди неохотно пускают к себе поздних гостей с улицы. «Человек человеку брат, надеюсь, ты об этом слышал?» — эта формула почти кощунственно звучит в устах никудыльника Сильвы. Мысль выдать Бусыгина за старшего сына хозяина квартиры, в которую они случайно поступались, приходит неожиданно. Она навеяна пародийно звучащей фразой о «страждущем брате». И вот уже Бусыгин, вошедший в роль пропавшего сына Сарафанова, выпивает, закусывает и отдыхает самозанятно в незнакомой квартире.

Казалось бы, жестокий розыгрыш удался вполне. Но тут сюжет делает новый крутой вираж. «Чему посмеетесь, тому и послужите», — говорит пословица. Беззащитная доверчивая душа старика Сарафанова, мигмом поверившего обману, защитила сама себя.

Пусть чуть наивна и смешна страсть к творчеству, заставляющая старого музыканта всю жизнь мечтать о сочинении оратории, в партитуре которой он никогда не продвинется дальше первой страницы. Пусть трогательным чудачеством выглядит его цепляние за идеалы молодости. Бедякая сила Сарафанова в том, что он не жалеет «зачерстветь, покрыться плесенью, раствориться в свете». И за то ждет награда нового короля Лира: когда младшие дети собираются его покинуть, старший сын возвращается к нему. Не свой, случайно явившийся сын, но сын несомненный.

Так вот что вышло из дурацкого розыгрыша Сильвы и Бусыгина! Выше правды ничего не бывает на свете. Но добро в человеке — сила еще более могущественная. И в недрах обмана зреет новая правда. Важно не то, что Бусыгин обманул старика Сарафанова, назвавшись его сыном, важно то, что он полюбил его, как отца, и стал дорогим, как сын.

И оттого, что Вамилов так чутко к добру, даже затаившемуся, стесняющему себя и почти слу-

чайному, он так опасливо, с огорчением и страхом смотрит на разрушение человеческой души.

Колесов тут первый набросок, первая проба темы. Ему еще не найдено всех объяснений и аргументов. Зилов в «Утиной охоте» — безотрадный итог. В глазах этого тридцатилетнего человека — небрежность и скука, уверенность в своей физической полноценности и ранняя усталость.

Здесь опять в завязке пьесы — злой розыгрыш. Друзья посылают Зилову на дом траурный венок, и, пожалуй, не зря; переглядывая свою жизнь, он будто хоронит себя. Похоже, что он незаурядный человек, этот Зилов, крупнее и умнее многих других. Но будто кто-то очертил вокруг него злой магический круг: он бежит от скуки, однообразия и извечности жизни — и снова попадает в их плен. Он все изжил: чувство к жене, привязанность к друзьям, интерес к работе. Даже новый дом, долгожданное новоселье, собравшее сослуживцев и друзей, — для него тоска: лишенный живого содержания, телных красок, милых домашних обычаев и простого веселья мир. А только так: «Поехали... Понеслись... По первой... По второй». Осталась одна мечта, одна утеха — охота. И то Зилов сродни тем охотникам, которые больше собираются на охоту и говорят о ней, чем стреляют дичь. Охота — суррогат мечты, род подручного наркотика.

Он сам обрезает нити, круг жизни сужается перед ним: к отцу, зашедшему его простить перед смертью, не поехал; жену оставил, безжалостно поиграв на прощание в их общее прошлое, в ушедшую любовь; на работе, не раздумывая, согласился вписать какую-то липу в составленную им брошюру... И все оттого, что на все плевает, что трупные пятна попали по душе, и при всем физическом здоровье и мужской побежденности траурный венок Зилову, кажется, ко времени.

Горькая, трудная, тяжелая, но правдивая пьеса, ведающая основную тему драматурга: как человеку не выцвести, не сломаться, вступая в многосложную жизнь? Как сохранить юность?

Есть такое житейское наблюдение: у каждого человека, помимо его бесспорного паспортного возраста, бывает еще и стабильный возраст души. Одному всегда, даже в 16 лет, можно дать все 40 по здравомыслию, другой и в 60 сохраняет мальчишество.

Конечно, все хорошо лишь тогда, когда ненатужно, когда в пору душе. Не очень приятно видеть в

ной современной пьесе молодящихся старичков, бодящихся с седыми висками и красными щеками, играющих в футбол, увлекających молодежь дедич и вообще удивляющих мир своей жизненной прытью. Каждому возрасту свое достоинство. «Смешон и ветреный старик, смешон и юноша степенный...» Но это к слову. Перед Вамиловым противоположная проблема — ранняя изношенность души.

Следовательно Шаманов из пьесы «Прошлым летом в Чулимске», подобно Зилову, немолод, ни даже ни взят старик, хотя ему, наверное, нет и сорока. Он живет лениво, будто в стоячей воде плывет. Все ему приелось, все прискучило: тайга, чайная, чадоныя, работа и бездомье. То, что Шаманов так апатичен, спит на ходу — не по возрасту ему и не по профессии. Он следовательно, то есть привычный для литературы романтико-детективный герой. А здесь мы его встречаем заспанным, пристигающим на ходу забытую было в чужой спальне кобурку. Человек, в сущности, неплохой и честный, он же вполз в компромиссы, иверция его качалась.

Подробности у Вамилова очень важны. Шаманов говорит, появляясь заспанным, что отлежал руку. Он отлежал душу. А возрождение героя возможно, в этой пьесе — возрождение любовью. Вот Шаманов увлекся Валентиной — и вроде снова хочется жить честно, и кричать правду в лицо, и верить в добро, как в юности, как верит Валентина. «Все ко мне возвращается»: вечер, улица, лес...» Слова героя — будто строка стихотворения.

А Валентина читит калитку в палисаднике перед чайной. Все ломают ее, упрямо топчут газон, ходят нанскосок, как покороце. А Валентина упорно читит. Тут победительная вера молодости в красоту и благообразие, в устраниение беспорядка, в разумность жизни.

С этой верой в душе и жил драматург Вамилов.

Он правдив, как художник, почти нигде не сглаживает, не припудривает, не выпрямляет жизни. И кажется, вот-вот во згаде его мелькнет выражение безнадежности. Но нет. Боязн, сделаться Зиловым, предупреждение Колесовым — как и отчего труха в человеке заводитися — рожают призыв по-юношески верить в добро.

Вамилов боялся возраста такого героя, как Шаманов. Он до этого возраста не дожил. А дожил бы — пережил бы его, потому что верил в молодость, в правду, в возрождение усталой души.

„Как создавалась
эта книга?“



Дорогая редакция!

Недавно писательница Агния Барто выпустила книгу «Найти человека». В ней рассказывается о поисках людей, которые потеряли своих родных во время войны. Не могли бы вы рассказать о том, как создавалась эта замечательная книга? Я уверен, что никто не сможет остаться равнодушным к такой публикации.

Константин ПАНФЕРОВ

Москва.



Почта
Агнии
БАРТО

Группа студентов МГУ ознакомилась с огромной почтой Агнии Львовны Барто, связанной с многолетней работой писательницы по розыску близких, разлученных войной... Около ТЫСЯЧИ человек найдены в результате этой благородной деятельности. Читатель знает три издания волнующей книги А. Барто «Найти человека», в которой автор делится открытым ею принципом поисков «без точных данных», говорит о том, как в них участвуют тысячи советских людей. По заданию нашей редакции Ольга Черных (работающая сейчас в Центральном государственном архиве литературы и искусств) написала о текущей почте А. Барто. Это первая публикация О. Черных.

ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Я читала эти письма и чувствовала, как ломают они наше представление о том, каким должно быть письмо — «образец эпистолярного жанра». В этих письмах не было ничего от литературного творчества. Эти письма трудно было читать, их надо было слушать, потому что они говорили.

«...Только то помню, что наш дом стоял на углу улицы, мать высокая ростом звали вроде Катя, была собака помню, овчарка по кличке «Джек». «...Я тогда поднялась и пошла, куда не знаю».

Я не расставляла недостающих знаков препинания, не переставляла слов местами по правилам грамматики. Мне хотелось сохранить в неприкосновенности слово, такое необычное для нас, в сущности, устно сказанное: не написанное, а запечатленное на бумаге. Мы к такому не привыкли. Мы говорим: «Как прекрасно пишет этот человек!» — и это значит, что письма нашего знакомого безупречны стилистически. Мы говорим: «Пишет он совсем плохо», — ко-

гда встречаем выражения типа «желаю счастья, здоровья и успехов в личной жизни». Письма, с которыми я неожиданно столкнулась, не принимают подобной оценки. Люди, их приславшие, менее всего заботились о правилах писания: «Просим умоляем выслушать нас стариков пенсионеров писем».

В этой строчке — парадокс, который определяет особенность общения Агнии Львовны Барто с бесчисленными корреспондентами.

Нет необходимости Агнию Барто кому-нибудь представлять. Со стихами ее связано детство каждого из нас: сначала их читала нам мама, потом сами учились читать. Стихи эти для такого чтения предназначены: сначала слушать, потом читать своим детям. Поколение за поколением.

Этот естественный ход событий был нарушен в 1941 году — одно из поколений «выпало». Дети, для которых писала Барто, оказались лишенными детства.

ва, некоторые из них — в бомбежку, на переполненных вокзалах, в концлагерях — отстал от родителей, потерялся. Вскоре после войны Барто написал об этих детях поэму «Звенигорода», читателям которой принадлежали первые письма с просьбой разыскать родных. В 1964 году Барто решила попробовать поискать потерявшихся в войну детей по радио. Так родился передача «Найти человека».

Агния Барто совершает, казалось бы, невероятное: находит людей, не знающих своей настоящей фамилии, находит по давним воспоминаниям, которые неожиданно совпадают с чьими-то, еще до едва уловимым приметам. Поиск этот необычный: строится он в основном на общении с людьми, и успех его зависит от того, насколько люди к общению способны, насколько способны раскрыться перед другим, почти что незнакомым человеком и поверить ему. А результаты, к которым этот поиск привел, поразительны. Доказывают они, что Агния Барто удалась победить инертность в скванности, добиться при общении с людьми на огромном расстоянии такой доверительности, какая иногда и не снится нам в теснейшей близости. Слово Барто, тиражируемое, звучащее одновременно во всех уголках страны, не теряет своей разговорной непосредственности. И слово этому верит, как чему-то почти сверхъестественно. «Неужели может случиться чудо! — и я найду через Бабу передачу своих родных!» К Барто обращаются люди, потерявшие было надежду, отчаявшиеся, как к последней силе, которая может помочь. «Я прошу Вас, прошу как самого доброго человека — помогите найти брата Толика, сестру Раю!» «Теперь надежда осталась на Вас, дорогая Агния Львовна», «Если уж в этот раз не найду, тогда все закончу, значит, нет моих родных, буду знать, что одна». Не просто вера, а даже какая-то суеверность появляется в некоторых письмах: «Мне давно хотелось написать именно Вам, и что моя виточка оборвется именно на Вас».

И не случайно — это закономерное: дело, которым занимается Барто, не всем под силу, дело это касается самых основ человеческого бытия. «Агния Львовна! Вашу лепту народ будет долго помнить и вспоминать хорошим добрым словом, потому что Вы их сроднили, второй день рождения, а радость-то какая! Столько лет не видеться, и вдруг». Второй день рождения. Агния Барто дарит человеку, как новорожденному, мать и отца, имя, родные места.

«Что в имени тебе моем?» В старину считалось, что, нарекая человека именем, ему предначертывают судьбу, определяют место в жизни, приобщают к какой-то традиции, дают могущественного покровителя. Предание это давно забылось; большинство корреспондентов Агнии Барто не знают своего настоящего имени, всю жизнь живут под чужим. Казалось бы, какая разница: Таня, Маша? «Фамилия Полякова Анна, имя, правда, немножко сомневаюсь, вот почему-то кажется, что звали меня Галией». Пишет женщина про дочку: «Один раз пришла со школы и плачет, а потом говорит: «Почему у нас такая фамилия — Неизвестная? Меня в школе дразнят: бесфамильная, нкст и т. д.». Может, вспоминают имя только для того, чтобы помочь в поисках? Нет, обретая это — настоящее — имя, уже не расстаются с ним, хотя, казалось бы, проще продолжать подписываться привычным. Читаешь такие письма, и собственное твое имя вдруг начинает звучать по-новому, наполняется смыслом. Вспоминаешь, а почему именно так называли тебя, близких тебе людей? Кого в честь дедушки, кто просто в «Татьянин день» родился...

Представлена в письмах вся география нашей Родины, откуда только не пишут! А в каждом письме и своя география: где воспитывался, какие сменил

детские дома, где живет сейчас? И только одного не знает почти никто из написавших: где родился, где жили родители, где та земля, которую можно назвать землей предков. У каждого из нас есть самое родное, единственное место на свете. Мы можем прожить в этом месте всю жизнь, а можем покинуть его, но всегда у нас сохраняется возможность возвращения, пусть даже ей не будет суждено реализоваться. Мы знаем, откуда мы родом, приславшие письма тоже хотят знать это. «Я помню, деревня, в один ряд дома, с одной стороны речка, с другой стороны дорога, и сразу сад во всю дорогу. Место очень красивое». «Знавшие меня в детстве говорили, что произношение у меня было украинское или белорусское». «По национальности дедушка и бабушка русские, дедушка обязательно», — пишет женщина из Душанбе, все детство проведшая в детском доме в Фергане. Человек не может жить без корней, ему необходимо черпать откуда-то жизненные силы. И как-то очень конкретно задумываться начинаешь над тем, что вкладываем мы в понятие «Родина».

Второй день рождения. Агния Барто одаривает им не только потерявших было надежду людей. Сама, возможно, не ожидая того, дает она новую жизнь понятиям, мимо которых мы проходили, не задумываясь. Привычные слова и словосочетания обновляют свое значение, возрождаются, освобождаются в нашем понимании от автоматизма. К Барто пишут люди, замороженные словом «сирота», пишут: «я один на свете», — и тут же выясняется, что у него любимая жена и трое детей. Человеку не хватает родных в первичном, изначальном смысле этого слова. Кстати, все заранее уверены, что эти родные им подойдут. Какие же могут быть препятствия? «Мы бы с сестрой хоть пожили остаток жизни вместе (если, безусловно, она живет на белом свете в Советском Союзе)». Лишь бы «своя» была. Можно поссориться с братом, но знаешь всегда, что ему небезразлична твоя судьба и что мама переживает твои печали больнее, чем свои собственные.

Письма, которые получает Агния Барто, стучат индивидуально, их цель — оказать практическую помощь в поисках. Цель эта достигается, и, кажется, можно о письмах забыть. Но есть в этих письмах что-то, что забыть не позволяет: некая общечеловеческая значимость.

Эти письма поворачивают нас лицом к нашим истокам, к вещам непреложным и вечным. И оказывается, что нигуда они не исчезли и исчезнуть не могли. Не через них ли осуществляется связь времен, поколений; не благодаря ли им человек всегда может понять другого? Надо только почаще об этом вспоминать.

Ольга ЧЕРНЫХ



М. АБДУРАХМАНОВ, Г. ЯРАЛОВА (Душанбе).

Молодые механизаторы.

По залам Всесоюзной художественной выставки «Слава труду».



Б. ЧЕЛИДЗЕ (Тбилиси)

Сельский труд.

Е. ШИРОКОВ (Пермь),

Надя Павлова.





О. САВОСТЮК, Б. УСПЕНСКИЙ (Москва).

Художники революции.

(В. Маяковский, М. Черемных, И. Малютин).



ГАРМОНИЯ КАЧЕСТВА

В августе прошлого года Центральный Комитет партии одобрил опыт работы передовых предприятий Львовской области по разработке и внедрению комплексной системы управления качеством продукции (КСУКП). С помощью заводских стандартов львовяне связали воедино все вопросы — технические, организационные, экономические и общественные, — от которых зависит качество. Строго учитывался каждый этап создания изделий от проекта до изучения их достоинств и недостатков в процессе эксплуатации. На основе львовской КСУКП теперь решено создать единую систему государственного управления качеством.

«Проблему качества мы понимаем очень широко, — говорил Леонид Ильич Брежнев, выступая с Отчетным докладом ЦК на XXV съезде. — Она охватывает все стороны хозяйственной деятельности.

Высокое качество — это сбережение труда и материальных ресурсов, рост экспортных возможностей, а в конечном счете лучшее, более полное удовлетворение потребностей общества. Вот почему на повышение качества продукции должны быть нацелены весь механизм планирования и управления, вся система материального и морального поощрения, усилия инженеров и конструкторов, мастерство рабочих. К этому должно быть постоянно приковано внимание партийных организаций, профсоюзных и комсомольских».

Наш корреспондент побывал на львовском объединении «Электрон», которое было одним из инициаторов внедрения КСУКП.

Его рассказ о том, как в ходе эксперимента менялся взгляд людей на проблемы качества, как по-новому складывались отношения между рабочими.

Из Львова, с производственного объединения «Электрон», где делают телевизор, известный не только в нашей стране, я привез на память не сувенир-полупроводник, не миниатюрное сопротивление, а два листа бумаги — бланки важных документов. Они стали для меня символом того, чем живет сегодня «Электрон». За этими скромными бумажками — напряженная работа сотен людей на конвейере, годы упорного исследовательского труда.

Листок сгибается пополам. Правая часть, перерисованная красной полосой по диагонали, — «Талон предупреждения о нарушении показателей качества работы». Левая половина — корешок. Талон вручают тому, кто допустил брак в работе. Корешок поступает в бухгалтерию, где подсчитают, на сколько средств премию виновнику. Первый листок обычно вручают рабочему, второй — мастеру.

Представляете себе, каково получить такой талон? Со стыда сгорить... Кажется, все только на тебя и смотрят. Смущенно оглядываешься по сторонам, когда получаешь в кассе премию, — в специальной графе объяснено, сколько и за что с тебя удержано.

Передо мной два талона. Стопки таких же остались на «Электроне». В зависимости от того, в чьи руки и при каких обстоятельствах попадут эти талоны, они могут стать и суровым, требовательным контролером и хорошим стимулятором добросовестного отношения к делу.

Вот здесь-то и начинается то, о чем я собираюсь рассказать, — о молодом человеке и системе комплексного управления качеством продукции — КСУКП, которая для удобства в дальнейшем будет именоваться просто Системой. Полученные во Львове результаты применения этой Системы, по-моему, интересны для всех — ведь речь идет о качестве продукции, о главной проблеме нынешней пятилетки. Система должна дать ответ: какие надо создать условия, чтобы каждый человек был заинтересован, а порой и вынужден работать с максимальной отдачей? При этом интересно, конечно, наблюдать не абстрактную личность, вовлеченную в Систему — останим это ученым, экономистам, — а конкретного человека.

В первый же день пребывания на «Электроне» я познакомился с мастером девятого цеха, в недавнем прошлом регулировщиком Степаном Мидзяном. Мне показались интересными его рассуждения о Системе, его взгляд на проблемы качества.

— У вас есть телевизор? — спросил меня Степан. — Если нет, так, наверное, купите. Нужен хороший? Гарантия почти сто процентов. Я говорю «почти» не по незнанию. В торговую сеть могут поступить три процента приемников, которые, быть может, не выдержат гарантийного срока. Это, возможно, сносно для статистики: только три из ста оказались, как говорится, не то, что надо. А каково тем трем, кому достанутся такие? Да пусть они на десять тысяч, на миллион счастливых судьбой запрограммированные неудачники... Их не утешат рекламация, замена...

Степан виновато улыбается, словно продал мне один из трех заполучных телеприемников.

— Я к чему веду? — продолжает он. — За телевизором или любой другой продукцией мы, говоря языком работников торговли, должны видеть потребителя. То есть человека. Все от него и для него. И в этой линии «от него — для него» не может быть мелочей, моральных допусков, скидок на трудности. Только честность, точность, ответственность. Пусть покупатель не думает, что наша главная задача — сбывать свою продукцию в любом виде. Телевизор приобретают раз в несколько лет. Так вот, чтобы каж-

дый раз покупатель уверенно брал «Электрон», Система концентрирует внимание работников объединения на качестве. Конструктор разрабатывает новый узел — дай качество! Монтажникда кабельной олова крепилда два провода — следи за качеством! Последнюю пробу делает регулировщик перед отпайровкой телевизора в магазин — опять же все внимание качеству!

Легко ли это? Очень трудно... Я сейчас попробую объяснить, почему. На заводе тысячи рабочих. Вы можете дать гарантию, что они все сделают идеально?.. И я нет. Ошибки допустимы. Недопустимо сознание, что ошибки допустимы. Понимаете, с какой сложной материей приходится иметь дело Системе! С человеческим сознанием!.. Здесь надо, чтобы все было очень продумано. Я ведь тоже сначала считал: достаточно завести талоны — и Система заработает, качество, как говорится, будет в кармане... Теперь мнение мое резко изменилось.

...Чтобы понять метаморфозы, происшедшие со Степаном, я решил познакомиться с ним поближе. Мечта Степана Мидзяна — учиться на юриста — сбылась. Экзамены в университет сданы успешно.

— Вы работаете не по специальности, потому на вечернее или заочное отделение принять не можем, — сказали в приемной комиссии. — Если согласитесь па стационар, пожалуйста.

Голубая мечта! Если бы она сбылась десятка лет назад... Но когда растут два сына, когда на «Электроне» столько друзей, когда работа принесла тебе авторитет, заработок, удовлетворение, — куда уж на стационар!..

Степан никогда не сетовал на судьбу. Сидеть и ждать сложа руки натура не позволяла. Работал в сельском хозяйстве, потом выучился на слесаря, отслужил в армии и пришел на «Электрон» слесарем. Самому показало: странным: на телевизионном заводе — и слесарем. А тут объявление: «Набор учащихся на курсы регулировщиков электронной аппаратуры». Электронщик — это загадочно, за семью печатями, что-то колдовское. Вот оно, притяжение, которое стоит одолевая, доказать себе и другим, на что ты способен.

Лекция читал на курсах молодой инженер. У Мидзяна глаза загорались: сколько он знает. А в перспективе — интересная работа!

Что еще надо молодому парню, который ищет свое место в жизни, хочет утвердить себя — создавать прибор, который завоевывает признание всего мира. Ради достижения этой цели Мидзян учился, работал и снова учился, вкладывая в новое дело все свое упорство, все свои способности. А такое обычно оканчивается историей. Лучше всего об этом судить, конечно, товарищам Мидзяна.

— Я регулировщик не из последних в цехе, — рассказывает Михаил Рак. — Не из хвостовства говорю. Думаю, я этого достиг в значительной степени благодаря Степану Мидзяну. У нас есть некоторые ремонтники — так тоже называют регулировщиков: не идет блок — бах! — меняет сразу группу элементов. Пошло — ура! — сделал, исправил брак! Но что, почему, от чего — понятия не имеет... С таким методом «на авось» далеко не уедешь... Тот же «снег» на экране. Когда я его первый раз увидел, начал цепь проверять. Все вроде нормально, а «метель» не прекращается. Дай, думаю, звук уберу. Точно, пропал «снег». Проверю звуковую цепь. Наконец-то! Вся причина в маленьком сопротивлении. Я дотопил — это от Степы. Он всегда все делает основательно. Помню, начали менять в приемниках лампы на полупроводники. Мы со Степаном сели за книги, подучили кое-что из теории — и пошло дело...

Регулировщик не имеет права на брак. К Мидзяну подают платы после сборки. Он находит брак и знает, конечно, кто из монтажников виноват. Знает и почему допущен брак: одним — по небрежности, другим — по незнанию, третьим — от усталости. Как быть? Пожаловаться мастеру? Поставить в известность контролера ОТК? Вернуть блок допустившему брак, чтобы тот его устранил? Исправить самому? Вот сколько решений может принять рабочий-регулировщик. От точности, правильности выбора зависит качество работы многих рабочих-монтажников. Степан почти никогда не ошибается: одному датьдельный совет, с другим просто пошутить — иногда и этого достаточно, чтобы поднять настроение, а значит, и повысить па качество работы. Если надо, сам возьмет паяльник и покажет, как делать правильно.

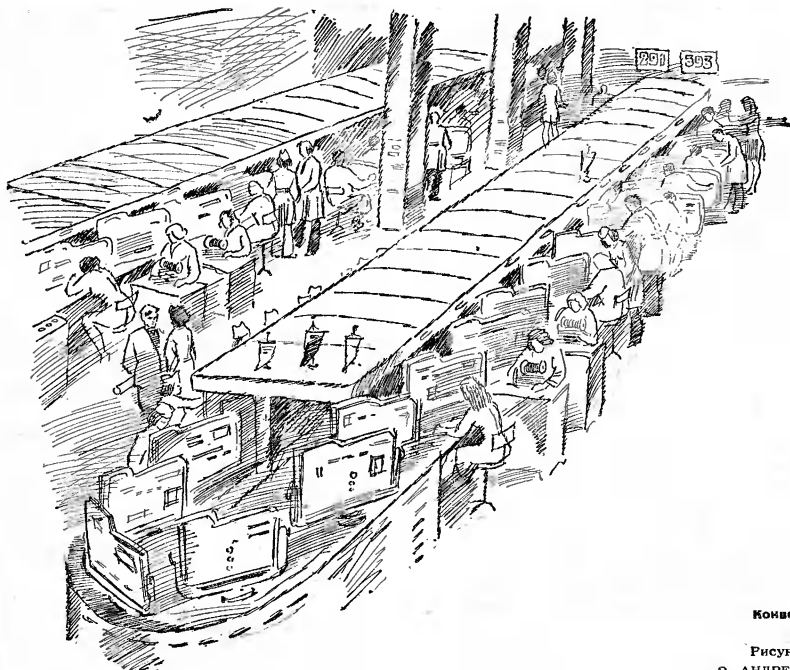
Учтена ли в Системе возможность таких решений? Нет. Получит ли за оказанную помощь, за предотвращенный брак премию Мидзян? Нет. Пострадают ли виновники брака, как того требует Система? Тоже нет! Что же выходит? Нарушен порядок, установленный Системой? Да, нарушен, и — парадоксальное явление — качество в этом случае оказывается на высоте, не попадалибысь крутые меры со всеми вытекающими последствиями. Значит, не годится Система? Гадается. На нынешнем этапе. А Мидзян интуитивно действует так, как, очевидно, все люди станут работать в Системе в будущем: когда премия за вполне естественные поступки окажется неуместной. Связь Человек — Система останется, но уже с иной структурой, другого, более высокого качества.

Очевидно, глубокие социологические исследования должны обрисовать четкие контуры схемы, внедрение которой поможет человеку хорошенько рассмотреть себя, увидеть свое место в коллективе, оценить свои способности.

Какими только качествами не должен обладать комсорг! Но уж качествами социолога, пожалуй, обязательно. Анатолий Винарский, комсорг девятого цеха, анализирует характеры, поступки — жизнь помогает ему раскрыть человека. Он считает, что так же, как и в математике, почти все можно выразить графиком. И судьбу человека. Винарский вычерчивает график «Степан Мидзян» в виде параболы. Расшифровываем: хорошо работал — хвалили, проявил инициативу — заметили, выступил на собрании, по критиковал — поручили самому взяться за исправление недостатков. Справился с первым общественным поручением — дали новое... Чем больше делаешь, тем больше твоя надежность — значит, грузы, грузы, грузы. Ветви параболы удлиняются, растут. У такой кривой, заметьте, нет предела.

— Но у параболы «Степан Мидзян» должен быть предел — физический, — говорю я. — Невозь «грузить» до бесконечности. Либо пострадает сам человек, либо качество исполнения поручения окажется низким. Отсюда возможна потеря интереса к общественным делам, не исключена — и к производственным. Десятка других комсомольцев, которые вовсе не обременены общественными заботами, могли бы разделить ношу Мидзяна. Качество комсомольской работы, общественной деятельности тоже в конечном счете влияет на производство, на качество телевизоров. Разумеется, не человек ради телевизора, а, как сказал Мидзян, есть линия «от него» — до него» — «от человека» — до человека».

— Вот именно, — перебивает меня Винарский. — Степану два года назад исполнилось 28. Четыре года — его партийный стаж. Он выполняет и партийные поручения. Но я каждый год настаиваю на том, чтобы оставить Мидзяна в цеховом комсомольском бюро. Если бы он сам тащил все общественные на-



Конвейер.

Рисунок
О. АНДРЕЕВА.

грузки, может, и сломался бы. Но Степан умеет увлечь, повести за собой десятки других людей. В мае прошлого года каждый пех проводил вечер, посвященный 30-летию Победы. Шел спор: кто лучше? Мидзян отвечал за оформление зала. И оно было лучшим на «Электроне». Неужели такое одному участнику комсомольцев. Степан умеет организовать. Раз уж речь пошла о качестве вообще, то нам позарез нужны организаторы высшего качества...

Вот, казалось бы, и ясно, кто есть кто. Живя, работая, Степан Мидзян, так же и дальше. Отличный работник, прекрасный общественник — большего вроде желать нельзя. Значит, достигнутое — предел?

— Несколько лет назад это было целью — совершенствование в специальности. Теперь все известно вдоль и поперек, дело не требует напряжения сил, попка: достаточно выработанного годами автоматизма... Мидзян объясняет, подолгу подбирая слова. — Стало скучно, пропало ощущение новизны...

Так возник конфликт между Мидзяном и Системой. Последнюю влопне устраивала работа регулировщика Степана. За неизменные отличные показатели он уже почти автоматически получал стопроцентные премии. Поставь на его место робота, Система не заметила бы подмены. Она пока в состоянии оценить человека на производстве в наипростейших единицах измерения: отработанное время — в часах,

опоздания — в минутах, квалификацию — разрядами, производительность — в процентах, в рублях. А как человек вырос, как изменились его потребности и возможности, насколько больше пользы он может принести производству — неизвестно.

Напряшивается возмущение: Мидзяна-то перевели в мастера. Да, но Степан был на виду, в активстах ходил. И то подумывал, куда бы перейти. А другой, из тихих, ушел бы, и никто не спохватился. И в самой Системе пришлось бы латать брешь: подыскивать замену. В случае с Мидзяном Система вначале способствовала его росту. Тогда приходилось решать простые задачи. А потом она стала в тупик. Что же получается: Система не годится?

Нет, так утверждать нельзя. Ведь с помощью Системы в минувшем пятилетии удалось повысить производительность труда почти вдвое — на 196%; увеличить объем продукции в 2,8 раза, выпустить сверх плана 182 тысячи телевизоров. Именно в девятой пятилетке всем трем моделям черно-белых телевизоров «Электрон» присвоен государственный Знак качества. И Система таит в себе много не раскрытых еще возможностей.

Перемены, происшедшей со Степаном, вначале никто не заметил. Он, как обычно, оставался выдержанным, может, чуть более молчаливым. В это время на одном из самых больших участков девятого пе-

ха — на конвейере «Блока» — и появилось, вакантное место мастера. Обстоятельство, сыгравшее немаловажную роль в судьбе Мидязина. Старший мастер Омельян Андреевич Павлык давно подметил себе в помощники именно Степана.

Мидязин долго раздумывал, взвешивал.

— Ах, какой был регуляровщик! — Парторг Савинов поднял большой палец. — Экстра-класс! И все-таки уговорили пойти в мастера. Говорим: тяжелый участок, конвейер, ритм, восемь бригад, 120 разных людей — перспектива. И согласился. Это ему годится. А чего молочные реки да кисельные берега сулить? Про хлеб мастеровский он и сам немного знает. Вот когда выложили ему все трудности, подводные камни, которые должен обходить мастеровский корабль, Степан «клянул»: новая должность выводила его из тупика.

С первых дней работы мастером возникали самые неожиданные проблемы.

Возвращается после обеденного перерыва смена. Подходит одна комсомолка, молоденькая монтажница, с какими-то общественными делами:

— Степа...

— Не Степа, а Степан Николаевич, — вмешивается Омельян Андреевич, охраняя авторитет мастера.

Степан растерянно смотрит на девушку: мол, прости, субординация. И вдруг, осмыслив тяжеловесность, надуманность этих понятий, улыбается:

— Ну, пусть Степан Николаевич, раз так надо. Но я же все равно ваш Степа.

В ответ — озорная улыбка девушки.

— Простите, Степан Николаевич.

А Мидязина больше не занимает эта проблема. «Будь как будет. Важно, кто ты, а не как тебя величают». Однажды захихикало конвейер. В одной из бригад болея сразу несколько монтажниц. Степан подошел к бригадире соседней бригады.

— Надо пересечь туда, помочь девочкам...

— Вот еще! — фыркнула в ответ бригадир.

Мастер на мгновение растерялся. Раньше, будучи рабочим, он мог воздействовать на других, как на равных, или вовсе ни о чем не беспокоиться. Теперь Мидязин-руководитель обязан принять решение. Быстро, точно, пока перебои конвейера не отразились на качестве. Как поступить? Отругать? Написать докладную начальству? Попробовать тут же убедить строопитового бригадира выполнить приказ? Вариант нужно выбрать оптимальный: во-первых, чтобы раз и желательно навсегда поставить бригадира на место, и, во-вторых, закрыть брешь на конвейере.

Степан идет в бригаду Таянсия Савилук. Таянсия — член цехового комитета комсомола. У нее сегодня в бригаде тоже недокомплект. Но он знает, они поймут, помогут — и бригада и Савилук.

— Таяс, выручай.

Через считанные минуты конвейер начал входить в нормальный ритм, а строопитивный бригадир получил от Мастера «Талон предупреждения о нарушении показателей качества работы». Еще через несколько минут она стояла перед Мидязином.

— Степа, прости. Я встану на любое место, где надо...

Страшен был не материальный ущерб (лишение премии на 15 процентов за нарушение трудовой дисциплины — одного из показателей качества), а официальный тон, на который перешел Степан. Вот так вдруг мы понимаем, что можем потерять друга, потому что покаяна, не задумываясь, причинили ему боль. Очень многие в девятом цехе да и на «Электроне» дорожат дружбой со Степаном.

— Спасибо, — с облегчением вздохнул Степан, — Рад, что могу снова надеяться на тебя. Но талон...

— Да что талон. Не в нем дело...

Подобные ситуации Системой не учитываются. Но они неизбежны. Возникает естественный вопрос: а надо ли их все учитывать и возможно ли? Попробуем разобраться. С одной стороны, талон как будто помог разрешить конфликт мастера с бригадиром. С другой — в конечном счете выяснилось, что талон и не нужен. Система не учитывала многогранности, сложности человеческих характеров.

Если скрупулезно исследовать конфликт дальше, не мешает выяснить: а на пятнадцать ли процентов премии нарушила дисциплину бригадир? И вообще, возможна ли подобная постановка вопроса? Не чрезмерны ли требования, предъявляемые к Системе? Возможно, вообще мы многого от нее хотим. Не стоит забывать, что Система не панacea, не абсолютная гарантия качества, а мощный рычаг для достижения высокого качества. Мощностью зависит от качества самого рычага... Выход — совершенствование Системы. И такие, как Мидязин, ведут поиск более совершенных взаимоотношений людей, что не может не дать скачка в повышении качества продукции.

На участке «Блок» больше ста рабочих. Кто-то болеет, кто-то в отпуске. То в одной, то в другой бригаде возникают напряжения, и сразу падает качество продукции. Это не значит, что пройдет время. Его устранят, но потеряют драгоценное время. Мастер должен постоянно чувствовать пульс конвейера, чуть ли не физически ощущать коэффициент качества, знать, кто, что в данную минуту может сделать, какой минимум состава той или иной бригады поддержит нужный темп, уровень качества. Если пошли с конвейера блоки с браком, со смежного участка поступает тревожный сигнал. Если мастер растерялся и не смог восстановить качество (при этом необходимо сохранить рабочий ритм — план по количеству тоже надо выполнить!), то в его адрес присылают «генеральскую ленту» — листок, перечеркнутый красной полосой. — «Талон предупреждения о нарушении показателей качества работы». Если мастер отказался от получения талона, это тоже учтено. Да и копия все равно немедленно следует в бухгалтерию, и не избежать лишения премии на двадцать пять процентов, а в случае «неприятия или отказа» — и на все пятьдесят.

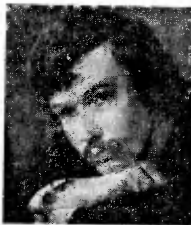
Поворачивайся, мастер, соображай, проявляй инициативу, знай характеры и способности людей, каждую операцию до тонкостей, тогда тебе не страшен никакой талон. И Система будет твоим помощником.

Наступает очередная смена. Рабочие занимают свои места за длинным конвейером, изогнутым в виде параболы. Мидязин подошел к пультам, тронул переключатель — конвейер двинулся и еле заметно двинулся.

На табло в конце цеха два числа. Одно через каждые 45 секунд — время, отведенное на блок, — увеличивается на единицу. Другое показывает, сколько фактически блоков сделано. Сначала «факт» отстает от «плана», от расчетного ритма, заложенного Системой, потом настигает, обходит. Вдруг «факт» замед, затем рванулся вперед — это сразу несколько блоков после устранения брака сдали одновременно.

— Мне кажется, — делится своими мыслями Степан, — когда человек берется за новое дело, он должен видеть его от начала до конца, хотя бы уметь предположить, как все может сложиться. Важно, чтобы в каждом нашем поступке, комплексе поступков, наконец, в жизни было заложено стремление к гармонии. Не ловите меня на противоречивости. Мы с Системой часто выступаем в противоположность. Но это только помогает нам совершенствоваться. Нелегкий, но зато самый верный путь к гармонии.

Никита Владимирский



Никите Владимировскому
23 года.
В прошлом году он
окончил Московский
государственный
педагогический институт
иностранных языков
имени Мориса Тореза.
Сейчас преподаёт
английский язык
в МГУ.



«Туман в оптическом прицеле...»

К. ВАНШЕНКИН

Военные поэты
все пишут про войну,
и перед болью этой
я чувствую вину.
За то, что год из года
нелегкою строкой
опять идет пехота —
идет в последний бой.
За то, что вновь в апреле
сирени
снятся
нам.
А им —
опять «туман
в оптическом прицеле...»

Долг

Звезда, прилипшая к закрытому окну —
Как неподвижный глаз аквариумной рыбы.
А там легла во всю свою длину
Дорога гиблая, истертая на сгибах.

Там спицы-пальчики ломаются, лучась,
И режут дождь в неспешном повороте...
И все же мы вернемся подчас
Их суетливой старческой заботе.

Там колдовской, там лошадиный шаг.
Там колготной и колкий серый дождик
Блестит на конских ласковых ушах
И пропадает в пропасти колдобин.

Зачем же едут по ночной воде,
На долгий дождь и время не в обиде!
Пакет доставить! Выручить в беде!
Кого-нибудь в последний раз увидеть!



Сумасшедший июнь,
месяц полный прощаний и плача,
тополиный уют
раздаёт свои белые платья.
Круговерть в золотом,
выцветающем к вечеру ситце,
и твоим каблучком
след оттиснут, как белым копытцем.
Полыхают цветы
в окнах старых арбатских проулков,
от ночной духоты
разбросались в ночи переулки.

Седина тополей,
жарких дней кочевая простуда,
и в походе твоей
ожидание случайного чуда.



Зима пуста — как циферблат без стрелок.
И лишь колючий снег из-за угла —
Наперерез, навстречу — сух и мелок.
Шуршит, скользя вдоль черного стекла.

Но мне слышней троллейбусная тряска;
Троллейбус разбегается, скользит,
То катится, как детская коляска,
То к Трубиной — как по лестнице — летит.

Там, подложив под головуinaldo
Широкие ладони площадей,
Мой город спит — великий даже в малом,
Придуманный людьми и для людей.



Военные звезды,
И воздух скрипуч, как сапог.
Грациные гнезда
припомни, шагнув за порог.

А в парке Петровском
Отечества стелется дым,
листва на дорожках —
как давние чьи-то следы...

Пусть много утрат,
но строга и спокойна Москва.
А в наших дворах
довоенная

кружит
листва.



На лапах кошки принесла
Седую изморось рассвета
И, теплой людской согрета,
Заснула в кухне у стола.

Проснулась, заподозрив свет,
Спросонья выгнулась с урчащем
И повторила очертаньем
Горбатых улиц сплут.



Зиновий ЮРЬЕВ

БЫСТРЫЕ СНЫ

ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Глава II

На следующий день я позвонил Нине и попросил разрешения проводить ее домой. Она опять долго дышала в трубку, молчала и наконец согласилась. Я приехал на пятнадцать минут раньше срока. По дороге я с трудом подавил в себе желание купить букет цветов. Я уже подошел было к старушке в тоннельчике у Белорусского вокзала и полез в карман за деньгами, как вдруг представил себя у входа в институт. Женя Имбецил с букетом. Я вздохнул. Старушка соблазнительно встряхнула свои чахлые цветочки и зазывно посмотрела на меня. Я вынул руку из кармана, так и не вытащив денег, и в глазах продавщицы засветилось радостное презрение. Так тебе и надо, говорили они. Ты и с цветами был бы не очень-то, а уж без них и вовсе нечего ходить на свидание. Ноги только бить. Сидел бы в обнимку с телевизором.

А может быть, все-таки надо купить цветочки? Скромный букетик, преподнесенный исследователю благодарным кроликом.

Похоже было, что в их институте никто никому никогда не назначал свиданий, потому что каждый второй выходящий с глубоким интересом рассматривал меня. А возможно, это я вздрагивал и поворачивался, когда взвизгивала тяжеленная дверь и выпускала в облачке пара очередного лаборанта.

Нину я не узнал. Я сообразил, что она стоит подле меня, только тогда, когда она сказала:

— Здравствуйте...

Я засмеялся.

— Господи, я же ждал женщину в белом халате. Я вас видел только в белом халате. Простите меня.

Нина взяла меня под руку.

— Жалко, что у меня нет портфеля,— вздохнула она.

— Почему?

— В девятом и десятом классах я ходила домой вместе с одним мальчиком, и он всегда нес мой портфель. Свой и мой.

— Счастливого мальчик.

Нина неторопливо и внимательно посмотрела на меня сбоку, словно изучала, ложусь ли я на роль мальчика, несущего портфель. Господи, только что я смотрел на гордого Сережу Антошина, который шел рядом с Аллой Владимировой и кис от счастья. И вот я иду рядом со своей Аллой и тоже молю небо, чтобы подольше идти так по зимней слякоти, ощущая легкое прикосновение ее руки к моей.

Рисунки

Г. КАЛИНОВСКОГО,

Окончание. Начало см. в № 3 и № 4 за 1976 год.

— И что стало со счастливым мальчиком? — спросил я.

— Он стал моим мужем, — медленно, словно вспоминая, как это было, сказала Нина. — А потом... потом, когда носить портфель было больше не нужно, выяснилось, что нас мало что связывает... — Нина усмехнулась, и усмешка вышла невеселая. Ее лицо сразу постарело на несколько лет.

Я молчал. Всей своей широкой болтуна я знал, что надо промолчать. Любое слово было бы пошлым. Любой жест был бы оскорбительным, даже легкое пожатие ее руки. Никто не бывает так чуток к реакции на свои слова, как болтуны. Слишком часто они говорят не то и не тогда, когда нужно.

Нина вдруг остановилась у освещенной витрины. В витрине стоял манекен в длинном черном платье с расшитым серебром подолом.

У манекена было напряженно-несчастное пластмассовое лицо. Наверное, ей было холодно, и ее не радовало черное платье за сто четырнадцать рублей тридцать копеек.

— Красиво? — спросил я.

— Что? Ах, вы про платье? Наверное, красиво... Мы отошли от витрины.

— Что говорит Борис Константинович? — спросил я.

— Вы должны понять его. — Нина словно обрадовалась, что разговор выбрался с ее прошлого на твердую землю нашего эксперимента. — Он видит, конечно, что ЭЭГ получается фантастическая. Ничего похожего никогда никем не было замечено. И поразительно точное совпадение начала первого быстрого сна, и одинаковая продолжительность всех быстрых снов, и увеличивающиеся интервалы между ними. С другой стороны, что все это могло бы значить? Можно утверждать, что в паттерне вашего сна... Простите, я сказала паттерн...

— Я понимаю, Нина, это же английский слово. Образец, схема...

— Совершенно верно. Так можно ли утверждать, что паттерн этот служит безусловным доказательством искусственности, наведенности периодов быстрых снов и соответственно ваших сновидений? Сблужив велик, конечно, но убедительны ли будут наши рассуждения? Да, скажут мужи, ЭЭГ в высшей степени странная, слов нет, но при чем тут космическая мистика? И нам ничего будет ответить. Знаете, Борис Константинович — очень осторожный человек. Это не значит, что он трус...

— Судя по тому, как я должен был его уламывать...

— Вам и меня пришлось уламывать... Поймите же, мозг ученого — это главным образом сепаратор.

— В каком смысле?

— В самом элементарном. Думая, пытаюсь истолковать результаты опытов, ты занят в основном отсевом, отбраковкой негодных предположений. Мозг ученого приучен безжалостно отбрасывать всю чепуху. А вы приходите и настаиваете, чтобы мы занимались как раз тем, что всегда отбрасывали как чепуху. Попробуйте, влезть в шкуру шефа... Но он, повторю, не трус. Да, он человек суховатый, упрямый, но если он уж приходит к какому-то заключению, он не отступит от него, даже если придется идти напролом.

— Значит, пока вы не пришли ни к какому выводу?

— Пока нет. Вначале мы подумали, что, может быть, само число быстрых снов — десять — что-то может значить. Это значительно больше, чем наблю-

дается обычно. Обычно их бывает пять-шесть. Но во втором опыте, как вы слышали, их было уже не десять, а одиннадцать. Что будет в следующем? Может быть, двенадцать, а может быть, шесть. У нас мало материала. С такими данными нельзя делать никаких утверждений. Я построила самый примитивный график. Вот он, вы просили, чтобы я вам его принесла. — Она достала из сумочки листок бумаги. — Он ничего не говорит. Десять и одиннадцать точек на разном расстоянии друг от друга. Расстояния эти, правда, увеличиваются, но случайно ли увеличение или подчиняется какой-то зависимости, мы пока еще не знаем. Нужны новые серии экспериментов.

— Нина, — вскричал я с пылом, — я готов переехать в вашу лабораторию! Навсегда. Мы купим портфель, и я буду всегда носить его вам...

Будь проклят мой язык! Я все-таки ляпнул глупость. Нинина рука в моей засалась. Я почувствовал, как она вся съехала. Впервые за весь вечер я услышал ее мысли. «Не надо, — повторяла она про себя. — Только не надо».

— Простите, Нина.

Она промолчала. Она была ранима, как... Я хотел было подумать, «как цветку», но сравнение было пошлым. Нина обладала удивительным качеством отфильтровывать пошлость. Наверное, мальчик с двумя портфелями не прошел через этот фильтр.

— Мне в метро, — сказала Нина.

— Я провожу вас до дому.

— Не нужно, Юра, — мягко сказала она.

— Я не хотел вас обидеть.

— Я знаю. Я несколько не обижена на вас. Разве что на себя. До свидания.

По лицу ее скользнула слабая, бледная улыбка, она кинула мне, повернулась и исчезла в облаке яркого пара, воссозданная человеческим водоворотом, бурлившим у входа в метро. Я бросился было за ней, но остановился. Не нужно продолжать ее. Две ошибки за вечер — это многовато.

Уже не спеша, я вошел в метро, постоял зачем-то в очереди за «Вечеркой», нетерпеливо развернул ее, словно ждал тиража вещевой потери или последних известий с Янтарной планеты.

Я вышел на своей остановке и понял, что мне не хочется идти домой. Видеть Галю, ловить на себе ее участливые взгляды.

Нет, она ни в чем не виновата передо мной, и в этом не главная вина. Люди прощают виноватых. Но невиновных никогда. Она заботилась обо мне и хотела, чтобы я был здоров. Ужасное преступление для жены. Я вздохнул. Ощущение предательства не самое приятное ощущение. Кому-то оно, может быть, и приятно. Не знаю.

Я позвонил Илье. Он был дома и через полчаса уже втащивал меня к себе.

— Ну? — закричал он. — Есть что-нибудь?

— Да нет, Илюша. Ничего окончательного.

— Что за тон? Что за интеллигентские штучки? Что за физиономия опечаленного олигофрена?

— Да понимаешь, старик...

— Я тебе не старик. И брось этот жигалинский лексикон. Выкладывай, что случилось.

С Ильей нельзя кривить душой. В его присутствии даже самая мягкая душа никак не может кривиться.

— Илюша, я чувствую, что мы с Галей неужерихимо расходимся. Мы идем разными курсами...

— Подожди, при чем тут Галя? При чем ваша семейная жизнь? Я часто называл тебя олигофре-

ном шутя, но я вижу, в каждой шутке доля правды. Какая семейная жизнь, какой развод? Как ты смеешь говорить об этом, когда твою дурную голову избрали в качестве приемника брата по разуму? Одно из величайших событий в истории человечества — гимн материалистическому, атеистическому восприятию мира, а ты подсовываешь свою семейную жизнь. Да разве это соизмеримые величины?

Мне стало стыдно. Илья был прав. Но умение мыслить большими категориями — удел больших людей. Улетай я завтра на Янтарную планету, я бы и тогда, наверное, убивался из-за того, что запутался в двух женщинах.

Я посмотрел на себя Илюшкиными глазами. Он был абсолютно прав. Зрелище не из приятных.

Хныкающий идиот.

— Ладно, эмоции потом. Ты тебе говорил по телефону, что они решили проделать второй эксперимент. Я спал у них еще раз.

— И как?

Илья сделал неосторожное движение ногой, и с книги, лежавшей на полу, взметнулся высокий столбик пыли.

— Пошли на кухню.

Я рассказал Илье о втором эксперименте.

— Нина Сергеевна дала мне график. Вот он, я еще сам его не видел.

На горизонтальной оси были отложены точки. Первые три почти рядом друг с другом. Остальные на все больше и больше расстоянии.

— А почему эта точка отмечена особо? — спросил Илья, показывая на шестую точку.

— Потому что в первом эксперименте ее не было. Она появилась только во втором. В первом было десять точек, во втором — одиннадцать.

— Чепуха! Почему именно эта? Почему вы не отметили, скажем, вторую или одиннадцатую точку?

— Не знаю, я как-то не подумал об этом.

— Не подумал! Господи, я всегда этого боялся больше всего. Братья по разуму протягивают нам руку и попадают в идиота.

— Можно подумать, ты только и делаешь, что ждешь братьев по разуму.

— Юрочка, — сделал забавную гримасу Илья, — что я вижу? Ты огрызаешься? Старшим? Правильно, не можешь лаять на своего директора школы — лай на друзей, это безопаснее.

— Илья, хочешь, я тебе врежу как следует?

— Ты? Мне? — Илья нарочито скорчился от хохота, качнулся.

Стул, на котором он сидел, злоежало хрустнул, и Илья успел вскочить как раз в тот момент, когда он начал рассматривать.

— То-то, — сказал я. — Так будет с каждым, кто покусится...

— На что?

— Вообще покусится.

— Слушай, Юрочка, — вдруг сказал Илья. — Ты хочешь фамилию своей Нины Сергеевны знать?

— Знаю. Кербель.

— Вот тебе телефон. Ты набираешь ноль девять. Всего две цифры, это не трудно, уверю тебя. А когда ответит женский голос, ты произнесешь всего три слова: личный телефон, пожалуйста. Со временем тебе ответит еще один женский голос. Ты скажешь: «Нина Сергеевна Кербель», — и она назовет тебе номер телефона. Это не так уж сложно. Хороший попуай, если бы он мог держать трубку, сумел бы сделать это. Давай звони.

— Я не попуай. Я не могу.

— Почему? Ты брезговаш? Трубка чистая, я вытираю ее ухом по несколько раз в день.

— Я с Ниной Сергеевной...

— О боже, — простонал Илья. — Судьба послала мне в друзья ловеласа, дон-жуана, казанову. Не пропустит ни одной женщины, с каждой ухитрится поссориться. — Илья вдруг пристально посмотрел на меня. — Это... это как-то связано с Галей?

Такой толстый шумный человек и такой пронизывающий.

— Да, — сказал я.

— Я позвоню сам.

Он довольно быстро дозвонился до справочной и получил телефон Нины Сергеевны.

Хоть бы ее не было дома, она же подумает, что это мои детские шутки. Попросит позвонить товарища. Хлопнуть портфелем по спине. Дернуть за косу.

— Нина Сергеевна? — спросил Илья. — С вами говорит некто Плошкин. У меня сейчас мой друг Юрий Михайлович Чернов, и мы как раз рассматривали график... Он сам? Он пытается вырвать у меня трубку.

Илья протянул мне трубку и некрасиво подмигнул.

— Нина... — промямлил я в трубку.

Сердце билось, словно я заканчивал марафонскую дистанцию.

— Юра, вы, наверное... — Нина замолчала, и я услышал в трубке ее дыхание. — Вы, наверное, рассердились. Я не хотела обидеть вас...

— Нет, что вы! — закричал я. — Я совершенно не обижен.

Маленькую Илюшину кухню заливал янтарный свет. Цвет, в который красит стволы сосен вечернее солнце, прорываясь сквозь сизые июльские тучи.

— Ваш товарищ что-то хотел спросить...

— Дай мне, — сказал Илья и вырвал у меня трубку. — Нина Сергеевна, у моего друга стало почему-то такое выражение лица, что я не могу доверить ему серьезных научных переговоров. Нина Сергеевна, мы не могли понять на вашем графике, почему вы новую одиннадцатую точку во время второго опыта поместили не в конце, например, а между пятой и шестой? — Илья слушал и кивал головой. — Ага, понял. Я так и подумал. Спасибо, Нина Сергеевна.

Илья положил трубку.

— Понимаете, расстояние между всеми точками осталось во втором опыте точно таким же, как в первом. И новая точка, похоже, вклинилась между пятой и шестой. Гм, интересно...

Илья положил перед собой график и тихонько замышлял. Гмыкал он долго, но ничего, очевидно, не надумал, потому что повернулся ко мне и спросил:

— Есть будешь?

— А что у тебя?

— Жюльен из дичи, ваше сиятельство. Также рекомендую вашему вниманию седло дикой серны и вареные медвежьи губы. Но больше всего, ваше сиятельство, мы гордимся нашим фирменным блюдом — пельменями московскими!

Илья поставил на огонь кастрюльку с водой, по-дождал, пока она не начала бурлить, и высыпал в нее пельмени.

Пельмени булькнули и утонули и сразу успокоились, расходясь в воду.

— Ваше сиятельство, как только какая-нибудь из утопленниц вынырнет на поверхность, бросайте ей спасательный круг.

Кого благодарить за такого друга, как Илья? Не знаю, что б я сделал ради него.

Мы ели пельмени, молчали, и я ни о чем не хотел думать.

Глава 12

Мы проделали еще два опыта. Они в точности повторяли результаты двух предыдущих, за исключением одной детали. Эта проклятая лишняя точка появлялась, то исчезала, просто подмигивала нам с графиком. Нина Сергеевна и профессор решили продолжать опыты на следующей неделе.

Я смотрел по телевизору спортивную программу. Где-то на другом конце света наши борцы припечатывали к ковру противников. Они долго толкались, упершись лбами друг в друга, пока один из борцов вдруг не хватал противника за ноги...

Галя сидела около меня. Она любит спортивные передачи гораздо больше меня, ни одной не пропускает. Я незаметно посмотрел на нее сбоку. Лицо сосредоточенное, серьезное, собранное — она и зрителем была энергичным. На ней было же голубенький стеганый халат, который ей очень идет. Я вдруг подумал, что никогда, наверное, не видел ее неряшливо одетой или непричесанной. Галя. Га-ля. Я попробовал имя на язык. Имя было мягкое. Такое же, как и имя, которое я ей дал. Люша. Люш. В чем же она виновата? Она виновата только в том, что я пытаюсь столкнуть на нее ответственность за Нину. Нет, не я, видите ли, разлюбил ее, нет, нет, нет, это она сама виновата. Слишком заботилась о моем здоровье.

Бедная Люша, она этого не заслужила. Разве она виновата, что маленькой ее головке легче думать о простых, ясных делах, которые можно решить, сделать, чем о неясных, романтических и космических фантазиях. Старый, как мир, спор между реалистами и романтиками. Я поймал себя на том, что мысленно умиляюсь своему романтизму. Опасный симптом. Еще шаг — и начнешь вообще восторгаться собой. Романтик, знающий, что он романтик, уже не романтик.

Га-ля, Га-ля. Я повторил имя жены несколько раз про себя. Но волшебство звуков не вызывало привычной нежности. А я хотел, я ждал, пока из глубин сердца подымется теплая, таинственная нежность к этому маленькому существу, что сидело рядом со мной и зачем-то смотрело на толкавшихся лбами борцов.

Я знал, что поступаю нечестно, но я положил руку на Галино плечо. Я почувствовал, как она сжалась. Она все понимала. Она никогда не обманывала себя. Она всегда отважно выходила навстречу фактам — один на один, ибо часто я бывал ей в этих сражениях слишком плохим помощником. Ты страшно-оптимист, говорила она. Ты прячешь голову в песок и надеешься, что все как-нибудь обойдется.

Да, она не ошибалась сейчас, как не ошибалась почти никогда. Я все еще продолжал упрямо надеяться, что все образуется, утрясется, устроится и будет хорошо. Она взяла мою руку и мягко, почти ласково сняла со своего плеча.

Зазвенел дверной звонок. Я открыл дверь, и в прихожую вихрем ворвался Илья.

— Солнечная система! — крикнул он так, как никто еще никогда не кричал в нашем кооперативном доме-новостройке. Мы слишком дорожили им. Дом содрогнулся, но устоял.

— Что? Илюша, что случилось? — вскричала Галя. — Это Солнечная система, Галка, вот что! Ты понимаешь, что я говорю? Солнечная система!

Он схватил мою жену, поднял на руки и попытался подбросить ее вверх, но она уцепилась за его шею.

— Ты что, сдурел?

— Сдурел, не сдурел, какое это имеет значение? — продолжал иступленно вопить Илья. Лицо его раскраснелось, глаза блуждали. — Одевайся немедленно! Едем!

— Куда? Что случилось? Да приди же в себя! — в свою очередь, начала кричать Галя.

Случилось в конце концов то, что должно было случиться, пронеслось у меня в голове. Человек, который всю жизнь проводит в пыли, должен был раньше или позже соскочить с катушек.

— Точкой! — взвизгнула Илья. — Вы олигофрены! Вы одновременно идиоты, имбецилы и дебилы! Я ж вам говорю: точки! Десять точек! Галя, как ты можешь нести такой крест, — уже несколько спокойнее проговорил Илья, — жить под одной крышей с таким типичей? Ты график помнишь? — обернулся он.

Я почувствовал, как сердце у меня в груди рванулось, точно спринтер на старте. Я все понял.

— Точки на графике?

— На графике. Десять точек — Солнце и девять планет.

— Но ведь...

— Интервалы соответствуют расстояниям между Солнцем и планетами. Абсолютно те же пропорции. Ты понимаешь, что это значит? Я тебя спрашиваю, ты по-ни-маешь? Это же все. Это то, о чем мы только могли мечтать! Случайность полностью исключается. Вероятность случайного совпадения десяти чисел — это астрономическая величина с минусовым знаком. Это то, чего мы ждали, Юркан! Они не только действительно существуют, они знают, где мы.

Галя, как завороченная, смотрела на Илью. Вдруг она начала дрожать.

— Что с тобой? — спросил я.

— Ни-че-го, — не попадая зубом на зуб, пробормотала она.

— Ты, может быть, ляжешь?

— Не-ет. Илья, — сказала она, и я почувствовал, что Галя напряглась, как борцы, которые все еще медленно вращались друг друга на ковре. — Илья, ты не шутишь?

— Нет, — торжественно сказал Илья. — Шутить в исторические минуты могут лишь профессионалы-остряки.

— И это правда? — с яростной настойчивостью продолжала атаковать его Галя.

— Что правда? Что ты спрашиваешь, о чем ты говоришь?

— Все, что говорил Юрка... Сны, телепатия... Это правда?

— О боже! — застонал Илья и застучал себе кулаком по лбу.

— Значит, это правда, — вскрикнула Галя и повалилась на тахту головой вниз. Плечи ее вздрагивали. Одна домашняя туфля упала на пол, и маленькая ее пятка казалась совсем детской и беззащитной.

— Не нужно, Люш, — я погладил ее плечо.

— О боже, боже! — снова запричитал хором греческой трагедии Илья. — В такую минуту выяснять отношения... Нет предела человеческой глупости.

— Илья, — сказал я, продолжая поглаживать все еще вздрагивавшее Галино плечо, — а как же одиннадцатая точка? Или это еще не открытая планета?

— Ну, хоть вопрос догадался задать. Одинадцатая точка непостоянна. Она то появляется, то исчезает, но всегда на одном и том же месте, между орбитами Марса и Юпитера. Тем самым нам говорят: это не планета, она непостоянна. Что же это? Это их корабль, который прилетел в нашу Солнечную систему. Ну? Ну? Хватит с вас, обезьянки! Можете вы прекратить вашу микроскопическую возню? Или вы на это не способны? Одевайтесь немедленно!

- Зачем?
- Мы едем.
- Куда?

Илья скрипнул зубами, схватил меня своими ручищами и основательно трянул.

— К твоей Нине Сергеевне.

У меня закружилась голова. Зачем ехать к Нине Сергеевне? Ах да, это же по поводу графика. И я вдруг понял всем своим нутром, что говорит Илья. Он прав. Не тем я оказался человеком. Мы получили доказательство контакта, первое объективное доказательство существования разумной внеземной жизни, а я вместо того, чтобы осознать все величие момента, копошусь в каких-то мелочах.

— Уже десять. Начало одиннадцатого.

— Какое это имеет значение? Десять? Десять и одиннадцать точек — вот что имеет значение!

Прав, прав Илья. Какое нам дело до времени? Его сумасшедший азарт начал передаваться и мне. Уходили назад, теряли резкость волнения последних дней. Нина, Галя, Галя, Нина. Илья прав. Тысячу раз прав!

— Вставай! — крикнул я Гале. — Илья прав, надо ехать, немедленно!

— К этой Нине Сергеевне?

— К ней.

— Я...

— Ну! — сжал кулаки Илья. — Брось свои бабские шуточки! Ты же выше этих глупостей! Ты же человек, а не кухонное животное!

Галя всколыхнула на ноги и вдруг чмокнула Илью в щеку. О, боже, мир положительно непознаваем!

— Я люблю тебя! — пропела Галя и умолчала в ванную.

Я начал натягивать на себя свитер.

— Как ты догадался? — спросил я Илью.

— Если бы я... Это не я. Я разговаривал с одним приятелем по телефону. Так, о делах. Он физик. А в голове все время сидит график. Я говорю: «Боря, что могли бы значить десять точек, интервалы между которыми все увеличиваются?» Он говорит: «Не знаю. Планет, например, девять, а что такое десять, не знаю!» И смеется, дубина. Сострил. Я кладу трубку, достаю график и начинаю смотреть на него. Десять точек. И интервалы слева направо все увеличиваются. И точки — как планеты, только все одинаковые. И тогда, как в трансе, я взял карандаш и нарисовал новый график. Первая точка, первая слева — Солнце. За ней, почти рядом — крошечный Меркурий, дальше Венера, Земля, Марс и так далее. Сердце у меня заколотилось, на лбу выступила испарина. Но расстояния, расстояния между планетами?

— Я готова, — пропела звонким голосом Галя, входя в комнату.

Я посмотрел на нее и ахнул. Давно уж она не казалась мне такой победоносной красивой.

Я запер квартиру, мы пошли вниз к машине, а Илья продолжал рассказывать:

— Что вам сказать, мои маленькие, глупые друзья? Я нашел старую, добрую «Занимательную астрономию» старого доброго Перельмана, да будет земля ему пухом. И выписал оттуда расстояния планет от Солнца в астрономических единицах. Астрономическая единица, если вы помните, — это расстояние от Земли до Солнца. Приблизительно сто пятьдесят миллионов километров. Меркурий — ноль целых тридцать девять сотых, Венера — ноль семьдесят две и так далее до Плутона, который отстоит...

— Илья, а куда ехать? — перебил я его.

— Улицы Зорге.

— А как ты узнал адрес?

— У нее самой... Я измерил расстояние между точками на графике и сравнил с таблицей, которую выписал из Перельмана. Пропорции абсолютно те же.

— Илюша, ты гений. Пыльный, но гений, — сказала с твердой убежденностью в голосе Галя.

— Другой стал бы спорить, — шумно, по-коровьи вздохнул мой друг.

Дом мы нашли быстрее, чем я рассчитывал.

— Я быстро, — сказал Илья.

— А мы? — спросила Галя.

Сегодня был ее час. Сегодня она чувствовала себя победительницей. Сегодня она взошла в союзники Солнечную систему. Ах, Галка, Галка, жкая ты воительница!

Я повернул голову и посмотрел на жену. Она посмотрела на меня. Может быть, мне показалось, а может быть, у нее действительно сверкнула в глазу крошечным бриллиантом слезинка.

— Люш, — сказал я.

— Ты-ш, — прошептала Галя, — молчи...

Я замолчал, а она положила свою голову мне на плечо. Я вдруг подумал, что это глупо — Илья пошел к Нине Сергеевне, а я сижу с Галей в машине. Но все в это вечер потеряло смысл или приобрело — кто знает. Илья открыл дверь, и я вздрогнул от неожиданности.

— Знакомьтесь, — сказал Илья. — Юру Чернова вам представлять не надо, а это Галя — его жена. Нина Сергеевна — старший научный сотрудник.

Только теперь, продемонстрировав свои права на меня и нашу близость, Галя быстро подняла голову, пробормотала: «Простите», — и обернулась к Нине. «Ах ты, маленькая, хитрая дрянь», — подумал я. Вопреки ожиданию я не чувствовал себя несчастным, сидя в одной машине с этими двумя женщинами. Наоборот, мне стало легко и весело. Я был в точке, где притяжения с двух сторон взаимно уравновешивают друг друга, и плавал в невесомости, как У в одном из последних новов.

— Как ехать, Нина Сергеевна? — спросил Илья.

— А вы... уверен? Мы ведь будем у профессора в полдень...

— И вы тоже... Ученые, называется! Великие открытия делаются от одиннадцати до часу по четвергам.

Нина засмеялась.

— Наверное, вы правы. Поехали. Ах да, я же не объяснила, куда ехать. Улица Дмитрия Ульянова.

Вы знаете, где это, Юрий Михайлович?

Не Юра, а Юрий Михайлович. О женское чутье! О женский такт!

— Знаю, — сказал я. — Я все знаю. Вы хоть позволили бы профессору.

— Господи, — сказала Нина, — я не сообразила в этой суматохе.

Два автомата оказались неисправными. На углу Красной Пресни автомат работал, но было занято. В результате мы приехали на улицу Дмитрия Ульянова без звонка. Было уже начало двенадцатого.

— Идем все вместе, — строго сказал Илья и быстро погнался нас, как стадо гусей, к подъезду.

Кнопку звонка нажал он. Никто не ответил.

— Не может быть, — пробормотала Нина, — ведь я же сама звонила. Было занято.

За дверью, обитой коричневым дерматином, слышались шаги. Вспыхнул глазок и тут же потемнел, должно быть, в него посмотрели. Дверь открылась. Профессор стоял в пижаме и смотрел на нас. Пижама была выглажена почти так же тщательно, как и костюм, в котором я его видел. Редкие волосы тщательно причесаны. Интересно, промелькнуло у меня в голове, он спит лежа или стоя?

— Простите, Борис Константинович,— нервно сказала Нина.— Уже поздно, я понимаю...

Профессор молча осмотрел нас всех. Настороженность в его глазах постепенно испарялась. А может быть, он просто просыпался.

— Добрый вечер,— сказал он и сделал приглашающий жест рукой.

Мы вошли в комнату, но не сели.

— Борис Константинович, позвольте вам представить,— сказала Нина,— это жена Юрия Михайловича, а это его друг...

Нина замешкалась, и я понял, что она даже не запомнила имени Ильи.

— И чем же я обязан столь неожиданному визиту?— сухо спросил профессор, так и не кивнув и не приглашая нас сесть.

— Только что выяснилось, что точки на графике быстрого сна Юрия Михайловича полностью соответствуют расстоянию планет Солнечной системы от Солнца,— быстро проговорила Нина Сергеевна.

— И кто же это выяснил, позвольте узнать?— спросил профессор.

— Я, с вашего разрешения,— сказал Илья и полупоклонился. Большой, пыльный, помпезный, он все равно являл собой зрелище внушительное.

— Где график?— строго спросил профессор.

— Вот.— Илья стащил с себя куртку, швырнул ее, не глядя, на кресло в халте и вытащил из кармана листок бумаги.— А это расстояния планет от Солнца в астрономических единицах. Вот пропорция, которую я составил. Вот пересчет.

— Линейка у вас есть?— спросил все так же строго профессор.

— Нет.

— Машенька,— произнес, не повышая голоса, профессор, и в комнату тут же влетела крошечная немолодая женщина.

Я готов был поклясться, что она караулила у двери, ожидая, пока ее позовут. Женщина кивнула нам и замерла, глядя на Бориса Константиновича. «Пожалуйста, что она робот»,— подумал я.

— Машенька,— не отрывая взгляда от графика, сказал профессор.— Витя дома?

— Нет,— пробормотала профессорша испуганно.

— Посмотри, пожалуйста, в его комнате, нет ли у него линейки и готвальны. Или хотя бы линейки. Так же стремительно, как вошла, профессорша выскочила из комнаты. «Старая школа»,— подумал я,— теперь таких жен не выпускают».

Профессор сел за стол, не глядя протянул руку, в которую запылавшаяся профессорша вложила линейку, и принялся измерять расстояния на графике.

Мы молча стояли вокруг стола. Профессорша тихоно отходила к двери— наверное, ее обычное место— и тоже замерла.

— Вы теорию вероятности знаете?— спросил наконец Борис Константинович Илью.

— Нет, я, знаете, по образованию гуманитарий.

— Так вот, вероятность случайного совпадения равна практически нулю.

— Значит...— тихо сказала Нина, и профессор внимательно посмотрел на нее, словно видел в первый раз.

— Значит, мы сейчас будем пить чай,— сказал профессор и вдруг засмеялся. Я подумал о том, какая будет физиономия у Штакетникова... Машенька!

Профессорша-робот застыла по стойке «мирно».

— Машенька, организуй, пожалуйста, нам чай и посмотри у Вити, есть ли что-нибудь выпить.

Профессор опять неумело прыснул и повернулся к Нине.

— Нет, Нина Сергеевна, вы представляете себе, какая будет физиономия у Штакетникова?

Боже правый и милосердный, подумал я, как люди по-разному реагируют на великие события. Один подбрасывает к потолку чужих жен, другие плачут, а третьи думают о выражении лица Штакетникова. Нет, я ошибся. Профессорша не могла быть роботом. Роботы не могут работать с такой скоростью. За одну минуту стол накрылся скатертью, скатерть— тарелками с сыром, колбасой, вареным двух сортов, рюмками и едва начатой бутылкой коньяка, не говоря уже о чайнике. Молодец, Витя. Все-то у тебя есть— от линейки до коньяка. Мне бы такого Витю...

— Сядь с нами, Машенька,— сказал профессор и принялся разливать коньяк по рюмкам.

Машенька стремительно бросилась к столу и застыла на краешке стула. Когда профессор выйдет на пенсию, он сможет неплохо зарабатывать. Демонстрация высшей дрессуры супруги.

Профессор поднял рюмку.

— Один мой знакомый американский психолог говорил мне, что самые доверчивые люди на свете— ученые. Никого так нельзя легко одурачить, как ученого. И действительно, сколько ученых мужей попадалось на удочку всяческих шарлатанов. А почему? Потому что ученых привык доверять фактам. И как бы ни были необычны факты, он вынужден принять их. Но если бы ученые не были доверчивы, не было бы науки, ибо все новое всегда кажется абсурдным, как казалось, например, Французской академии абсурдной идея, что с неба могут падать камни. Когда Юрий Михайлович в первый раз пришел ко мне, я не хотел слушать его. То, что он говорил, было фантастично. Но теперь это факты. И я должен им верить. И заставить верить других. Ибо ученый— это еще и миссионер, который должен всегда стремиться обращать людей в свою веру. Выпьем за великие факты, свидетельствами которых мы с вами стали, выпьем за веру в науку.

Мы все выпили. Профессорша тоже выпила свой коньяк, не сводя взгляда с мужа. Пила она синхронно с ним.

Потом мы выпили за интеллектуальное бесстрашие и за братьев по разуму. Потом за Контакт.

— Машенька,— сказал профессор,— посмотри у Вити, нет ли у него чего-нибудь еще... эдакого...

Старушку как ветром сдуло и принесло обратно уже с бутылкой рома «Гавана-клуб». Профессорша прижимала бутылку к груди.

— Борис Константинович,— сказал я,— знаете, как я определил про себя ваши глаза, когда первый раз увидел вас?

— Как?

— Я решил, что у вас глаза участкового уполномоченного.

— По-ра-зи-тельно!— крикнул профессор.

— Почему?

— Потому что я в молодости работал в милиции. Мы выпили за нашу милицию. Илья что-то шептал Гале на ухо, и она мелко тряслась от смеха.

— Дорогой профессор!— сказал я и почувствовал, что профессор вот-вот раздвоится и что надо его предупредить об этом.— Дорогой Борис Константинович! Я хотел вас предупредить... Я забыл, о чем хотел предупредить профессора, но он уже не слушал меня.

— Машенька!— позвал он, и мне показалось, что голос его звучит уже не так, как раньше. А может быть, это я стал плохо слышать.— Машенька! Посмотри, нет ли у Вити чего-нибудь... Ром не годится.

Я посмотрел на бутылку «Гавана-клуб». Она была пуста.

Ночь постепенно терла четкие очертания. Машенька еще дважды ходила к Вите, и Витин дух послал нам бутылку «Экстры» и бутылку «Салерви». Эту бутылку профессорша чуть не уронила, так как споткнулась об Илюшину ногу, и он поймал ее на луту.

Потом пришел какой-то молодой лысоватый человек, назвавшийся Витей, и я доказывал ему, что Витей он быть не может, потому что Витя — это ребенок, мальчик такой ма-а-аленький, которому негде спать, так как злые родители заставили всю его комнату бутылками.

Лысоватый человек почему-то пожал мне руку и со слезами на глазах признался, что он все-таки профессорский сын и сам профессор.

Я сказал ему, что профессорский сын и профессор — совсем разные вещи, но он пошел в свою комнату, принес оттуда бутылку венгерского джина и какую-то книжечку, которую он все порывался показать мне, уверяя, что из нее я узнаю о его звании.

Потом он танцевал с Ниной, и Нина сбросила туфли, и мне было смешно и грустно одновременно, все были такими милыми, что сердце у меня сжималось от любви к ним всем.

Глава 13

Нина позвонила мне домой и передала просьбу Бориса Константиновича приехать к трем часам в институт. Оказалось, что он идет к директору и хочет, чтобы я был наготове.

— Посидите в приемной с Ниной Сергеевной, может быть, вам придется продемонстрировать еще раз свои способности, — сказал профессор, когда я примчался к нему.

Мы пошли к кабинету директора института. Впереди решительный Борис Константинович, за ним Нина, а потом уже и я.

— Оленька, Валерий Николаевич у себя? — кивнул профессор на дверь, на которой красовалась табличка «В. Н. Ногинцев». — Он назначил мне аудиенцию ровно на три.

Оленька, существо лет восемнадцати с ниспадающими на плечи русыми тяжелыми волосами, подняла глаза от книжки, которая лежала на пишущей машинке, и кивнула.

— Сейчас, Борис Константинович. — Она нажала на какой-то рычажок и сказала: — Валерий Николаевич, к вам Борис Константинович Данилин.

— Попроси его, пожалуйста, — послышался из динамика низкий мужской голос.

Именно такими голосами должны обладать, по моему глубокому убеждению, обитатели больших кабинетов, перед которыми сидят секретарши с длинными русыми волосами.

Борис Константинович коротко кивнул нам и исчез за обитой черным дерматином дверью.

— Здравствуйте, Борис Константинович, — послышалось в динамике.

— Добрый день, Валерий Николаевич, — ответил голос профессора.

Русоволосое существо потянулось к рычажку, и я вдруг неожиданно для самого себя сказал:

— Оленька, дитя мое, а зачем лишать нас маленького удовольствия? Дайте нам послушать, о чем будут говорить ученые мужи.

— Нельзя, — сказала Оленька, но динамик не выключила.

— А такая красивая бы можно? — спросил я и сам покраснел от бесстыдности своей лести.

Оленька прыснула и посмотрела на Нину Сергеевну.

— Да ничего, он свой. — Нина кивнула в мою сторону с видом заговорщика.

— Ладно, только никому ни слова, а то Валерий Николаевич, знаете, что мне сделает...

Я не знал, что он сделает Оленьке, но особенно за нее не волновался. Судя по ее манерам, еще большой вопрос, кто кому больше сделать может — директор Оленьке или Оленька директору.

— Валерий Николаевич, я к вам по не совсем обычному делу, — сказал Борис Константинович, и даже пропущенный через сито динамика голос его звучал напряженно.

— Слушаю вас.

— В нашу лабораторию сна пришел молодой человек, двадцати пяти лет, и попросил, чтобы мы определили, какой характер носят его сновидения.

— И что же снится молодым людям в наши дни? — мягко забулкал директорский бархатный бас. — Неужели не то, что снилось нам?

— Нет, Валерий Николаевич, — твердо, без улыбки в голосе сказал профессор, сразу же уводя разговор в сторону от предложенной директором слегка шуточной тропинки. — Юрию Михайловичу Чернову снится незнакомая планета, которую он называет Янтарной, так как именно этот цвет преобладает там. Юрий Михайлович уверен, что эти сновидения не что иное, как мысленная связь, установленная с ним обитателями этой планеты.

Мне стало жалько, и по спине пробежал озноб. Только сейчас я понял до конца, кем должен выглядеть в глазах нормального человека.

— Гм, гм, — басовито кашлянул директор, и в глухих раскатах его голоса можно было уловить приличествующее случаю сочувствие. — И что же? Нужно ему помочь?

— Да, но речь идет вовсе не о психиатрической клинике. Дело в том, Валерий Николаевич, что идеи Юрия Михайловича не заболевание и не иллюзия.

— То есть? — Голос директора прозвучал чуть строже, словно влажный и мягкий его бас слегка подсушило нетерпение.

Я почувствовал, что изо всех сил сжимаю подлокотники зеленого кресла. Каково же сейчас Борису Константиновичу? Милый, несимпатичный, упрямый и нестигаемый профессор.

— Мы имеем основания считать, Юрий Михайлович не ошибается, что с ним установили связь представители некой взвешенной цивилизации.

— Очень мило, — облегченно засмеялся директор. — Я, признаться, не подозревал, уважаемый Борис Константинович, что вы у нас шутник-...

— Я понимаю вас, — сухо и твердо произнес профессор. — Я полностью отдаю себе отчет в том, какое у вас должно сейчас сложиться мнение обо мне вообще и о моих умственных способностях в частности. Я сам прошел через это, и ваш скептицизм вполне понятен.

— О чем вы говорите, какой скептицизм? — с легчайшим налетом раздражения спросил директор. — Если вы для чего-то решили подшутить надо мной, то при чем тут скептицизм? Помилуйте, уважаемый коллега...

— Валерий Николаевич, я вас не разыгрываю и не шушу с вами. Как вы, возможно, заметили, я вообще не очень склонен шутить. В нашей лаборатории проведены исследования, которые на сто, повторю, на сто процентов подтверждают вывод, о котором я уже имел честь вам сообщить.



— Да вы что, смеетесь, дорогой Борис Константинович?— В бас директора вплелись негодующие нотки.

— Я не смеюсь. Вы знаете, что за двадцать три года работы в институте я никогда не позволил себе никаких шуточек и никаких розыгрышей. Я повторю: я не сошел с ума и не шучу. Я прошу вас только выслушать меня.

— Хорошо,— со вздохом сказал директор, и я представил себе, как он откидывается с жертвенным видом в кресле и полускрывает глаза.

— Мы провели четыре ночных исследования Юрия Михайловича во время сна. Мы получили электроэнцефалограмму, которую дублировали регистрацией БДГ. Вот график быстрого сна испытуемого в первую ночь, во вторую, в третью и четвертую. Обратите внимание, что все периоды быстрого сна начинаются в одно и то же время и продолжаютсЯ ровно по пять минут. Вы видели когда-нибудь такую ЭЭГ?

— Довольно странная картина, согласен, но...

— Мы обратили внимание на то, что Юрий Михайлович в отличие от нормы прекрасно помнит все сновидения, во всех деталях и что сновидения последовательно знакомят его с жизнью Янтарной планеты.

— Борис Константинович!

— Прошу прощения, Валерий Николаевич, я еще не кончил...

— Я вовсе не настаиваю, чтобы вы продолжали этот странный разговор...

— Товарищ директор, я заведующий лабораторией. Я пришел к своему директору. Я, наконец, ученый и пришел к коллеге. Выслушайте же меня спокойно...

— Хорошо, Борис Константинович, если вы настаиваете, я, разумеется, выслушаю вас до конца. Но поймите...

— Поймите вы, что я никогда не пришел бы к вам, если не был бы уверен в том, что говорю. Вы думаете, я не представляю, что у вас должно сейчас вертеться в голове? Старый идиот, выжил из ума, этого еще не хватало и так далее...

— Борис Константинович, я, по-моему, не давал вам...

— Я вас ни в чем не обвиняю. Я лишь прошу, чтобы вы спокойно и беспристрастно посмотрели на графики, лежащие перед вами. Как вы видите, интервалы между короткими периодами быстрого сна все возрастают слева направо, от первого периода до десятого. В двух случаях между пятым и шестым циклами появляется еще один дополнительный период. Так вот, пропорция интервалов в точности соответствует пропорциям расстояний от Солнца до девяти планет. Дополнительная же точка между Марсом и Юпитером, которая то появляется, то исчезает, является, по-видимому, космическим кораблем, посланным этой Янтарной планетой. Я обратился к двум математикам с вопросом, какова вероятность случайного совпадения десяти цифр. Такая вероятность исчезающе мала...

Пауза, которая последовала за последними словами Бориса Константиновича, все росла и росла, наконец директор спросил со вздохом:

— Вы хотите уверить меня, что речь идет о телепатической связи между некоейвнеземной цивилизацией и вашим испытуемым. Так?

— Так.

— И вы рассчитывали, что убедите меня в реальности такой связи?

— Рассчитывал,— твердо сказал Борис Константинович.

— Но вы же прекрасно знаете, что телепатия —

это миф, фикция, выдумки шарлатанов. Для чего возвращаться к этим мифам?

— Это не миф. Перед вами на столе лежит реальность в виде графиков, составленных на основании абсолютно корректных опытов. Опыт повторен четыре раза. Возможность ошибки исключена.

— Вы читали работы, где исследуется вопрос, какова должна быть мощность мозга, чтобы он излучал сигналы, способные достигать мозга реципиента? Нет ни одной известной нам формы энергии, при помощи которой можно было бы передавать телепатическую информацию. На нашем с вами уровне обсуждать вопрос о телепатии — просто несерьезно. Если бы мы с вами были двумя дикарями, тогда, может быть, мы бы могли говорить о подобной чепухе... Не буду скрывать от вас, Борис Константинович, электроэнцефалограмма действительно весьма занятая, спору нет. Но что касается всего остального... Я даже не могу подобрать слов...

— Валерий Николаевич, в вашей приемной сидит наш испытуемый. Я не хотел говорить раньше об этом, но он может продемонстрировать вам те самые телепатические способности, которые, как мы с вами знаем, не существуют.

Оленька с любопытством посмотрела на меня, чуть склонив голову набок, как собачонка, и тяжело ее русые волосы тоже опрокинулись набок.

— Борис Константинович, вы взрослый человек, и не мне вас воспитывать. Если вы решили пропагандировать телепатию,— это ваше частное дело. Но как сотрудника нашего института, как заведующего лабораторией нашего института я бы попросил вас воздержаться от столь странного хобби. Тем более, что это вовсе не ваша специальность. Вы можете выставлять себя на посмешище, ежели того желаете, но скреплять печатью научного учреждения ваши фантазии — нет, извольте уж, коллега, простить старика. Своим именем и именем института я как-то, знаете, не привык покрывать разного рода... шарлатанство.

— Валерий Николаевич, вы обвиняете меня в шарлатанстве?

— Вы сами себя обвиняете. Спасибо, что избавили меня от столь неприятной миссии.

— Прекрасно, товарищ директор. Допустим, я старый шарлатан. Прекрасно. Благодарю вас. Но вы директор института. Вы ученый. Вы член-корреспондент Академии наук. В пяти метрах от вас человек. Позовите его. Проверьте его. Поймите нас на шарлатанстве. Неужели вы думаете, я не понимаю вас? Когда Юрий Михайлович впервые пришел ко мне, я тоже ничего не хотел слушать. Я говорил ему о проектах вечного двигателя, которые ни один грамотный человек не будет рассматривать. И все же он убедил меня, потому что знания не должны быть шорами на глазах.

— Не уговаривайте меня, я никогда ни за что не соглашусь участвовать в шарлатанских трюках.

— Но какая же у нас польза...

— Дело не в пользе. Вы можете быть даже искренне уверены вместе с вашим подопечным в своей честности...

— Благодарю вас, Валерий Николаевич. Это уже большая похвала...

— Оставьте, Борис Константинович. Закончим этот тягостный разговор и давайте забудем, что мы его вели. Мы знакомы лет тридцать, наверное, и я никогда не давал вам повода сомневаться в моем добром к вам отношении.— В директорском босе снова появились очаровывающие бархатные нотки.

Надо было спастись безбашенного Бориса Констан-

тиновича. Я встал, и Оленька испуганно взглянула на меня.

— Куда вы? — спросила она. — Нелзя!

Но я уже входил в директорский кабинет.

Директор оказался точно таким, каким я его себе представлял — крупным, седым красавцем, стареющим львом.

— Простите, я занят, — коротко бросил он, удостоив меня одной десятой взгляда.

— Я знаю, Валерий Николаевич, что вы заняты. Я как раз тот человек, из-за которого весь сыр-бор.

Директор откинулся в кресле и внимательно посмотрел на меня. Он был так велик, благообразно красив и уважаем, что я почувствовал себя маленькой мышкой, которая пришла на прием к коту. Борис Константинович молча хмурил брови. Вид у него был встрепаанный и сердитый. И вдруг мне так остро захотелось взорвать неприступную директорскую броню, что у меня зачесалось в голове. И вместе с зудом пришел шорох слов, сухой шорох струящихся мыслей. И мысли директора были такие же солидные и уважаемые, как он сам. Такие же корректные и чисто вымытые. Непомодные, но хорошо сохранившиеся мысли.

«Нелепая история... наваждение... Позвать Оленьку...»

— Вы уверены, что это нелепая история, — сказал я, — вы уверены, что это наваждение. Вы даже хотите позвать вашу престелную девочку, чтобы она выставила меня вон...

«Чушь какая-то... Цирковой трюк...»

— Теперь вы утверждаете, что это чушь какая-то, цирковой трюк.

Краем глаза я заметил, что суровое, взволнованное лицо Бориса Константиновича тронула едва заметная улыбка, и он неумело подмигнул мне.

— Че-пу-ха! — вдруг выкрикнул Валерий Николаевич, и голос его неожиданно стал выше и пронзительнее. — Жё де сосветё!

— Уверю вас, это не салонные игры, как вы говорите. Настолько французский я знаю. Я просто слышу, что вы думаете.

«А может быть, проверить? Ловко он это делает», — пронеслось в голове у директора.

— Конечно, проверьте.

— Что проверить? — вскричал директор.

Его невозмутимая уважаемость исчезала прямо на глазах. Он становился старше и светлее. Он уже больше не был львом.

— Проверьте, как ловко я это делаю.

— Не смейте! — уже совсем тонким голосом возизнул директор.

Прошелестела дверь. Я обернулся. В дверях стояли Оленька и Нина Сергеевна. Я подмигнул им. Я уже не нервничал и не боялся. Веселая, озорная волна подхватывала меня. Опьяняющая, радостная невесомость, в которую погружал меня У.

— Что не смеет?

— Не смеет читать мои мысли!

— Да позволите же, Валерий Николаевич, разве читать чужие мысли возможно? Вы уже полчася утверждаете обратное. Или вы теперь согласны с тем, что я слышу чужие мысли?

— Я ни с чем не согласен, — уже несколько спокойнее отчеканил директор. Должно быть, Оленька влиwała в него силы. — Это элементарный трюк. Цирк. Вы видите мое лицо, вы знаете, о чем идет речь, вам вовсе не трудно догадаться, что я думаю. Я этого, тем более, не скрываю.

Последняя мысль, по-видимому, несколько подержала директора, потому что он начал снова уве-

личиваться в размерах, опять заполняя собой враждующее немецкое креслице.

— Вот именно, — сказал я и почувствовал, что держу аудиторию в своих руках, что рядом со мной Нина, что ее большие серые глаза смотрят на меня с восторгом и ужасом, что, наконец, на меня смотрит длинноволосая Оленька, которая, наверное, и не представляла, что с ее всемогущим шефом можно так разговаривать.

— Вот именно, — повторил я. — Что же может быть проще? Я сейчас выйду из комнаты, вы напишете на листке бумаги какие-нибудь две-три фразы, вложите листок в конверт. Я вернусь в комнату и назову эти фразы. Или не назову их. И все станет ясным.

Все замолчали. И вдруг раздался Оленькин голосок:

— Ой, Валерий Николаевич, сделайте, правда, так!

Спасибо, Оля.

Директор института пожал плечами.

— Только для того, чтобы покончить с этой нелепой сценой.

Я вышел в приемную, уселся в кресло, в котором уже сидел. Зеленая искусственная кожа на правом подлокотнике лопнула, и сквозь трещинку видна была какая-то набивка. На пишущей Оленькиной машинке все так же лежала открытая книга. Я встал и посмотрел на нее. Биология. Не поступила, наверное, готовится снова.

Я сосредоточился. Надо было отсечь ненужные слова, принадлежавшие Борису Константиновичу, Нине и Оленьке. Убей меня бог, если я мог объяснить, как это делаю.

Я услышал сухой шорох директорских мыслей: «Что бы такое написать? Чтобы покончить с этой комедией... Кто бы мог подумать, что Данилин способен на такое... Не будем отвлекаться... Такое, чтобы он не мог догадаться по ситуации... Такое, что не имеет отношения к этой сцене... Ну-с, например, что-нибудь вроде этого... Наш институт... Нет, это глупо. Нелзя даже упомянуть институт в связи с этим шарлатанством... Однако надо что-то написать... Это становится смешно... Они смотрят на меня... Какие-нибудь стихи, может быть? Прекрасно. Что-нибудь школьное, что Оленька знает... «Ты жива еще, моя старушка!» А почему бы и нет? Пишем. «Ты жива еще, моя старушка? Жив и я. Привет тебе, привет! Пусть струится над тобой избушкой...» Какой там свет? Какой-то там свет. Бог с ним. Достаточно».

Пора. Я медленно вошел в директорский кабинет. Все головы повернулись ко мне. Первый раз в жизни я почувствовал себя артистом. Я закрыл глаза и приложил руку ко лбу. Нелзя же разочаровать девушку с такими необыкновенными волосами.

— «Ты жива еще, моя старушка!» — начал декламировать я чужим, деревянным голосом. — «Жив и я, привет тебе, привет! Пусть струится над тобой избушкой...» Строка не окончена. Не Есениным, а Валерием Николаевичем. — Я подошел к столу. — Можно конверт?

Директор автоматически взял конверт и протянул его мне. На мгновение мне стало даже жалко его.

— Оу! — театральным голосом сказал я и протянул конверт Оленьке. — Прошу вскрыть и прочесть вслух.

Словно взорванная, не спуская с меня широко раскрытых глаз, Оленька протянула руки, медленно взяла конверт, открыла его, достала листок, бросила на него быстрый взгляд и громко и явственно сказала:

— Ой!

— Что «ой», дитя мое? — спросил я, самым тщет-

славным образом упиваясь и Оленькиным «коем», и едва сдерживаемым торжеством милого Бориса Константиновича, и слабой улыбкой Нины.

— «Ты... жива... еще... моя... старушка», — с трудом, запинаясь, начала Оленька.

— Смеее, дитя, это же не экзамен.

— Хаити! — крикнул директор. — Я даже не спрашиваю, как вы это делаете. Телепатии не существует...

— Вообще-то, наверное, да, но в этом случае... — начал было Борис Константинович.

— Никаких «наверное», никаких этих и тех случаев. Передача мыслей на расстоянии невозможна...

— Но должно же существовать какое-нибудь разумное объяснение тому, что сейчас наблюдало четыре человека? — спросил Борис Константинович. — Или оно не обязательно?

— Для меня не обязательно! — крикнул директор. — Я не цирковой режиссер, с вашего позволения. Эффектный трюк, не спорю.

— Значит, вы не изменили своей точки зрения? — спросил Борис Константинович.

— Нет, и не изменю, пока я в здравом уме.

— Благодарю вас за любезность, товарищ директор. Хочу вас предупредить, что вынужден буду обратиться выше...

— Можете обращаться к кому угодно, уважаемый Борис Константинович, но меня от ваших бредней изольте уволить-с!

— С удовольствием! Когда ребенок капризничает, его лучше всего оставить в покое.

Директор сделал глубокий вдох и медленно, со свистом выпустил воздух. Руки его изо всех сил сжимали подлокотники кресла, словно он собирался сделать стойку. Борис Константинович пошел к выходу. Мы — за ним.

Армия отступала, сохраняя боевые порядки.

Глава 14

Уверовавший во что-то скептик — человек, которого остановить нельзя. Борис Константинович бросился на штурм вышестоящих научных инстанций с такой яростью, что стены здравого смысла не выдержали и рухнули. Была создана специальная комиссия, в которую вошли ученые разных специальностей. Комиссия должна была изучить феномен под названием «Юрий Михайлович Чернов».

Жизнь моя окончательно вышла из привычных берегов. Меня подхватили, понесли, закружили какие-то грозно-озорные водовороты. В веселой и странной круговерти мелькали школа, Галя, Нина, Илья. Днем я отвечал на бесконечные вопросы членов комиссии, наговаривал на магнитную пленку содержание своих сновидений, а по ночам спал в лаборатории, опутанный датчиками и проводами.

В комиссию входил астроном Арам Суменович Вартамян, который был уверен, что главную ценность для науки представляют не мои сны, а информация, передаваемая с Янтарной планеты с помощью чередования периодов быстрого сна и интервалов между ними.

Высокий, смуглый и слегка кокетливый, он все время повторял:

— Меня не интересуют ваши сны, Юра. Это все разные там четьи-миней и прочие толкователи вещей сновидений. Это не наука. Очень мило, очень романтично, очень красиво, но не нужно. Наука начинается с графика. Когда мне показали первые гра-

фики вашего сна, я понял: это то. То, чего ждешь всю жизнь, если ты ученый, а не ученый-канцелярист.

Тишайший и нежнейший Сенечка, биофизик лет тридцати, похожий на Иисуса Христа, если не считать земских очков в тонкой металлической оправе, окружал меня по ночам различными экранами, а однажды устроил мою постель в металлической трубе, которую использовали в каком-то институте для насыщения тканей больных кислородом.

Два психолога ежечасно терзали меня своими вопросами и тестами, пока я не догадался сдвинуть их друг с другом, и они начали спор, который продолжался уже вторую неделю.

Примерно через день появлялся председатель комиссии академик Петелин. Академик был маленьким, седеньким человечком, в котором постоянно бурлила чудовищная энергия. По-моему, никакой проблемы получения термоядерной энергии не существует — существует проблема академика Петелина. Достаточно узнать, как в таком малом теле генируется такое фантастическое количество энергии, как энергетическая проблема человечества была бы решена раз и навсегда.

Как только мы слышали за дверью стук лапки Павла Дмитриевича, мы непроизвольно убегались. Павел Дмитриевич влетал в дверь и начинал кружиться по комнате. Казалось, он с трудом удерживается, чтобы не взлететь к потолку. Кружась, он успевал все осмотреть, все спросить, все выслушать, все понять, все запомнить и все решить.

У меня своя теория, почему Павел Дмитриевич сразу поверил в меня, принял результаты первых опытов Бориса Константиновича и согласился стать председателем специальной комиссии. У меня есть серьезные основания подозревать, что старый волшебник тоже мыслит не совсем обычным образом. Сколько раз он смотрел мне в глаза и говорил, о чем я думаю. Не с такой точностью, конечно, как я, но попадание в цель бывало неизменным. Когда я спрашивал его об этом, он заливался мелким, бесовским смехом и подмигивал мне.

— Люди, — говорил он, — в сущности, довольно однообразные объекты, куда однообразнее, чем объекты, скажем, астрономические. А я весьма старый хрыч и неплохо изучил их. Вот вы сейчас, похоже, думаете, что старый хрыч кокетничает...

— Павел Дмитриевич, как вы можете?..

— Ага, попал! Один ноль в пользу академика. — Павел Дмитриевич хитро щурился и спрашивал: Хотите, я открою вам секрет, как я сделал научную карьеру?

— Хочу, Павел Дмитриевич.

— Прежде всего я по натуре страшный лентяй и бездельник. Да-да, Юрий Михайлович, я не шучу. Но сколько я себя помню — я всегда был человеком энергичным. Энергия, помноженная на лень, дает, как правило, незаурядные результаты. Кроме того, я легко классифицируюсь. Чужак профессор, сумасброд. Это же тип. Клише. Стандарт. А в наш унифицированный век что может быть лучше и приятнее, чем человекское клише? Не надо думать, кто он и что он, чем дышит и что носит за пазухой. Это как поздравительная телеграмма. Номер три — розочки. Номер семь — голубки на карниз. Номер десять — чудак профессор. И все рады. Ага, Петелин? Да это же номер десять.

— Павел Дмитриевич, вы меня разыгрываете.

— Конечно, разыгрываю, неужели я буду говорить с вами серьезно? Серьезно я говорю только со своими врагами.

— А у вас есть враги?

— Ученый, у которого нет врагов, не имеет права называться ученым.

— И много их у вас?

— Много, ох, как много! Но знаете, кто меня спасает?

— Что?

— Их количество. Враги опасны лишь в небольшом количестве. Когда их становится очень много, они обязательно начинают враждовать друг с другом. А враги твоих врагов — это уже почти друзья. — Академик лихо подмигнул мне и добавил: — А потом вот эта палка! Ну его, думают, мои враги, к черту, еще врещет, старый дурак!

Академик снова раскатывал горох озорного смеха.

И семейная моя жизнь тоже стала какой-то избыточной и неопределенной. Галя была той же и одновременно другой. То ли это объяснялось недавними нашими размолевками, то ли она никак не могла привыкнуть к мысли, что живет под одной крышей с космическим теплом — не знаю. Внешне отношения наши были вполне нормальными, но у меня все время было ощущение, что мы идем по тонкому льду. То ли выдержит, то ли треснет. А когда подсознательно ждешь все время зловещий хруст, ты, естественно, напряжен. А напряженное состояние никак не способствует благополучному плаванью семейного корабля.

И с Ниной я продолжал видеться регулярно, так как она и Борис Константинович тоже входили в комиссию академика Петелина. По какому-то молчаливому соглашению мы избегали разговоров на личные темы, но порой мне казалось, что это только этап в наших отношениях, железнодорожный перегон, на котором поезд идет без остановок. Остановки будут, они впереди.

Нина была такой же красивой, как и раньше, а может быть, даже стала еще красивей, и своим обостренным чутьем я начал замечать пылкие взгляды элегантного Арама Суреновича в ее сторону.

В школе, разумеется, ничего не знали о моих делах. Академик Петелин в первый же день, когда собралась комиссия, сказал, что во избежание ненужных шумихи, сенсаций, кривотолков принято решение пока сохранять работу в тайне, и попросил нас соблюдать ее.

Но поскольку мне почти каждый день нужно было куда-то бежать, я то и дело вынужден был переносить свои уроки, отменять классные собрания и избегать наиболее энергичных родителей.

В один из дней наша директриса Вера Викторовна призвала меня к себе в кабинет.

— Сядите, Юрий Михайлович, — кивнула она мне и принялась переключать бумаги на столе с места на место.

Я сел и вопросительно посмотрел на нее.

— Юрий Михайлович, нам предстоит не совсем приятный разговор. Вы догадываетесь о чем?

Я вздохнул шумно и виновато.

— Конечно, Вера Викторовна. И не только догадываюсь, я полностью разделяю мысли и чувства, которые владеют вами.

Суровое лицо директрисы, которого никогда не касалась никакая косметика, начало медленно багроветь, и я подумал, что цвет этот очень идет к ее седеющим волосам, туго стянутым в аскетический наробразовский узел.

— И вы еще позволяете себе... — начала было она, но я ее прервал:

— Я ничего не хочу позволять себе. Я вас прекрасно понимаю и вполне согласен с вами, что Чер-

нов в последнее время очень изменился, причем в худшую сторону.

Вера Викторовна достала из кармана носовой платок и грубо высморкалась. Звук был чистым и сильным. У нее не было никакого насморка, ей просто хотелось выиграть время.

— И что же, вы с этим согласны? — Платок она не убрала, держала в руке наготове, чтобы в случае необходимости снова выиграть время.

— Я уже сказал вам, что полностью разделяю ваши мысли и чувства. У меня сейчас просто в жизни трудный период... — Я на мгновение остановился, чтобы выбрать между несуществующей аспирантурой и несуществующими болезнями, и выбрал аспирантуру. — Я поступаю в аспирантуру...

— В очную?

— Нет, в заочную. Вы представляете, какие это хлопоты, особенно для учителя...

Тонкие губы Веры Викторовны были по-прежнему неодобрительно подхвачены.

— Уверю вас, мне самому неприятно, что я вынужден так манкировать своими обязанностями. В ближайшее время я надеюсь освободиться...

— Хорошо. Я подожду. Но, надеюсь, вы понимаете, что долго так продолжаться не может...

Это случилось на перемене между первым и вторым уроками. Я сидел на своем обычном шатком стуле между шкафом с математическими наглядными пособиями, ключ от которого был потерян еще предыдущим поколением учителей, и весьма развинченным невысоким скелетом, каждый год терявшим по несколько костей. На шкафу, как раз на уровне моих глаз, был прибит овалный инвентарный номерок. Семнадцать и тридцать один. Я курил, сосредоточенно смотрел на номер и думал, что более нелепых цифр не придумаешь. Ни на что их не разделишь, а перемножить их в уме я безуспешно пытался уже несколько лет.

И вдруг что-то произошло в моей голове. Я услышал звук включенного, но не настроенного на станцию приемника. Звук тишины, которая вот-вот должна прорваться звуком. Но звука не было. Вместо него в этой гулкой тишине моей черепной коробки начала копошиться какая-то мысль. Даже не мысль, а мыслишка. Нечто крошечное, неясное, но беспокойное. Она все ворочалась, крутилась, не находя себе места, постепенно росла и крепла. Но к сознанию еще не всплывала. Быть может, не обладай я опытом Янтарной планеты, я бы не обратил внимания на свое состояние. Мало ли что у кого зреет в голове — от теории относительности до решения написать анонимку. Но я прислушивался к себе, как больной, ловящий малейшие симптомы. И мысль, наконец, оторвалась от дна подсознания и начала медленно подниматься к поверхности. И превратилась уже в нечто, что я знал и ощущал.

А знал я, что на Земле есть еще кто-то, кто обладает такими же способностями, что и я, и я связан той же нитью с Янтарной планетой, что и я. Не спрашивайте меня, как я это знал. Я не могу ответить на этот вопрос. Я знал. Я был уверен.

И знание это было приятно. Только в этот момент я осознал до конца, каким одиноким я был до сих пор. Один. Один среди миллиардов, выбранный У. Да, меня окружали люди, которые не отвернулись, поддержали, поверив в невероятное, но они полагались только на мои слова. А слова не могли передать ни гармонии плавных янтарных холмов, которую слышали, паря над ними, ни полного растворения в братьях в Кольце Зова, ни гимна Завер-

шения Узора, ни самого цвета Янтарной планеты. Слова были слишком грубым инструментом, не рассчитанным на незнакомый мир. И я был в плену Янтарной планеты, отгороженный от людей стеной пустых слов, которые я проговаривал и отбрасывал, удивившись в их слабости, тусклости, сухости.

И вот теперь где-то на Земле объявилась живая душа, и мне не нужно будет слов, чтобы разделить с ней счастье знакомства с народом У. Мне стало так хорошо, так радостно, что я тут же впервые в жизни переключился в уме семнадцать и тридцать один—волшебные цифры с таинственного инвентарного номера. Пяťсот двадцать семь—какое прекрасное число!

В кресле сидел математик Семен Александрович. Почему всегда в какие-то очень важные для себя минуты взгляд мой обращается на нашего математика? Милый Семен Александрович, отнимите классный журнал от груди, и тогда с вами тоже случится что-нибудь удивительное. Может быть, вам прозвонит сердце стрела Амура, прикинувшегося нашим школьным скелетом, без половины костей? Амур попадет в вас, и вы влюбитесь в нашу директрису Веру Викторовну. А она в вас. И вместо педагогического сурового пучка на голове сделает себе необыкновенную прическу. А вы придете в пестрой модной рубашке с широким галстуком.

Нет, это, к сожалению, была маловероятная картина. Не из-за Амура, нет. Амур—это просто. Но вот пучок Веры Викторовны—тут и трех Амуров было бы мало.

И все-таки мне нестерпимо хотелось приобщить Семена Александровича к счастью. Я подошел к нему.

— Семен Александрович,—спросил я его, чувствуя себя посланцем судьбы,—хотите я открою вам шкаф с вашими усеченными пирамидами?

Математик ушел в глубь кресла и выход из него забаррикадировал классным журналом с чернильной клаской в правом верхнем углу.

— Э... ключа у нас нет...

— Может быть, закажем новый?

Семен Александрович посмотрел на меня с испугом, будто я предложил ему взорвать школу и ограбить кассу взаимопомощи.

Я подошел к шкафу. Синяя цветная бумага за стеклянными дверцами давно выгорела. Я взялся за ручку и несильно дернул. С печальным скрипом, с которым рушатся легенды, дверца открылась.

— Вот, Семен Александрович,—гордо и величественно сказал я,—вам подарок. От нас двоих.

Прозвенел звонок, но Семен Александрович не шел на урок. Мелкими шажками он боком, по крабам подходил к шкафу и вдруг коршуну бросился к нему. С блуждающей улыбкой он выхватывал из его пыльных глубин пирамиды и кубы, прямоугольники и параллелепипеды и дрожащей рукой стирал с них густую школьную пыль.

Девятый «А» я не слишком люблю. Брезгливые шобы, делающие мне одолжение уже своим присутствием. Но сегодня я они показались мне милыми.

— Сегодня объявляется однодневный мораторий на двойки в честь выдающегося события, только что происшедшего в нашей школе,—голосом Левитана сказал я.

— Какого? — заверещали девичьи девятые «А», славящиеся своим сорочным любопытством.

— Был открыт шкаф с математическими пособиями.

Девочки разочарованно хмыкнули. Конечно, они

бы предпочли объявление о помолвке Веры Викторовны и Семена Александровича, но, увы, этого я им предложить не мог.

Из школы я пошел домой пешком. Потеплело. Снег весь растаял, шел мельчайший дождь. Даже не дождь, а водяная пыль. И нигде она не шла, а висела в воздухе. Две малышки, пританцовывая, промчались мимо меня. С портфельчиками на спине, с косичками, висящими из-под шапочек. А почему бы и мне не пойти пританцовывающим шагом?

Я зашел в булочную, купил наш дневной хлебный рацион, захватил из овощного магазина пакет картофеля и дома принялся разогревать себе обед.

И вдруг снова гулька тишина в голове. Ожидание, что я не один. И что тот второй знает, что есть я. Неважно, знает ли он, что я и где я, но он знает, что я есть. Я в этом уверен так же, как и в том, что тот второй знает о Янтарной планете. Уверен, знаю.

Я посмотрел на часы. Уже четыре. В пять часов на комиссию должен прийти Павел Дмитриевич.

Я не стал мыть посуду и помчался в институт, где нам было выделено две комнаты.

— Павел Дмитриевич,—сказал я, когда он влетел в дверь ровно в пять ноль-ноль,—произошло еще одно событие.

Все повернулось ко мне, а председатель комиссии вкусно облизнулся, словно предвкушая что-то интересное.

— Что же, Юрий Михайлович?

— Сегодня я узнал, что на Земле есть еще один человек, который, как и я, принимает сигналы с Янтарной планеты.

— Где он? — Павел Дмитриевич сделал видимое усилие, чтобы не взлететь со стула вверх.

— Не знаю.

— Откуда же вам известно о его существовании? — Я получил сигнал. Я просто понял, узнал, что такой человек есть. Если вас интересует, я могу даже точно назвать вам время. Так... Это произошло на перемене между первым и вторым уроком, значит, было это примерно в девять двадцать, девять двадцать пять.

— Какого рода сигнал? — спросил Арам Сурунович и почему-то взглянул на Нину, сидевшую у окна.

— Не могу сказать вам точно. Такое ощущение... будто включили приемник, а на станцию не настроили. Тишина, которая таит в себе звук, так, что ли. Гулька тишина. И какая-то копошащаяся мысленка. Неясная, и сразу знание. Уверенность.

— Четкая? — застенчиво спросил биофизик Се-
нечка.

— Что четкая? Уверенность? Абсолютно. Как таблица умножения.

— А что, кто, где? — спросил Павел Дмитриевич. — Ничего не знаю. Знаю только, что такой человек существует, что он знает обо мне. И все.

— Ах, как было бы хорошо найти его! — вздохнул председатель комиссии. — Представьте же, что бы это значило? Если и этот человек получает информацию в форме сновидений и если эта информация совпадает с той, которую получает Юрий Михайлович, это значит, что отпадают последние сомнения в существовании такой информации.

— Мы бы посмотрели тогда, как записали бы скептики вроде Ногинцева! — мечтательно сказал Борис Константинович.

— Ногинцев писать не может, — сказал Павел Дмитриевич. — У него бас,

— Пускай пишит басом,—предложил Арам Су-
ренович и победно посмотрел на Нину.

— Мы смогли бы опубликовать свои работы,—
стыдливо пробормотал биофизик Сенечка и, чтобы
не видеть собственного смущения, снял свои зем-
ские очки в металлической оправе.

Почему я мысленно называл его очки земскими,
объяснить не могу. Земская управа, земский врач,
врач Чехов. Не знаю.

— Пока об этом не может быть и речи,—отру-
бил Павел Дмитриевич и поставил точку, стукнув
палкой об пол. Точка получилась мягкая, наконецник
на палке был резиновый.—Не может быть и речи!
Это было одним из условий при организации ко-
миссии, и я с ним полностью согласен. Вы пред-
ставляете, какой шум начался бы? Нашего Юру раз-
зорвали бы на кусочки. А он нам пока нужен це-
ликом... Послушайте, а то, что есть человек, знаю-
щий о Янтарной планете, и что этот человек знает
о вашем существовании, вам стало известно сразу?
— Нет. Сначала я узнал о его существовании, а
потом, уже около четырех часов, когда я соби-
рался выйти из дому, я получил второй сигнал.

— Характер тот же, что и утром?

— Вы имеете в виду субъективные ощущения?
Да. Такие же, как и утром.

— Будем надеяться, что Юра сможет уточнить
информацию. Это было бы просто замечательно...

— Ногинцев...— начал было Борис Константино-
вич, но Петелин оборвал его:

— Что-то я не пойму, друзья мои, чем мы здесь
заниматься. Выяснением, не осуществился ли первый
контакт с внеземной цивилизацией или утратим
носа уважаемому Валерию Николаевичу Ногинцеву?
— Одно не исключает другого, Павел Дмитрие-
вич,—сказал Арам Суренович.

— Вы правы, дорогой мой,—улыбнулся предсе-
датель комиссии.—Если в малом великое найти не-
легко, в великом малое, как правило, можно обна-
ружить без особого труда. Так, Борис Константино-
вич? Каргаген должен быть разрушен. Ногинцеву
должен быть утерт нос?

— Должен!—с яростной уверенностью мстителя
кивнул Борис Константинович.

— Ого, темперамент, однако, у вас! Не хотел бы
я быть на месте вашего директора института и
иметь такого сотрудника, как вы... Друзья мои, мне
кажется, что сегодня Юрия Михайловича нужно от-
пустить с миром. Может быть, в спокойной обста-
новке он быстрее получит какую-нибудь дополни-
тельную информацию о своем коллеге... Ах, как
было бы хорошо найти его! Мы только подумаем,
что бы это дало нам! Прямо дух захватывает, а у
меня, у старого хрыча, дух захватить нелегко, по-
верьте мне... Юрий Михайлович, если что-нибудь
прояснится, звоните мне тут же, в любое время су-
ток.

Глава 15

Почти две недели я ничего нового рассказать
Павлу Дмитриевичу не мог. В один прекрас-
ный вечер в начале декабря Вася Жигалин
завал нас поиграть в преферанс. Должен был
привести и Илья Плошкин.

На столе уже лежал расчерченный листок с ма-
гическими цифрами в центре: пукля до пятидеся-
ти, по одной копейке. Ганте успели смотреть по те-
левизору встречу по водному поло, а мы уселись
за круглый стол.

— Мужики,—вдруг сказала жена Васи,—а ведь
Юрочка обдерет нас как липку.

— Это почему ж?—спросил Илья.

— Да потому, что он читает наши мысли и знает
наши карты.

— Спасибо, мать,—растроганно сказал Вася,—
а у меня и из головы выскользнуло.

— Точно,—кивнул Илья.—Разденет. Он такой.
Олигофрены, они хитрые!

— Как хотите,—сказал я.—Я совсем забыл. Вы
же знаете, я начинаю читать мысли, только когда со-
средоточусь.

— Ну, конечно. А я вот прошлый раз сосре-
доточился, и мне аяпали четыре азиатки на мизере.

— Ты, мать, лучше не сосредотачивайся,—ласко-
во сказала Вася,—это к добру не приведет.

Валентина густо кашлянула, повела могучими
плечами, и Вася сразу сжался и затих.

— Ладно,—сказал я,—не хотите—не надо. Буду
нести свой тяжкий крест. Играйте, выигрывайте,
проигрывайте свои имена, погружайтесь в пучину
разрета, а мы с Галей поехали домой.

— Нет, вы с Галей не поедете домой. Галя будет
смотреть, как топят друг друга «Спартак» и «Дина-
мо», а ты спокойно, не спеша приготовишь
ужин.

— А полн натереть не нужно?—деловито спро-
сил я.—Или отщипывать? Я из тимуровской
команды...

И в этот момент я услышал уже знакомую мне
гулку, набухшую еще не родившимися звуками
тишины. Я замер и закрыл глаза.

— Юрка,—услышал я голос Ильи,—тебе плохо?
Скрипнул отодвигаемый стул. Я махнул рукой.

— Не обращаю на меня внимания. Все в поряд-
ке. Просто устал.

— Честно?—басом спросила Валентина.

— Честно, Валюша, не беспокоя.

Я снова закрыл глаза. Тишина все нарастала и на-
растала. Она гудела во мне, заполняла меня всего,
но никак не могла вылиться в слово, в образ, в
мысль, в знание.

И вдруг в голове у меня зажглась фраза.

Коротенькая английская фраза: «Спасибо, мисс
Каррадос». И гулка тишина в моей голове исчезла,
погасла, словно приемник выключили.

Мисс Каррадос. Что такое мисс Каррадос? Кто
такая мисс Каррадос? Связана ли она как-то с моим
двойником, к которому, как и ко мне, протянулась
с Янтарной планеты тонкая ниточка сновидений?

Тишина и ощущение ожидания были теми же, что
и тогда в школе, когда я сидел между шкафом и
скелетом. Но на этот раз я прочел фразу. Именно
прочел. А может быть, все это мне только почуди-
лось?

Ночью впервые за долгое время я видел вполне
земной сон. Мне снился какой-то заграничный го-
род. Я хотел догадаться, что это за город, но поче-
му-то не мог никого спросить.

Я шел по небольшой улочке и слышал английскую
речь, но понять, о чем говорят, не мог. И не по-
тому, что не понимал слова и фразы, а потому, что
они сливались. И я все старался расслышать,
что же все-таки говорят прохожие, и не мог. Я на-
прягался, вытягивал шею—и не мог разобрать
ничего.

Улочка, по которой я шел, была застроена одно-
и двухэтажными домиками. На одном из более
крупных зданий была вывеска. Я знал, что мне ее
обязательно нужно рассмотреть, но почему-то не
мог подойти поближе. На вывеске, небольшой мед-
ной табличке, как будто было слово «банк». Да,
четыре буквы. «Банк». Очень похоже на «банк». А

вот какой банк... Я даже мог пересчитать буквы. Их было семь, и первая... Первая была очень похожа на букву «к» в слове «Банк».

И больше я ничего не мог понять. Я проснулся с ощущением, что не сумел сделать того, что должен был. Я лежал в темноте, и незнакомая улочка, которую я только что видел, снова проплывала у меня перед глазами. Нет, это был не простой сон. Яркость картины, насыщенность деталями были такими же, как и янтарные сны. Но это была Земля. Люди говорили по-английски, я был в этом абсолютно уверен. Эх, если бы я мог прочитать название банка...

Павел Дмитриевич пришел в неопишемое волнение, когда я позвонил ему утром. Голос его дрожал от возбуждения.

— Приезжайте к десяти, — сказал он.

— Павел Дмитриевич, — возмолвил я, — меня выгонят из школы. Меня уже вызвала директриса.

— Я возьму вас в свой институт. Старшим лаборантом.

— Спасибо, Павел Дмитриевич. Меня уже звали лаборантом, сторожем и завхозом. Но я хочу преподавать английский язык. Или в крайнем случае циклевать полы.

— Вы будете циклевать полы в моем институте. Вам их хватит на всю жизнь. А вообще-то... Знаете что, так, пожалуй, даже будет лучше. Банк. Кто все знает заграничные банки, как когда-то говорили в Одессе? Финансисты. Это мысль. В четыре часа.

Я пришел без десяти четыре, а без двух минут четыре в комнату ворвался Павел Дмитриевич, погоняя перед собой вальяжного молодого мужчину с элегантным плоским чемоданчиком в руках. На пухлом, гладком лице его застыло изумление.

— Это товарищ Рыженков, — сказал Павел Дмитриевич. — Я выкрал его прямо с работы.

Выкраденный Рыженков виновато улыбнулся. Должно быть, он не привык иметь дело с людьми типа Павла Дмитриевича.

— Товарищ Рыженков постарается помочь нам в определении национальной принадлежности банка, который видел Юрий Михайлович.

Товарищ Рыженков вытащил сигареты и вопросительно посмотрел на Павла Дмитриевича.

— Никаких сигарет, дорогой... как вас прикажете величать? А то «товарищ Рыженков» слишком официально.

— Никита Алексеевич.

— Так вот, дорогой Никита Алексеевич, спрячьте ваши сигареты. Курить будете, когда определите банк. И чем быстрее определите, тем быстрее закурите. Такой стимул вас устроит? Наполеон, как известно, запрещал своим помощникам ходить в уборную, пока они не управятся. Я не Наполеон и занял туалет табаком.

Специалист по банкам несмело улыбнулся. Он никак не мог понять, куда он попал и что от него хотят. Он спрятал сигареты в карман и сплел перед собой пальцы рук, изображая готовность и внимание. Руки у него были такими же чистыми и пухлыми, как и лицо. И обручальное граненое кольцо тоже было новеньким и блестящим.

— Ну-с, начнем, друзья мои. Никита Алексеевич, вы эксперт. Берите бразды правления в свои руки. Задавайте вопросы. Юрий Михайлович опишет вам все, что смог увидеть.

Эксперт слегка развел руками. Жест извинения.

— Ну, что ж, начнем, как говорится, с самого начала. Юрий Михайлович, о какой стране идет речь?

— Это-то мы как раз и пытаемся выяснить, — сказал Павел Дмитриевич.

— Простите... гм... — На лице специалиста по банкам появилось удивленное выражение. — Я понял, что... Юрий Михайлович видел какой-то банк...

— Совершенно верно, — сказал Павел Дмитриевич, сердито пристукивая по полу палкой и нетерпеливо задержавшись на своем стуле. — вот-вот взлетит. — Я вам об этом уже говорил.

— Я понимаю, я понимаю, — торопливо кивнул Никита Алексеевич, и было видно, что он привык бывать на совещаниях, где лучше всего было соглашаться во всем.

— Прежде всего речь идет о стране, в которой говорят по-английски, — сказал я.

Никита Алексеевич что-то записал в такой же аккуратной и пухлой книжке-то, как весь он.

— Я видел медную табличку. Слово «Банк» я смог рассмотреть, а вот само название...

— Вы входили в банк?

— Юрий Михайлович... гм... не совсем был там, — сказал Павел Дмитриевич. — Я думаю, не в этом дело, и мы не будем этим заниматься.

— Я понимаю, понимаю, — закивал эксперт. Удивительное дело, как только он окончательно потерял всякое представление, что происходит, он успокоился, и на розовом его личике появилось деловое, будничное выражение.

— Само слово «Банк» было написано по-английски? Вы знаете английский?

— Да. Безусловно по-английски. Би-эй-эн-кей.

— Понятно. А сколько слов до или после слова «Банк»?

— Одно слово перед словом «Банк».

— Одно? Без артикля в самом начале?

— Без. Я насчитал в нем семь букв. Так по крайней мере мне показалось.

— Понимаю, понимаю. Английский язык. Семь букв... — Никита Алексеевич закрыл глаза. Губы его что-то беззвучно шептали.

— Я не уверен на сто процентов, — сказал я, — но мне показалось, что первая буква первого слова похожа на последнюю букву слова «Банк». То есть английское «кей». Теперь, когда мы заговорили об этом, мне даже кажется, я понимаю, почему обратил внимание именно на букву «кей».

— Почему же? — спросил эксперт.

— У нее в обоих случаях была очень высокая вертикальная палочка.

— Понимаю, понимаю, — кивнул эксперт, полез в карман и вытащил сигареты.

— Мы же договорились, молодой человек, — сердито сказал Павел Дмитриевич.

— Да, да, конечно, — поспешно согласился Никита Алексеевич, но сигареты не убрал и даже вытащил из пачки сигарету, выбив ее элегантным щелчком. — Киферс. Банк Киферс. Средний провинциальный банк в Шервуде. Капитал на первое января прошлого года составлял двести двенадцать миллионов. Сорок два отделения. Президент Джеймс Перси Алпейн.

— Шервуд? — переспросил Павел Дмитриевич.

— Шервуд, — кивнул Никита Алексеевич. — Вы разрешите?

— Что?

— Курить?

— Конечно, о чем вы говорите... А вы в этом уверены?

На пухлом лице эксперта промелькнула едва заметная улыбка превосходства.

— Вполне.

— В слове «Киферс» шесть букв, а не семь... Хотя, может быть, после «кей» идут две буквы «дабл и»?

— Совершенно верно.



Павел Дмитриевич взлетел со своего места, позвал руку эксперта и выпроводил его из комнаты.

— А знаете, Юрий Михайлович, я даже рад, что ваша мисс Каррадож живет в Шервуде. У меня там есть коллега, с которым у меня недурные отношения. Я был у него дважды. В прошлом году он приезжал в Москву. Старик чудак, но честен и услужлив. Гм... конечно, просьба моя должна будет показаться ему безумной. Узнать, не проводят ли в Шервуде экспериментов с некой мисс Каррадож по установлению контактов с внеземной цивилизацией. Гм... Но, с другой стороны, если действительно такие эксперименты проводят, без него не обойтись. Он такой...

— А если мисс Каррадож действительно существует, но никаких опытов никто с ней не проводит? — спросил я испуганно. Я поймал себя на том, что уже начинаю волноваться за судьбу мисс Каррадож.

— Тогда старик Хамберт ответит мне, что я рехнулся.

— А сколько лет вашему Хамберту?

— Он всем говорит, что семьдесят четыре, но, по-моему, ему сильно за восемьдесят. Сильно. Сумасшедший старик, но дело с ним иметь — одно удовольствие.

Через три недели, когда я начал уже потихоньку забывать о мисс Каррадож и банке Киферс, во время урока дверь класса приоткрылась, и в щель просунулась совсем детская мордочка.

— Простите, — пропищала мордочка. — Вы Юрий Михайлович?

— Я, прелестное дитя. А ты кто?

— Я Шлыкано Сережа. Вера Викторовна велела вам срочно прийти к ней в кабинет.

Мордочка исчезла, а я посмотрел на ребят.

— Ребята, чтоб без шума. Идет?

— Идет, Юрий Михайлович, — довольно загалдели ребята, — только вы не торопитесь...

— Здравствуйте, Вера Викторовна, — сказал я, входя к ней в кабинет.

— Добрый день, — сурово сказала она. — Садитесь и пишите.

— Уже?

— Что уже?

— Заявление об уходе?

— Не понимаю ваших шуток, Юрий Михайлович.

Садитесь и пишите заявление о том, что просите отпуск на месяц без сохранения заработной платы.

— Я?

— Вы.

— А зачем?

— А вы ничего не знаете?

— Нет.

— Действительно не знаете?

— Нет.

— Мне позвонил академик Петелин и сказал, что вы вам срочно оформили отпуск на месяц и дали характеристику для выезда за границу.

— Мне?

— Вам. Я решила, что все это глупые шутки. Что-бы академик Петелин звонил к нам в школу...

Я извинилась на всякий случай и сказала, что на основании только телефонного звонка не могу и так далее. Этот человек начал кричать и бросил трубку. Через пятнадцать минут позвонили из райкома. Сама Клавдия Васильевна. И повторила просьбу насчет вашего отпуска. А потом — из райкома. Насчет характеристики. Чтобы сегодня же привезли им. Я, конечно, сказала, что не возражаю... Но в середине учебного года...

— Клянусь, Вера Викторовна, это не моя инициатива. Я, конечно, догадываюсь, о чем идет речь, но я и думать не могу...

Вера Викторовна посмотрела на меня неодобрительно, но с уважением.

— А что все это значит? — спросила она.

— Да так... Гм... Ну, как вам сказать?.. Понимаете, просто подвернулась туристская поездка...

— И поэтому звонят из райкома, чтобы мы сегодня же привезли им вашу характеристику? Юрий Михайлович, может быть, кое-кто в школе считает меня человеком несовершенным... — Вера Викторовна обиженно поджала губы. — Но я не настолько глупа, чтобы ничего не понимать. Что же делать, поезжайте и старайтесь не уронить честь нашей школы.

Повинуясь какому-то импульсу, я взяла руку Веры Викторовны в свою, нагнулся и поцеловал.

Она посмотрела на меня безумным взглядом. Она было открыла рот, чтобы что-то сказать, но тут же снова закрыла его.

Веселый, сумасшедший вихрь подхватил меня. Я ничего не боялся. Все было возможно.

— Вера Викторовна, — пропел я, — я люблю вас, потому что вы замечательная женщина.

Когда я, пританцовывая, выпрыгивал из ее кабинета, я заметил, что директриса изо всех сил трет себе ладонью лоб.

Глава 16

Я позвонил Павлу Дмитриевичу, и, когда он ответил, трубка ударила меня током — так он был заряжен.

— Немедленно! — кричал он. — Все документы мне!

— Какие документы?

— Приезжайте, заполните все на месте. Мы летим послезавтра. До свидания, мне некогда.

— ...Мы летим послезавтра, мы летим послезавтра, мы летим послезавтра, — повторял я, как пластинка со сбитой бороздкой. — Мы летим послезавтра.

На мгновение мне стало стыдно. Я сяду в самолет, изображая на своем лице равнодушие много повидавшего путешественника, а Галя останется здесь. И Нина останется здесь. И Илья, и Вася, и Валентина. И Вера Викторовна, и Семен Александрович.

Хотя Семен Александрович сейчас все равно не смог бы расстаться с только что открытым своим шкафом...

Я позвонил Нине.

Да, конечно, она знает. Да, конечно, она желает нам успеха.

— Нина, — сказал я, — в шесть часов у выхода. Можно, я вас подожду?

— Нет, Юра, не нужно.

— Почему?

— Не нужно.

— Но почему? Я хочу попрощаться с вами.

— Не нужно, милый Юрочка, вы очень хороший человек, и вы будете чувствовать себя неловко, потому что уезжаете, а я остаюсь. Потому что вы переполнены предстоящей поездкой, а я в вашем представлении остаюсь в печали и одиночестве. И, наконец, вам будет неудобно, потому что вы чувствуете какие-то несуществующие обязательства по отношению ко мне. — Нина вдруг рассмеялась. — Я

права? Вот видите, а то только вы читаете мои мысли.

— Нина, я...

— Не нужно, Юрочка. Вы милый, а поэтому молчите. И всего вам наилучшего. Мы все уверены, что все будет хорошо.

Я помчался в институт к Павлу Дмитриевичу. Самого его не было, но степенная секретарша удивительно домашнего вида достала из стола папку и протянула ее мне.

— Павел Дмитриевич просил, чтобы вы все заполнили. Садитесь вот здесь.

Только я успел написать свой год рождения, как вихрем влетел Павел Дмитриевич. Седые его волосы стояли дыбом. Мелкие предметы кружились вокруг него. Он втянул меня в свой кабинет.

— Старик Хамберт нашел-таки мне мисс Каррадо. Ему это было нетрудно. Он сам принимает участие в опытах с ней. Финансирует фонд Капра. И у них ресурс пока не сообщать ни слова. Хамберт нисколько, оказывается, не был удивлен. Лина Каррадо тоже узнала о нашем существовании.

— А почему мы едем туда, а не они к нам?

— Потому что мисс Каррадо наотрез отказалась. У нее тяжело больная мать. Поэтому они пригласили нас. Вот уже билеты.— Павел Дмитриевич вытащил из кармана две длинненькие книжечки с красным флажком Аэрофлота.— Никто не мог бы добиться разрешения на нашу поездку за такой срок. Только старик Петелин. Каково, а?— Павел Дмитриевич нескромно засмеялся.— Всесоюзный рекорд! И знаете, Юра, почему люди идут мне навстречу? Не знаете? Я открою вам свой профессиональный секрет. Я требую настолько невозможные вещи, что люди просто поражаются. Поражаются и в состоянии транса делают. Вы представляете, что значит получить за три дня все разрешения, документы и даже визы в посольство? А-а, то-то. Чиновник в посольстве настолько был изумлен, что раз пять переспросил меня, когда мы едем. «Да,— говорит он,— наши страны, конечно, сотрудничают, у нас много совместных научных программ, но чтобы оформить визы за трое суток— это неслыханно». «Ладно,— сказал я ему,— так и быть. Я согласен не на трое суток, а на двое. И учтите,— говорю я ему,— что вы становитесь на пути научных контактов, и мистер Хамберт, и фонд Капра, и вся ваша наука, не говоря уже о нашей, вам не простят, и вы никогда не будете избраны почетным академиком за заслуги в области быстрого оформления виз ученым». И знаете, Юра, за сколько хитрец оформил визы? За сутки. А сейчас не мешайте, у меня тысяча дел.

— Я вам не мешаю, Павел Дмитриевич, это вы учили меня, как жить вообще и добывать визы в посольстве в частности.

— Юрий Михайлович,— строго сказал Петелин,— в моем возрасте трудно переучиваться, а поэтому приходится всегда считать себя правым. Это удобнее, дорогой мой.

— Вы меня разражаете, Павел Дмитриевич,— совершенно серьезно сказал я, продолжая играть роль безбашенного и наивного правдолюбца,— вы учите меня цинизму.

— Ах, Юра, Юра... Ваше счастье, что ваши друзья с Янтарной планеты выбрали почему-то именно вас. А то сколько есть молодых и не очень молодых людей, которые не спорят со старыми академиками, а соглашаются сразу, всегда и во всем.

— Я постарюсь,— сказал я и виновато повесил голову.

— То-то же. А сейчас выматывайтесь, мой юный друг, и не мешайте мне. На этот раз я не шучу...

— Жена,— сказала я Гале, как только она вошла в квартиру.— Я должен покинуть тебя. Послезавтра я улетаю.

— Ну-ну, хлеб купил или мне сходить?

— Я серьезно. Послезавтра я улетаю с академиком Петелиным в Шервуд.

Гала замерла на мгновение. Она наполовину сила пальто, и оно висело у нее на одном плече. Обрадуется или обидится, что без нее?

— Ты шутишь.

— Нет. Честно.

Прыжком в длину с места Гала бросилась мне на шею. Пальто, развеваясь, полетело за ней вдогонку. Поцелуй с разгона был стремителен и точен. Она пошла мне прямо в нос.

— Юрка, правда?

— А ты все говорила, что я тюфяк и не умею ухаживать. Кто завел блат на Янтарной планете? Юрий Михайлович Чернов. Всех обошел. Тихий-тихий, а как до дела — пожалуйста, вот он я.

— И ты прямо полетишь в Шервуд?

— А как ты хотела,— важно сказал я,— через Сокольники?

— Ой, Юрочка, это же... это же...

— Конечно, это же.

— А что привезешь? Пончо ярко-синее. Замшевый брючный костюм...

— Пончо, а может быть, и ранчо.

— Ты все смеешься.

— Это я от серьезности. Смех — признак подлинной серьезности.

— Не болтай, Юрка... Как я за тебя рада, дурачок ты мой...

«Маленькая, глупая Люша,— подумал я,— как я мог только представить, что смогу жить без тебя».

— Люш, я понимаю, как тебе захочется завтра же так небрежно бросить между делом в институте: «Мой Юра обещал привезти мне из Шервуда пончо. Знаете, девки, на Западе сейчас женщины просто помешаны на пончо. Практически не выезжают из него. Даже ночью». Так вот, к сожалению, тебе придется пока обождать с балладой о пончо.

— Почему?

— Потому что в Шервуде, как и у нас, решено пока не разглашать опыты. И едем мы с Петелиным по частному приглашению профессора Хамберта. Петелин — в качестве Петелина, я — в качестве его переводчика.

В глубине души я все-таки не верил, что мы летим. Не верил даже тогда, когда мы ехали с Галей в Шереметьево. Не верил, когда увидели на Ленинградском шоссе огромный указатель «Шереметьево-1», не верил, когда на дороге замелькали рекламные щиты Внешторга, не верил, когда наше такси остановилось около длинной машины с дипломатическим номером, из которой вылезла сказочной красоты негритянка в расшитой дубленке.

И только в самом аэропорту я начал подозревать, что, может быть, все это реальность, а не фантазия.

Петелина еще не было, и мы стояли около газетного киоска и молчали, потому что говорить нам об этом не хотелось.

Смуглая женщина вела за собой целый выводок смуглых ребятшек. Они шли за ней, как гусата, торпливо переваливаясь на коротких ножках. Последний, самый маленький, тащил на веревочке зеленого крокодила на колесиках. Крокодил, чем-то неуловимо напоминавший крокодила Гену, то и дело переворачивался на спину, и мне стало жалко его.

Молодая красивая женщина держала на руках одетую в шубку девочку, наклоняя ее к дипломатического вида мужчине, по всей видимости, отцу. Девочка, однако, дипломата целовать не хотела, а порывалась броситься за поднявшим вверх колесики крокодилом.

Напротив нас стояла группа наших спортсменов. Все были молоды, загорелы — наверное, прямо со сборов где-нибудь в Сухуми, — все в одинаковых синих пальто, и все смеялись. Наверное, рассказывали анекдоты.

Я вдруг почувствовал себя старым, мудрым и печальным. Впрочем, печаль моя была легка и тут же упорхнула, потому что, напоминая о себе, мы летим с Павлом Дмитриевичем в Шервуд и потому что мимо нас шли две стюардессы неземной элегантности и красоты и несли с собой обещание новых стран и новых впечатлений.

— Юрка, — сказала Галя, — если ты будешь так смотреть на всех красивых женщин, ты заставишь плакать маленьких детей.

— Почему?

— Потому что у тебя отваливается челюсть, и ты становишься похож на паралитика.

— Ладно, — сказал я со вздохом. — Не буду. Не хочу быть паралитиком.

— Что не будешь? Смотреть?

— Нет, открывать рот. А вот и Павел Дмитриевич идет.

Петелин стремительно надвигался на нас в сопровождении молодой женщины и мужчины лет сорока шоферского обличья.

— Неужели это жена? — успела шепнуть Галя.

— По-моему, жена и шофер.

Мы начали здороваться, и Павел Дмитриевич сказал:

— Знакомьтесь. Это моя внучка Леночка, а это ее папа и, стало быть, мой сын Владимир Павлович.

В этот момент страстный женский голос, усиленный динамиками, интимно прошептал на весь зал, что начинается регистрация пассажиров, вылетающих в Шервуд. Это было удивительно. И время вылета совпадало с тем, что было указано в наших аэрофлотских билетах в виде книжечек, и номер рейса. Мираж не исчезал. Динамики прошептали все тот же призыв, теперь уже по-английски, и поблагодарили в конце с таким трепетом в голосе, что челюсть моя снова отвалилась бы, если бы не жена рядом со мной.

Мы попрощались легко и весело, как подобает старым путешественникам, слегка усталым глобнотерам, исколесившим, излетавшим и истоптавшим весь земной шар. Рио-де-Жанейро? Что вы, разве это интересно? Вот на прошлой неделе в Дар-эс-Саламе я...

Молодецкий пограничник, пахнувший одеколоном, внимательно рассмотрел наши паспорта, потом улыбнулся и открыл турникет. Ветер дальних странствий уже гудел в моей голове, и она, моя бедная голова, кружилась оттого, что я напугал на себя серьезный и небрежный вид. Если бы они только знали, что я лечу за границу первый раз в жизни и мне хочется визжать от возбуждения и теленком носиться по залу ожидания...

Мое место в огромном здании «ИЛЕ» оказалось у самого окна, и я снова поблагодарил судьбу, потому что я люблю смотреть из окошка самолета. Мы взлетели, и белесая облака внизу казались такими плотными, такими похожими на огромную заснеженную равнину, что я начал искать глазами лыжников. Не может быть, чтобы в такой погожий день по такому свежему снежку, вобравшему в себя розоватость

от зимнего солнца, не тянулись цепочки лыжников. Но лыжников не было.

Над вытянутым овальным окошком я заметил кающую-то ручку и слегка нажал на нее. Опустился синяя пластмассовая шторка, и снежная долина под нами окрасилась в густо-голубой цвет.

Погасли транспаранты с вечным наказом не курить и застегнуть привязные ремни. Павел Дмитриевич вытащил из кармана сигареты и предложил мне одну.

— Вы знаете, Юра, — сказал он, — я уже давно нигде не стремился с таким нетерпением, как сейчас в Шервуд. И знаете, почему? Мне не терпится познакомиться с тем, что они узнали о нашем народе У. Что это за цивилизация, на каком уровне развития они находятся? А то ведь ваши рассказы словно подернуты дымкой какой-то... Вы не обижаетесь?

Я сказал, что не обижаясь, и посмотрел на часы. Одиннадцать часов утра. Вот-вот начнется перемена после третьего урока. Мария Константиновна смотрит в одну из своих крохотных записных книжечек и зоркими глазами профгора высматривает злостных неплательщиков профзаносов. Семен Александрович не спускает взгляда с обретенных сокровищ открытого мной шкафа. А кто же, интересно, сидит на моем месте рядом с нашим милым старым скелетом? И кто пытается перемножить в уме цифры на старом добром инвентарном номерке? И справляется ли Раечка с моими головоломками? И не отвергнет ли прекрасная Алла Владимировна дружбу проснувшегося Сергея Антошина?

Я, должно быть, вздохнул так озабоченно, что Павел Дмитриевич бросил на меня усталый взгляд и спросил:

— Что, Юрий Михайлович, так тяжело вздыхаете? Устали от жизни?

— Нет...

— И зря. Надо устать от жизни смолodu, а потом уже отдыхать. Вот я, например...

Я засмеялся.

— Что вы смеетесь?

— Это вы-то отдыхаете?

— А почему нет? — обычно спросил Павел Дмитриевич. — Вот сейчас, например...

— Сейчас вы привязаны к креслу... По-моему, это единственный способ удержать вас на месте.

— Смотрите, Юрий Михайлович, я ведь могу и не брать вас старшим лаборантом. Почтительности в вас мало.

— А я из школы уходить не собираюсь.

— Как же вас там терпят? Учителя тем более должны быть почтительны к начальству.

— С трудом, наверное, терпят...

Павел Дмитриевич задумчиво сморщил нос и сказал:

— Юра, а почему все-таки вы мне так нравитесь? Это же противоестественно. Вы недостаточно почтительны, спорите, дерзки, независимы в суждениях, и из-за вас происходит одно из крупнейших событий в жизни человечества. А у меня в институте столько молодых людей, которые так прекрасно почтительны, с таким искренним жаром уверяют меня, что я всегда прав, и суждения и мнения которых всегда странным образом совпадают с моими.

Я захихикал, и Петелин сказал:

— Вот видите, и смех у вас несолидный. И дым вы выпускаете кольцами, а я не могу. Всю жизнь пытался научиться — и не смог. Может быть, я и академиком стал, чтобы хоть как-то компенсировать этот недостаток. А у вас, погляньте, какие кольца. Изумительные, первосортные, в экспортном исполнении.

Мне захотелось утешить старика.

— Павел Дмитриевич, вы не огорчайтесь. У меня тоже есть недостатки. Один мой близкий друг твердо установил, что я олигофрен.

— Олигофрен — это слишком общее понятие. — Павел Дмитриевич с интересом посмотрел на меня. — А точнее диагноз он не поставил?

— Как же, поставил. Он нашел у меня симптомы идиотии, общей дементности, дебильности и имбецильности.

— Очень, очень интересно. А кто ваш друг по профессии?

— Вообще-то он филолог, но работает в области технической информации.

— Передайте ему, что у него прекрасный глаз. Павел Дмитриевич подмигнул мне и засмеялся. Удивительное дело, подумал я, почему судьба посылает мне таких замечательных людей? Чем я заслужил это?

Ответа на свой вопрос найти я не успел, потому что мысли мои начали разбредаться по сторонам, спотыкаться, останавливаться. С минуту или две я не мог сообразить, бодрствую я или сплю, но когда я увидел Илью, летевшего рядом с самолетом и заговорщически подмигивавшего мне, я решил, что все-таки сплю, и со спокойной совестью опустил голову на грудь.

Разбудил меня Павел Дмитриевич.

— Теперь я понимаю, почему они выбрали для Контакта именно вас, — сказал он с легчайшим намеком на иронию, — вы спите, как сурок.

— Я едва прикрыл глаза, — обиделся я и принял ся тайком растирать замлевшую ногу.

— На три с лишним часа...

— Значит, скоро Шервуд?

— Над Шервудом бушует циклон, и аэропорт наружно закрыт туманом. Мы садимся в Глендейле. И похоже, что мы просидим там сутки, а то и двое.

Как всегда, Павел Дмитриевич оказался прав. Мы проторчали в Глендейле ровно двое суток, пока циклоном не надоело крутиться на одном месте над Шервудом и он благополучно не отбыл по своим делам.

Мы сидели в маленьком номере в гостинице, и я неторопливо читал увестистую газету «Глендейл геральд». В газете было сорок восемь страниц, и я рассчитал, что даже самый упорный циклон прекратится к странице тридцатой.

Сейчас я находился на третьей странице и читал о перспективах очередного повышения цен на нефть. Потом перешел к биржевым прогнозам. Перспективы были не очень блестящие, но они меня не расстроили. Не скрою, я даже испытал легкое злорадство, которое, наверное, испытывают все, у кого нет акций, когда читают, что те падают в цене.

Под биржевыми прогнозами почему-то была изображена молодая особа в лифчике. Ни сама особа, которая не блистала красотой, ни ее лифчик меня не заинтересовали, и я уже совсем было собрался перебраться на четвертую страницу, как вдруг почувствовал, что не могу этого сделать. Что-то слегка царапало мое внимание. Я скользнул глазами по газетной полосе. Нет, это безусловно была не нефть, не биржа. И тут я почувствовал, что начинаю быстро моргать глазами, как старая собака. Над девчонкой в лифчике было написано: «Бюстгалтеры «Контакт» льстят вайшей фигуре и не стесняются движений! Мисс Лина Каррадо, участвующая в опытах профессора Хамберта по установлению контактов с внеземными

цивилизациями, говорит, что бюстгалтеры «Контакта» дают ей ощущение космической невесомости».

Я протянул газету Павлу Дмитриевичу. Он надел очки и дважды прочел рекламу.

— Да, — сказал он, — ощущение невесомости...

Мы снова летели над белыми облаками, но мне почему-то уже не верилось, что вот-вот на снежной равнине покажутся лыжи.

Внезапно я услышал в себе уже ставшую для меня привычной гулкую тишину. Но на этот раз тишина не росла и не набухала медленно, как почка. Почти сразу она лопнула, схлынула, оставив мне сознание, что этой девушки, мисс Каррадо, больше нет. Мы разделились. Мой мозг еще не мог переварить это знание, а сердце уже сжималось, и в груди мгновенно образовалась холодная, сосущая пустота.

Чепуха, сказал я сам себе, пытаюсь остановить надвигавшуюся панику, типичная истерия. Но слова были жалкими и беспомощными.

Должно быть, Павел Дмитриевич задремал, потому что, когда я коснулся его руки, он вздрогнул.

— Павел Дмитриевич, — прошептал я торопливо, чтобы ком не заткнул мне горло, — я ее больше не чувствую...

— Кто? — круто повернулся он ко мне, но глаза его уже знали.

— Каррадо.

— Точно?

— Да. Как будто она вдруг исчезла... Сразу, навсегда... Наверное, ее нет в живых...

— Космическая невесомость... Когда это случилось?

— Не знаю. Я почувствовал это только сейчас.

Павел Дмитриевич несколько раз качнул головой, откинулся на спинку кресла и пробормotal:

— Да...

Он сразу постарел на моих глазах, и белый загорный хохолок на его голове поник.

— Значит, наша поездка бессмысленна? — спросил я.

Детская привычка задавать взрослым вопросы, на которые заранее знаешь ответы. Детская привычка ждать от взрослых чуда. Чуда быть не могло. Каррадо не было, и поездка наша, едва начавшись, потеряла всякий смысл.

Павел Дмитриевич говорил о том, что я, возможно, ошибаюсь, что все равно остались хоть какие-нибудь материалы, а я думал о девушке в лифчике, который льстит фигуре, не стесняя при этом движений... Это же абсурдно. Смерть абсурдна, она нелепа, противоестественна. Был живой человек, и к нему протянулась ниточка сношений с далекой планеты. И вот человека нет. И конец ниточки повиснет беспомощно. И исчезнет.

А если бы ей и не снилась Янтарная планета? Разве смерть от этого становится менее абсурдна? Что должны испытывать сейчас ее мать, отец? А может быть, у нее был жених?

Я, наверное, задремал, потому что вдруг испуганно вздрогнул. Я посмотрел на Павла Дмитриевича. Он устал был в какую-то книгу, но я видел, что он не читает. О чем он думает сейчас? Я вдруг почувствовал, что должен знать, о чем он думает. А может быть, не столько знать, о чем он думает, сколько проверить, могу ли я по-прежнему слышать чужие мысли.

Я сосредоточился, ожидая, призывая к себе шорох чужих слов. Но шороха не было. Не было звука чужих мыслей. Были лишь мои собственные беззвучные

мысли, которые испуганно бились в голове летучих мышами.

Нет, не нужны мне были чужие мысли, ни разу не получил я удовольствия, подслушивая бесплотное бормотание в чужих черепных коробках. Да и не вспоминал почти о своих способностях, пока не возникла в них нужда. Но это был инструмент, было оружие в борьбе за признание Янтарной планеты, за реальность Контакта. Да, это было не мое оружие, не я выковылывал его. Мне его дали, и я отвечал за него. Конечно, я не мог потерять это оружие сам. Это чужь. И все-таки в чем-то я был виноват.

Попробовать еще раз. Не спеша. Спокойно. Расслабиться. Не думать ни о чем. И как следует послушаться. Жестяный шорох сухих листьев. Сейчас он зазвучит в моей голове.

Но он не звучал. Я ничего не слышал. Ничего. Я протянул было руку, чтобы коснуться руки Павла Дмитриевича и сказать ему о новой потере, но удержался в последнюю секунду. Мне было жаль его. Удар за ударом. И в обоих случаях я был вестником несчастья. Да и что это меняло? Не повернуть же огромный «ИЛ» с полутора сотнями пассажиров обратно только потому, что учитель английского языка Юрий Михайлович Чернов потерял свою странную способность слышать чужие мысли? Способность, которая и существовать-то по всем правилам науки не могла.

Две стюардессы, две прекрасные шереметьевские богини, разносили на пластмассовых подносах элегантную международную еду. На их пластмассовых лицах были коректные международные улыбки.

Я засыпал, просыпался, снова засыпал, а в сердце все торчала заноза.

Наконец нас снова попросили не курить и застегнуть привязные ремни, горизонт встал дыбом, и самолет начал снижаться.

Глава 17

Профессор Хамберт оказался точно таким, как я его представлял: высокий, сутулый, по-стариковски изящный. Он еще издала помахал нам рукой. Лицо его было серьезно, и я понял, что, к сожалению, не ошибся.

— Добрый день, Хью,— сказал Павел Дмитриевич.

— Добрый день, Пол,— попробовал улыбнуться профессор Хамберт, но улыбки не получилось.— Как дела?

— Отлично. Познакомьтесь с Юрием Черновым. — Очень рад,— пожал мою руку профессор. Кожа его руки была суха, морщиниста и прохладна.

— Очень рад,— сказал я.

Пока, к своему некоторому удивлению, я понимал, что говорит профессор.

— Почему Павел Дмитриевич не спрашивает о Лине Каррадос?— подумал я.— Может быть спросить мне? Я бросил быстрый взгляд на Петелина, но он незаметно покачал головой.

Мы прошли к нескольким металлическим кругам, похожим на аттракцион «колесо смеха». Но на колесе были не люди, а чемоданы. Хамберт спрашивал Павла Дмитриевича о ком-то, чьи имена были мне незнакомы, и вдруг я подумал, что, может быть, все-таки ошибся и мисс Каррадос жива. Но я сам не верил себе. Ее не было. В голову мне вдруг забралась совсем суетная мыслишка, что я бы на месте Павла Дмитриевича уже давно спросил старика про мисс Каррадос, а он вот не спрашивает.

Мы выловили с вращающихся колес свои чемоданы, прошли мимо обидно равнодушных таможенников и вышли на улицу. Здесь было теплее, чем в Москве, снега не было. Господи, вот я и в Червуде, а где же желание прыгать теленком, что переполняло меня в Шереметьеве?

Мы уложили чемоданы в багажник машины, профессор Хамберт сел за руль, повернул ключ зажигания и, прислушавшись к бульканью двигателя, вдруг сказал:

— Пол, я был бы рад еще оттянуть то, что должен вам сказать, но вряд ли это изменит что-нибудь... Профессор вздохнул прерывисто, как обиженный ребенок, и посмотрел на нас. Черепашьи морщинистые веки прикрыли его глаза. А вдруг он не сможет их больше поднять, подумал я. Но он медленно, с усилием поднял веки. В глазах тлело недоумение.— Почему, почему это должно было случиться?— сказал он.— Простите, я даже не сказал вам, что, собственно, произошло...

— Мы все знаем,— в свою очередь, вздохнул Павел Дмитриевич. То ли из-за его акцента, то ли потому, что по-английски он говорил медленнее, чем по-русски, слова его прозвучали особенно кротко и участливо.— Когда она умерла?

— Умерла? Кто сказал, что она умерла? Она жива и, к сожалению, чересчур жива... Я думал, что мистер Чернов...

Мистер Чернов. Это я. Надо привыкать. Машина плавно набирала скорость.

Мистер Чернов еще в самолете почувствовал, что с вашей помощью что-то случилось,— поспешил на мою защиту Павел Дмитриевич, и я понял, за что его любят сотрудники.

Старик, не оборачиваясь, пожал плечами, и его пальто сморщилось на спине.

В последние дни,— сказал он,— Линины сны стали терять яркость. А во вчерашнюю и позавчерашнюю ночь снов не было вообще. Сегодня она лишилась своих телепатических способностей и сказала, что потеряла все... Все кончено.

— Может быть, не надо торопиться, Хью?— сказал Павел Дмитриевич.

— Если бы мне было хотя бы лет на двадцать меньше, я мог бы позволить себе не торопиться. В моем возрасте это непозволительная роскошь. Простите, Пол... Когда я узнал, что вы согласились приехать к нам, я сказал Марте: «Приедет Пол, и все вокруг него завертится, как в вихре. Как тогда в Москве, когда он нас чуть не замучил своим гостеприимством и своей энергией...»

— Я не спросил, как поживает Марта.

— О, она здорова, насколько можно быть здоровым в нашем возрасте. И знаете, Пол, что она сказала? Она сказала, что приготовит в день вашего приезда истинно русский обед для вас. И вот...

Профессор Хамберт замолчал. Стикла была поднаты, в салоне было тепло и тихо.

Мы молчали. Я смотрел на спину Хамберта. Возраст профессора выдавала его шея. Ему, наверное, действительно было много лет, потому что шея была похожа на черепашью, только вылезала не из панциря, а из темно-серого тяжелого пальто.

— Вы простите меня, друзья,— вдруг сказал профессор, не отрывая взгляда от дороги,— что я молчу. Но я никак не могу прийти в себя. Я никогда в жизни не испытывал такого разочарования и такого презрения к людям. Вы знаете, почему они прервали Контакт?

Мы молчали.

— Потому что Лина и мои коллеги продали его. Да, продали!— Голос профессора стал высоким, почти крикливым.— Я просил их всех: не сообщайте по-



ка никому о нашей работе, не давайте интервью, не поддавайтесь коммерческим соблазнам. Куда там!.. Попробуйте внушить меням из храма мысль о благораздании... Как только газеты и телевидение проникли о нашей работе, мои сотрудники и Лина слово забесились. В течение двух дней они раздавали самые нелепые интервью налево и направо. Они кинулись на соблазны известности, как голодные окуны на жирных червячков. И тут же нас осадили специалистами по рекламе. О, вы не знаете этих дженгльменов! Только они менее чем за сутки могли придумать название духов «Далеким сны», губной помады — «Золотая планета», бюстгальтеров — «Контакты». Вы не представляете, что тут творилось! Бизнесмены крутились возле нас, как биржевые маклеры в день появления на рынке акций, о которых они и мечтать не могли... Я не знаю другого такого молниеносного оружия, как пошлость.

Мы молчали. Я понимал, что говорит профессор Хамберт, но слова все равно с трудом укладывались в сознании. Чтобы реклама была таким ужасным оружием...

— И вы думаете, что Контакт прерван именно из-за... — Павел Дмитриевич замаялся, подыскивая слово.

— Торговли?

— Да.

— У меня в этом нет ни малейшего сомнения. Ведь и Лина и мистер Чернов действовали, очевидно, не только как приемники, но и как передатчики. Представляю себе, что должны были почувствовать жители Золотой планеты, когда у нас тут началась большая распродажа...

— Мы называли планету Янтариной, — пробормотал я, но профессор не обратил на меня внимания.

— ...Они, наверное, оглохли от щелканья наших чашечек, от жадного урчания, от злобного клекота конкурентов, наперебой набивавших себе цену. Людская подлость, помноженная на пошлость, — тут не только Контакт уничтожить можно, всю цивилизацию, того и гляди, взорвут... Впрочем, я, должно быть, немножко смешон в своем праведном гневе. Ведь мы всегда были большими мастерами торговли. Мы торговали всем — от мечты до человека, от искусства до сна...

Лина Каррадос с огромными светлыми глазами, со слабой, неуловимой улыбочкой на губах. Лина Каррадос, продающая Янтарию планету за гонорар от рекламы бюстгальтеров «Контакты».

Нет, я не мог презирать ее, как профессор Хамберт. Мне было просто бесконечно грустно, словно она предала меня. Как, как она могла променять мелодию янтариных холмов на деньги?

— Но все-таки ведь что-то вы успели сделать? — спросил Павел Дмитриевич.

— Очень и очень мало. Сначала нужно было изыскать деньги, все организовать. И тут же началась коммерция. Да и что я теперь могу продемонстрировать? Базарную торговку, которая кланяется, что видела необыкновенные сны? Пока она могла читать мысли, хоть этим можно было козырять...

Я познакомился с ней только на следующий день. Она вошла в комнату, посмотрела на меня, и я сразу узнал ее. Я молчал, потому что никак не мог придумать, что сказать ей. Я понимал всю абсурдность своего поведения, но губы мои были заморожены, и я не мог пошевелить ими.

Она улыбнулась. Наверное, она хотела, чтобы улыбка вышла вызывающей — ну, ну, послушаем, что этот еще будет проповедовать. Но сквозь вызов

вдруг явственно пробилась растерянность. Она сразу стала жалкой и беззащитной. Наверное, она всегда была такой. Вероятно, ей всегда не хватало споры, и она решила, что, продав подороже янтариные сны, крепко встанет на ноги.

А сейчас она сделала неуверенный шаг по направлению ко мне, вопросительно посмотрела. На мгновение мне показалось, что в ее глазах зажегся отблеск Янтариной планеты. Я потянулся к ней. Пусть не будет телепатии, но должны же нас связывать общие сны. Янтариные сны. Но прежде чем я успел шагнуть к ней, отблеск исчез, а улыбка стала жесткой. Она не хотела контакта даже со мной. «Боже, — взмолился я, — сделай так, чтобы она хоть ничего не сказала». И она ничего не сказала. Только пожала плечами. Повернулась и вышла.

Которую уже ночь я просыпаюсь в невыразимой печали. Я просыпаюсь рано, когда за окном висит плотная ночная темнота. Я лежу с открытыми глазами и слушаю редкие звуки на улице.

Я больше не вижу янтариных снов. Я не вижу больше братьев У, не слышу мелодии поющих холмов, не скользя в воздухе по крутым невидимым горкам силовых полей, не спешу на Зов, не завершаю с братьями Узора.

И мир сразу потерял для меня золотой отблеск праздничности, кануна торжества, к которому я так привык. Хотя это не так. К празднику привыкнуть нельзя. Праздник, к которому привыкаешь, уже не праздник. А сны оставались для меня праздником.

Может быть, если бы это была только моя потеря я бы относился к ней чуточку спокойнее. Или хотя бы попытался относиться спокойнее. Но это потеря для всего человечества.

Я здесь ни при чем. Я понимаю, что комбинации слов «я» и «человечество» по меньшей мере смешны. Но я ведь лишь реципиент. Точка на земной поверхности, куда попал лучик янтариных сновидений. Живой, на двух ногах, приемник из четырнадцати миллиардов нейронов.

Я лежу в темноте и тяжело вздыхаю. Это нелепо. Почему второй лучик с далекой планеты протянулся к человеку, который начал им приторговывать? Я ведь знаю столько людей, которые берегли бы Контакт трепетно и с любовью. Нина, Илья, Павел Дмитриевич...

Никогда Галя не была так весела и ласкова со мной. Я ее понимаю. Куда привычнее быть женой учителя английского языка, который не только не слышит больше чужих мыслей, но часто не слышит того, что ему говорит жена. Жить с ходячим космическим приемником — это очень непривычно для женщины даже последней четверти двадцатого века.

А мы ждем. Я жду, пока к нам снова протянутся ниточки чужих сновидений. Должны же У и его братья понять, что не все на нашей планете готовы торговать далекой янтариной доверчивостью. Они это обязательно поймут.

Я жду.

Ждет Павел Дмитриевич.

Ждет мистер Хамберт.

Не знаю почему, но у меня такое ощущение, что мы обязательно дождемся...



Сергей
ИВАНОВ

ЧТО ТАМ ВНЕРЕДИ?

Эти записки прислал в журнал молодой врач маленькой участковой больницы в Пермской области Сергей Иванов.

Записки подкупают и своей искренностью, и задиристой интонацией, и точным описанием деталей, однако главное в них сосредоточено на вопросе, одинаково важном для всех вступающих в жизнь.

Что необходимо человеку, чтобы не ошибиться в выборе места в жизни или по крайней мере свести количество проб и ошибок до минимума?

Автор записок нашел свое дело.

Что это? Случайность, призвание или результат самовоспитания, длительной работы над собой?

Об этом — в записках.

В десятом классе я мечтал о журналистике. Мама была резко против: «Вечные разброды, пытаешься как попало, язву себе заработаешь!» Еще охладило не помню чье мнение: «В крупные газеты трудно попасть, а в мелких будешь прозябать с твоими амбициями». Ну, я конкурс на факультет журналистики устрашающий. Решиться бы мне тогда! Струсил, отступил, отгородился от мечты чужими словами.

Технический институт? Математику не сдам! В последних классах из сил выбивался, чтобы кое-как освоить школьный курс!

И тут блеснула мне в глаза медицина. Пригрезилась белые халаты, цветы от спасенных больных, почтительное внимание, важная поступь. Вспомнил, как хотел иметь младшего брата — заботиться о нем, защищать, поучать! Решил: поступаю в педиатрический.

На первом курсе показалось — один парень пошел сюда потому, что провалился в Военно-медицинскую академию, причины другого — институт недалеко от дома; третий посчитал, что в педиатрии все мужичилы либо научные работники, либо руководители. У девочек тоже вроде бы ничего серьезного. И ни от кого ни слова о призвании! Может, стесняются? Таят сокровенное друг от друга?

Встречались, конечно, и совершенно одержимые. Я знал четверых ребят. Решив стать хирургами, они с первого курса шли к цели прямо и настойчиво, как самолеты по радиопеленгу. Я их считал зубрилами и сухарями. Мы — в кино, мы — в пивбар, мы — на концерт. Они — на лекцию или в анатомичку. Незаметно и прочно эти ребята утвердились в студенческом научном обществе, делали доклады, ставили первые робкие опыты, ездили на студенческие конференции.

Знания приходили к ним как первый друг, а к нам забегали, как мимолетный гость, в штурмовые дни перед экзаменами.

Почему так получается? Сдал экзамены, — и вот ты, раскрасневшийся, выходящий на улицу, и решением приемной комиссии тебе даровано право учиться. Тебе — учиться лечить людей. Тяжелое право. Ответственное дело. Но тебе не до того. Ты врываешься домой, неся в себе бурю, и с порога вещаешь: «Поступил!» И голос твой звенит совсем по-детски. А быть может, вместо экзамена по химии тебе надо было бы сегодня сдавать экзамен на сострадание и великодушие, проходить проверку на мягкость и терпение...

Есть специальность и есть какая-то совокупность душевных качеств, необходимых для работы по той или иной специальности. Требования разных профессий выработали свой стереотип идеального профессионала: для космонавта он один, для библиотекаря другой, для агронома третий. Профессиональный стереотип медика состоит из главнейших человеческих качеств! Они заложены в любом. Их можно развить или заглушить, оставить в зачаточном виде. Стремление быть нужным, облегчать страдания, жажда самоотдачи, слившиеся воедино со специальными знаниями, даст чистый и ценный сплав, именуемый «хорошим врачом».

Однако при поступлении в институт в приемной комиссии или на собеседовании и не задаются о призвании. Считается, что душа десятиклассника достаточно «зрела». Осталось только вложить в нее знания да навыки.

А я первые институтские годы жил только книгами. В свободные минуты рыскал по книжным магазинам, искал воледеленную фантастику или редкий сборник стихов. С кем-то менялся, у кого-то брал почитать. Отмечался в очередях, ожидающих подписки. Дома распахивал новинки по свободным ценам и читал, читал, читал.

Учебник открывал в утренней электричке (я жил под Ленинградом) и тяжелыми глазами пробегал «по диагонали» заданные страницы. На занятиях клевал востом и порою невпопад брыкал такое, что группу сгибал припадком смеха. Преподаватели, булькнув горлом и отерувшись, прощали меня мамоением руки. Я чувствовал себя школьником-сорванцом.

А мой товарищ Виктор увлекался поп-музыкой. Он захлебывался, рассказывая о новостях из своего заветного звучащего мира. Он считал свою фонотеку на километры магнитной пленки и хотел накопить их «от Земли до Луны».

Саша, мой второй приятель, был спортсменом. Тяжелоатлетом. Он ездил на тренировки каждый день. Среди нас он возвышался Гулливером и добродушно посмеивался над малахольными «одноклашками». Отвечая, он говорил внушительно, неторопливо, словно списховал.

От зачета до зачета мы бурно жили своими интересами, сбегахи с лекций, собирались по вечерам в «общаге», говорили «за жизнь», танцевали с нашими умными девочками, травляли анекдоты.

А перед зачетом — *gon! gon! galon!* — учебник за дены! Цирк на сцене!

Я брал цешкой памятью. Барабанил прочитанное вчера, как шаман по ритуальному бубну. Но того, чего не было в книге, сказать не мог. За пределы учебника выходить не смел долго, да и не хотелось еще...

Витка побеждал догадливостью, остротой мысли. Два-три намека, брошенных ассистентом, ложжились ему опорой под ноги. «Танцуй» от них, он почти всегда приходила к нужным выводам.

Саяя пускала в неторопливые рассуждения. Его эрудация походила на перенасыщенный раствор. Песчинка вопроса вызывала необратимую реакцию кристаллизации. Вырастали дикие вымыслы октазды с разноцветными гранями. Любуясь ими, кто мог вспомнить о первоначальной песчинке!

Дня через два у меня в «котелке» плескалась еда-ва ли четверть того, что было перед зачетом.

А что останется через неделю, через год?

На третьем курсе мы увидели первых пациентов. Гибкие, нежные человечки, одетые в одинаковые пижамки, смотрели на нас доверчиво и строго. В них еще не было перегородок и занавесей, которыми зашита душа взрослого. Они лежали на пеленальных столиках и кричали что-то по-петушину сердито. Они важно ковыляли по коридору и крепко держали мой палец — так держит канатоходец шест-балансир. Они терблили бантики на косичках и прыскали, стоило сделать им «страшные» глаза.

Мы смущались, подходя к ним; мы не знали, как заговорить, как держаться, как вызвать симпатию и завоевать доверие. Линию поведения каждый находил интуитивно.

Нас учили прачевать ребенка — понимать, его нам предоставили научиться самим. А он, больной, оторванный от мамы, растерянный и напуганный, ждал понимания и только потом — лечения.

Гря виде больного «няну», а не в абстракции, медленню, как на недоохранной фотопленке,

в сознании проявляется любопытство. И сострадание.

Как тебе плохо, малыш! Я очень постараюсь тебе помочь... А ну-ка, посмотри, что скажут про твою болезнь мудрые люди, написанные учебники!

Листаю, и что ни страница — открытие. Читал не раз и к зачету и к экзамену, но читал ради схемы, без эмоций, без мыслей. А сейчас — интерес и осторожность. Слова, соотнесенные с живым человеком, и сами становятся живыми. Мои наблюдения и описание в книге совпадают не полностью. Почему? Или я еще не умею наблюдать? Или учебник поверхностен? Вероятнее, конечно, первое. Но и сомнение в непогрешимости учебника — тоже своего рода революция. Возникла тяга к монографиям. Посмеиваясь над собой, я потихоньку стал выплывать за пределы «заданного». И запутался. Сколько ученых! Сколько мнений! Течений! Школ! Тенденций!

Куда податься? Чьи взгляды вернее? Не заблудиться бы!

...Дали нового больного. Буду курировать. Ему четыре года. Бородаев Дима.

Зашел к нему в бокс, и он привоздил меня к полу грустью своих огромных глаз. Его слегка оттопыренные уши, насквозь просвеченные солнцем, горели, как осенние листья. Я присел к нему на кровать и вдруг вместо собиания анамнеза начал рассказывать о зверях и птицах, ветрах и облаках, морях и реках. И даже покрывлся потом от радости, когда увидел маленькую звездочку любопытства, разгоравшуюся в его глазах. Он что-то спросил, я ответил, и вскоре мы тараторили, как две неперелетные сороки-белобки. Димка рассказывал мне про маму-папу, про своих друзей из детского сада. Я привнес несколько книжек из другой палаты и долго читал ему.

Случай «банальный». Подумаешь, развеж малыша! Но а до конца дня ходил просветеленный.

Он привязался ко мне. «Теперь и мамка с папкой не нужны!» — смеются медсестры.

Пока идут занятия, он сидит на стуле рядом со мной, и Тамара Александровна, наш ассистент, не может его отогнать. Я смущаюсь перед ней и ребятами. А девочки почему-то завидуют мне и наперебой стараются приласкать мальчугана. Он охотно с ними разговаривает, но не отходит от меня ни на шаг. Я возму его на все процедуры. В руках у врачей он плачет, бьется: «Дяденька! Где мой дяденька?» Так он меня окрестил — «мой дяденька».

Сидит у меня на коленях и жалобно просит: «Ты меня покормишь?» И я кормлю его и утешаю, разобиженного уколами. Я рассказываю ему сказки. Покупаю в книжном Чуковского и Маршак, и мы вдвоем заучиваем стихи наизусть. Мы вместе смеемся, и когда он плачет, мне тоже грустно. Ребятя уходят. Я ругаю себя: «Слюнявый! Размазня!» — но не могу рвануться за ними.

Димка, не зная того, переломил меня, заставил понять, что нелегко отвечать за человека и вдостеро труднее — за человека, которого любишь. Шелуха беззаботности, беспечности отлетела, и я спросил у себя: не хантит ли порхат изю дня в день легкомысленно и бездумно? Не пора ли опустить бремя выбранной профессии и, взвалив его на плечи, понести вперед?

Близке к вечеру Димка настораживается. Бонитс, чтобы я не исчез. Я уговариваю отпустить меня, но он твердит: «Нет! Ты не уйдешь! Я с тобой!»

Если пятого срочного не запланировано, то я его сам укладываю спать. Когда вечер занят, приходится просить о помощи медсестру или какую-нибудь мамашу. И я убегаю, пока Димку держат, и до меня доносится его громкий протестующий плач.

Разговаривал с Димкиной бабушкой. Представился, как Сергей Иванович. Старался говорить неторопливо, ушительно, «сочным» голосом. Часа через два медсестра передала, что вызывают доктора Сергея Ивановича.

Я вышел на лестничную площадку. Там была Димкина мать. Мы долго беседовали. Она меня благодарила. Передала Димкины слова: «У меня тут есть родной дядя!»

Когда Димку выписали, я рассердился, хотя и не знал, на кого и за что. Он меня, конечно, забудет. Но я-то его не забуду, пока жив. Благодаря ему понял, что дети меня могут любить. Обрел уверенность в себе. Подавил остатки «школьной доминанты». Стал опытнее. Почувствовал ответственность.

Впервые подумал, что, пожалуй, пошел по правильному пути.

...Как мне жаль тех детей, что больны! Это странное чувство: мне кажется, что самое главное — жалость, как бы совместное переживание боли. Пусть ребенок ощутит, что ты к нему безразличен; остальное (лекарства, процедуры) не основное, не важное, вспомогательное. Прежде всего ты и ребенок. Те незримые (духовные, что ли?) связи, которые обязательно должны быть между вами. А болезнью ты вытеснишь, если пойдешь, что это не только долг врача, но и долг друга...

Занятия прекращены. Весь курс бросил на эпидемию гриппа. Нашей группе достался трудный район. Работаем с полной врачебной нагрузкой. В иные дни с девяти утра до девяти вечера. Вытика — по числу обслуженных вызовов — первый. Он вошел в азарт, будто сам с собой соревнуется. Иногда столкнемся на улице, он бросит пару слов и летит мимо, в руке тяжелый «дипломат», набитый справочниками. О поп-музыке ни гугу. Вздыхает: «Найти бы средство против новых вирусов!» О Саше, о нашем «пане спортсмене», в поликлинике ходят легенды. Его принимают за кого угодно, только не за студента. Его импозантность родителем правится. Я слышал, как одна мамаша просила у регистратора: «К нам аспирант приходил, такой высокий, рыжебородый! Запишите к нему на прием, пожалуйста!» Как-то незаметно Саня превратился в ходячую энциклопедию. Знает любую сложную пропись, любую возрастную дозировку, любую схему лечения. В его портфеле — солидные монографии, рефераты докторских диссертаций. Мы прозвали его «аспирантом». Он доволен, ибо твердо решил идти в науку, и прозвище словно предвещает его судьбу.

Распределение прошло как-то буднично и незаметно. Мне «выпала» Пермская область. Хорошо это или плохо, решу в ближайшие три года.

...Александр Федорович Тур. Академик с мировым именем. Наш учитель и выпитый авторитет. Автор учебников и монографий. Заведующий кафедрой госпитальной педиатрии... Но вот зрительное впечатление. По сцене ходит старичок в белом халате и говорит что-то тихим голосом себе под нос. Огонек лампы освещает на лысом черепе. Студенческая заповедь: «Хочешь слушать Тура — занимай передние ряды». За кафедрой он теряется, маленький и какой-то мягкий, только очки академика и строгая. Напряженно слушаю. Материал интересный, труд-

ный. Демонстрации больных убедительны и ярки. Тур не докладывает, не поучает, а как бы делится с нами. Он уверен, что для «подани» знаний не нужны актерские эффекты, поэтому он говорит так просто, рискуя показаться скучным.

Я сдал ему госэкзамен по педиатрии. Меня поразило, что, подойдя к постели больного, он переминался на глазах. Из беспощадно-строгого экзаменатора стал милым, добрым дедушкой. И ребенок потянулся ему навстречу, раскрылся, будто родному. Я видел, какой радостью было для них общение друг с другом...

В 1974 году Александр Федорович умер. У меня осталась фотография, где он снят вместе с нашей группой. И несмываемая картина в памяти: академик Тур у постели больного мальчика.

Институт позади. Предстоит работа. Все «госы» сдал на «отлично», однако я себя врачом не чувствую. Пока не чувствую... Быть может, это придет позднее...

Мне двадцать три года. По внешности — взрослый. Но угадываю в себе столько непереведенного, легкомысленного! В пору жаржар, как жеребенку, и, ошалея от ощущения молодости, понестись куда глаза глядят! Но надо быть сдержанным и умным. Надо быть мужчиной. У меня появились обязанности перед людьми, значит, я потерял право быть ребенком...

Составляю списки, что взять с собой. Больше всего — книжечки... Очень боюсь попасть в недоброжелательный коллектив. Конечно, я еще новичок в медицине. Конечно, я буду ошибаться и, может быть, выглядеть жалко в каких-то ситуациях. Но если рядом окажутся люди добрые и, главное, тактичные, то я верю, что смогу подняться над уровнем ремесленника от медицины до уровня хорошего врача.

Билет взят. Через неделю вольюсь в полноводную реку народного здравоохранения. Как вы там, больные мои,живаете? Тот купается до оури, не зная, что мне придется лечить его от ангины! Та гуляет с одноклассником росистыми вечерами, усердно стараясь поддвинуть пневмонию! Вот погодите, гаврики, свалюсь я на ваши головы!.. Или это вы на мою бедную головушку свалитесь!..

Последний день дома. Сердце сладко щемит. И надежда, что впереди только хорошее!

И вот третий год детским врачом в рабочем поселке. «Добрался до пациентов», — пишет нам Сергей, Сергей Иванович. — Лечу... И, знаете, все больше убеждаюсь, что ни одной, даже самой пустяковой болезни не победить, если нет у тебя духовной близости с пациентом: если ты сух, педантичен, мастерски — и только. Иногда лечить начинаешь, не применив ни одного лекарства, и получаешь: человек идет на поправку... Полюбила свое дело. Люблю и помню всех своих подопечных ребят и девочек. Может быть, скоро пришло вам продолжение своих записок. Там о том, как нелегко состоять врачу. До встречи».



Лариса
ИСАРОВА

ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО

Невыдуманные
истории

Рисунок
Е. МУХАНОВОЙ,

Джигитова я заметила с первого урока — уж очень это была живописная личность! Длинное лицо, длинный нос, длинные соломенные волосы — и сощуренные узкие глаза, прыгающие бровки, язвительные губы.

Под курткой у него был намотан вокруг шеи яркий шелковый платок, расписанный русалками, — бич всех учителей, которые с неравным успехом пытались снять с Джигитова это украшение, слишком сильно действующее на наши нервы.

Если Джигитов уважал учителя или если урок был ему интересен, он застегивал куртку повыше, но если у него намечался конфликт — русалки немедленно выпускались на свободу, поскольку концы косынки свешивались поверх куртки.

Из-за этого платка его даже вызывали на педсовет, но он остался непоколебим, заявив, что у него хроническая ангина, что синтетика противопоказана его горлу, а платок из натурального шелка, а главное, что нет никаких специальных постановлений министерства просвещения, запрещающих ученикам носить под куртками платки с русалками.

Соседа Джигитова по парте я особенно не выделяла. Спокойный троечник, курносый, пухлый, не претендующий на более высокие оценки, Бураков оживал, только если его дожимал Джигитов. Тогда он пыхтел, краснел, виновато поглядывая на меня, с грацией юного бегемотика стараясь отжать Джигитова на его часть парты.

Когда мы изучали «Войну и мир» А. Толстого, я дала сочинение на тему «Лицо — зеркало души?». Мне хотелось бы, чтобы девятиклассники вчитались в портретные детали Толстого и попытались описать внешность любого интересного им человека...

Тетрадь Джигитова была щедро разукрашена изображениями фантастических самолетов — не только на обложке, но даже на полях — разноцветной пастой.

«Я хочу написать свой портрет с человека, чье прозвище Джон. У него лицо добряка и такой же характер: глаза зеленые, нос картошкой и небритые еще усики. Прическа а ля Армстронг дополняется круглой физиономией, всегда всем довольной, и пухлыми губами бантиком. Особые приметы: носит очки, когда поблизости нет девочек. Особенности характера: болезненно реагирует на шутки. Жизнерадостное выражение сменяется бешеным, и сыплются угрозы, которые никогда не выполняются, а через минуту снова мир и тишь на круглом лице. Относительно его воли я пока точных данных не имею, но смею предположить, что она не гигантских размеров».

Сразу за тетрадью Джигитова в стопке сочинений лежала общая тетрадь Буракова в целлофановой обложке, такая аккуратная, точно принадлежала девочке.

«С этим человеком я познакомился в начале года. Его лицо ничем не привлекательно, разве что язвительными тонкими губами, похожими на прыгающих змеек. Но он может исподтишка навредить другу, унижить, задеть, не думая, как делает больно, просто из любопытства. Забудешь, а он снова растревает рану, точно проверяет твое терпение, он ни о ком не думает, он видит и слышит только себя. Наверное, вы спросите: зачем же ты дружишь с ним? Отвечу — с ним всегда интересно...»

Когда я принесла сочинения в класс, я спросила перед уроком Джигитова и Буракова — можно ли прочесть их работы вслух, не называя фамилий. Бураков замялся, а Джигитов, который до сих пор имел у меня только «тройки» и считал это явным

недоразумением в ваших отношениях, милостиво сказал:

— Бога ради! Читайте, пойте, танцуйте.

Тогда и Бураков махнул рукой:

— Ладо, только без фамилии...

Но девятиклассники сразу догадались, кто писал и о ком, и Горошек сказал, что Джигитов вивисектор!

А Ветрова добавила:

— Мне всегда казались жалкими люди, которые не умеют ни любить, ни ненавидеть, ведь у них пустые души...

Я не смотрела на первую парту, но чувствовала, с каким напряжением Джигитов сохранял спокойствие. Популярность явно оказывалась не той, на которую он рассчитывал. И он поднял руку:

— Вы обещали меня спросить по роману «Война и мир», если я его одолею весь...

— О ком же вы хотели бы рассказать?

— О Долохове.

— Но о нем на прошлом уроке говорил Горошек.

— Меня не устраивает трактовка этого образа предыдущим оратором...

Горошек фыркнула, она была не только самой маленькой по росту в классе, но и самой смешливой, титул «оратора» ее совершенно восхитил.

Джигитов вышел к доске, сильно сутулясь, заложив руки за спину, и, шаркая ногой так, точно натирал паркет, стал пересказывать все эпизоды романа, относящиеся к Долохову. Бураков сидел красный, он волновался больше Джигитова, а его друг упиался звуками своего голоса, как весенний соловей. Когда он кончил и скромно улыбнулся, ожидая «ятерки», я сказала: «Пересказ не анализ. Тройка».

Джигитов вспоилился, но старался не ронять достоинства.

— Прощу прощения, что же вы хотели услышать?

Он не собирался сдаваться на «тройку» без боя.

— Вы не делали никаких оценок характера Долохова. К примеру, был ли он эгоистом?

— Ах, в таком разрезе? Пожалуйте. В общем, так. Он из бедной семьи, согласны? Мать и сестру любил, помогал им, согласны? Соною полюбил, потому что ее унижали Ростовы, согласны? Воевал не при штабе, как всеобщий кумир Болковский, согласны? Где же здесь эгоизм?

Лidia десятиклассников оживилась, все очень любил, когда у меня возникали споры с учениками.

— Но тем не менее Долохов мог жить на изживении у Пьера, брать у него деньги, а потом соблазнил его жеву?

— Пусть не будет лопухом ваш Пьер, так сказать...

— А когда он пытался шантажировать Николая, чтобы тот велел Соне выйти за него замуж?

— Ваш Николай был маменькин сынок, а с Долоховым никто не нянчился. Вот он его и не жалел.

— Речь шла о Соне.

— Ну, она просто не поняла Долохова. Я уверен, что такой смог бы потом заставить себя полюбить.

— Заставить?

— Долохов, с вашего позволения, — личность, такие всегда всех подчиняют. И сами себе хозяева. Хотя, может быть, он и мог бы подчиниться Соне, так сказать, на почве любовных эмоций. Но это не унижает мужчину...

На лице Шаровой мелькнула довольная усмешка. Когда урок шел нестандартно, она всегда становилась похожей на кошку, перед которой чудом возникло блюдо со сметаной.

— Значит, ты веришь в силу его чувства к Соне?

— Конечно, именно потому, что она его любила. Такие всегда мечтают о трудностях. Остальные же дамы сами ему вешались на шею, как елочные украшения.

Девочки возмущенно переглядывались, но он и не смотрел в их сторону.

— А можно ли считать Долохова карьеристом? — продолжала я «напущение» на Долохова.

— С моей точки зрения, прошу прощения, он элементарно хотел выбиться в люди. За него же никто не просил, как за Пьера, Андрея, он не имел права, так сказать. Только ему все время влетало за медведя, не правда ли?

— И сам его храбрость не показалась показной?

— Да поймите, ему было наплевать, что о нем думают люди, он себе цену знал, не давал никому помыкать...

— Короче, в нем не было недостатков?

— В любом варианте он лучше наших князей Пьера и Николая, он никогда бы не сидел на папочкиной шее, не бросил бы Платона Каратаева...

Лицо его горело, он не замечал, что довольно откровенно изложил и свою философию. Я сказала, что стало «пить» за знание текста, хотя я не согласна с его «реабилитацией» поступков Долохова.

Джигитов сел, но что-то продолжало его жечь, не утешила даже долгожданная отметка. И он вдруг поднял руку:

— Будьте любезны, вы не в курсе, сколько стоит на толкучке томик Симпсона?

Ветрова даже подскокила от возмущения.

— Не знаю, мне покупать книги у спекулянтов не по карману. А почему вас это именно сейчас заинтересовало?

Он небрежно развалился на парте и, поигрывая замисловотой ручкой в форме капитанской трубки, взрек:

— Да вот у бабки рылся в шкафу, нашел много всякой рухляди книжной, кажется, денежной...

— Вам очень нужны деньги?

Он повел плечами, как солистка ансамбля «Березка».

— Я люблю поп-арт, мемуарную литературу. Да и в курсе новинок самолетостроения нужно быть...

— У вас много увлечений.

— Последнее не увлечение, ведь я буду художником-дизайнером.

В классе посыпались смехи, но Джигитов даже не шевельнулся, он вел себя так, точно мы с ним находились с глазу на глаз...

Дружку Буракова и Джигитова не парушила заинтересованность обоев мальчиков Горошек, удивительно соответствующая своей фамилии. Это была маленькая девочка, похожая на говорливую куклу. Только у куклы было широкое бархатное контрлоло, и любые стихотворения в ее исполнении приобретали трагическую окраску.

Я постоянно поручала ей доклады о поэзии. И хотя она страшно волновалась, теряла закладки, хваталась рукой за голову и начинала накручивать на палец челку, в ее выступлении всегда была неподдельная влюбленность в поэтическое слово, удивительное для пятнадцатилетней девочки понимание его оттенков. И в классе во время ее выступления устанавливалась заинтересованная тишина.

Горошек читала поэтические строки наизусть и, окончив, тяжело роняла руки, глядя огромными глазами в даль. И я замечала, как не сразу отходил от нее взгляд самых ироничных мальчуганов.

Бурakov поддался ее чарам сильнее других, хотя стихов не любил, и Джигитову приходилось в такие минуты его сильно толкать, чтобы привлечь внимание. Он-то девочкой не интересовался.

Однажды, когда Горошек должна была делать очередную доклад, она подошла к моему столу с огромной тетрадкой, похожей на счетовую книгу, положила руку на горло и прошептала, что нечаянно съела вчера три порции мороженого...

И тут Джигитов с ленивой усмешкой предложил прочесть вслух ее доклад. Она радостно закивала, глядя на него как на спасителя. (Речь шла о четвертой оценке). И когда Джигитов встал рядом с ней, она открыла тетрадь.

Зрелище было комическое. Длинный, разболтанный Джигитов и крошечная Горошек, от волнения ты и дело привстающая на цыпочки. Она подпрыгивала, дергала его за рукав, когда ей казалось, что топ его был очень уж ироничен.

А после уроков я увидела идущую впереди меня пару: размахистов шагавшего Джигитова с развевающимися по ветру волосами и семенящую рядом Горошек, которая держалась за его палец. За ними медленно плелся Бурakov, — совсем близко, в трех шагах, но они его не замечали, поглощенные разговором и веселой. И мне вдруг показалось, что с этой девочкой Джигитов сбросит с себя маску циника и нахала, как сбросил нестерпимый свой платок. В этот день я почему-то на нем платка не видела...

Меня очень интересовало, почему Джигитова так не любят в классе, почему все так иронизируют, когда о нем заходит речь?

Может быть, все дело было в том, что Джигитов откровенно демонстрировал ко всем без исключения свое презрение? Свою «культуристость»? Или ребята знали, что он не входил ни в какие группировки? А скорее, раздражало странное сочетание цинизма и ребячливости.

Один раз на уроке я застала Джигитова в противогазе. Кто-то забыл его в парте после военного дела. Я сделала вид, что Джигитов в противогазе на литературе — нормальное явление. Он вертелся, облизывался потом, но не сдавался, он очень надеялся, что я его или вызову, или выгоню, или накричу — он не был только готов к равнодушию.

На перемене, сняв маску, он сказал с надеждой: — А в дневник вы мне ничего внушительного не напишете?

— А за что?

Он утер лицо платком с рюсиками, появившимся, как у фокусника, из рукава, и вздохнул.

— Эх, надо было это сделать у Николы Алексеевича! То-то звону по школе было...

— Вам сколько лет, Джигитов? — спросила я.

— Шестнадцать...

Он смущенно шмыгнул носом. Появилось...

Когда мы поехали на экскурсию в литературный музей, я попросила Джигитова собрать у всех деньги на билеты. И еще я боялась растерять учеников по дороге. Поэтому я сказала, что прошу Джигитова с высоты своего роста нести службу дозорного, чтобы никто не отставал.

Мои поручения он воспринял крайне серьезно. Собрал деньги, а затем все путешествие вел себя как пастух, которому доверено стадо бестолковых овец. Домой девятиклассники возвращались без меня, я осталась в библиотеке, и Джигитов доставил всю группу в полном порядке, только девочки возмущались, что он отнесся к ним как к неодушевленным предметам.

На другой день я поблагодарила его, он иронически усмехнулся и с тех пор исполнял роль «пастуха» во всех наших походах в театры и музеи. Мне казалось, что я угадала характер этого мальчика, крайне самолюбивого, с детства задетого непризнанием товарищей. Тем более что при всей разнице он, видимо, был и застенчив и легко раним — может быть, Бурakov это понимал?!

Не случайно он иногда, слушая остроты Джигитова, смущался из-за его детских выходов. И на усатом розовом лице Бураклова появлялось выражение, напоминающее смущение молодой матери, чей ребенок настолько плохо воспитан, что в гостях громко попросился на горшок... Бурakov даже пытался его опекал, страхуя от колостей товарищей. Этот мальчик все больше завоевывал мое уважение. И своей привязанностью к другу и тем, что никогда не просил о пересдаче.

Однажды Джигитов после уроков дождался меня и сказал, что хочет извиниться от тройки. Я предложила ему подготовить доклад по творчеству любимого им писателя.

— А можно, я расскажу о Роме Киме — детектив высшего класса! Или вы презираете этот жанр? — Жанр нельзя презирать, можно презирать плохие произведения. А что вас привлекает в Киме?

Джигитов немного покачался надо мной, двинув ногой, точно натирал пол.

— Умный, так сказать, человек. Родился, как говорится, в более-менее приличной семье. Все написано явно документально, значит, писал не выходя из кабинета. И без сю-сю-сюпелей, так сказать. Фразы бьет, как током, сказано — сделано, никаких сантиментов и бульварных красот...

— Чем же интересны герои Кима?

— Не соливаны, не болтавы, не трусливы. Короле, истинные джентльмены. — И захихикал.

Тогда я сказала:

— Кстати, Джигитов, почему бы вам не помочь Бурakovу с литературой, он все понимает, но ему трудно выражать свои мысли.

— Бурakov, между нами, излишек производства, как говорится. Ну, зачем таким «личностям» десятилетка? Шел бы в шоферы. Его ведь ничего не интересует, кроме «Москвичей» и «Жигулей».

Я ошелась, глядя на его тонкие, презрительно искривленные губы.

— А для вас десятилетка обязательна?

— Зачем ханжить? Конечно, я кое-чего добьюсь. Я и рисую и в математике не последний, как вам известно: я-то смогу внести свой кирпичик в науку, а он? Пардон, такие середячки нужны, конечно, как фундамент, но стоит ли государству на них тратить столько средств?

А ведь он дружил с этим человеком, принимал его помощь?!

— Бурakov знает о вашем отношении, о тайном презрении?

Джигитов потеребил своими длинными бровями: — Он ценит мою объективность. Главное для таких — не самообольщаться...

Вновь мальчик приткнулся в сочинении «Что вы понимаете под термином «хорошие манеры»».

Бурakov написал: «Хорошие манеры — это хорошее отношение к людям. Если ты, проходя, не забудешь поздороваться с родителями, с соседями — это хорошая манера. Если в автобусе, где ты сидишь, появляется старушка, и ты, хотя сидишь есть свободные места, уступаешь свое место — это хорошая манера! И тебе потом тоже станет хорошо, ты хоть на каплю кому-то сделала жизнь легче».

Джигитов подал мне вырванный из тетради листок, озаглавленный: «Произведение нерадного ученика Гогача Джигитова. Хранить вечно у сердца».



Дальше было круглыми крупными буквами: «По убеждению я хиппарь, нескритист и сторонник возврата к матушке-природе. Главное в наше время — удивить. А поэтому я люблю шокировать. Чтоб какая-то Дунька, возвращаясь с вечера, говорила мужу: «Цыпочка, а ты видел того, с длинными волосами и в тулупе? При этом надо не улыбаться, делать мрачное, тупое лицо, а потом что-то произнести по-английски. Гарантируется стопроцентный успех!»

Джигитов очень обиделся, когда я назвала его работю ребячиной...

На другой день, подходя к школе в середине уроков, я увидела Джигитова. Ковкался март, а он разгуливал без пальто, босиком, в закаченных до колен брюках, стараясь не пропустить ни одной лужи во дворе.

— Странные купания,— сказала я.— Назло кому вы себя калечите?

Он пошевелил пальцами красных, как у гусака, ног.

— Меня не пустили в школу. Сказали, что обувь грязная. Вот я и мою ноги, авось босиком можно будет шествовать по коридорам!

Из подъезда выбежала бледная Кира Викторовна. От волнения она не могла говорить, она подскочила, хотела ухватить Джигитова за ухо, промахнулась, уцепилась за его длинные салные волосы и потянула в школу, где его уже ждали Наталья Георгиевна и школьная медсестра.

Но что бы он ни выкидывал, в классе вокруг него был вакуум, и он от этого страдал, хотя и подчеркивал, что может существовать без друзей. И хотя все учителя признавали его способности, он ничего не делая, учился на четверки,—ему никогда ничего не поручали. Кира Викторовна сказала:

— Я не могу с этим наглем беседовать, он точно снисходит до меня.

А Стрелетов, комсорг десятого класса, пояснил:

— Понимаете, любой из наших ребят или делает или не делает, а Джигитов хоть и сделает, но при этом так хихикает, так все критикует — связываться противно...

Когда в конце десятого класса мы повторяли «Горе от ума» Грибоедова, Джигитов принес в сумке котенка, нежно его гладил и пояснил, что вынужден его носить в школу, так как дома котенку без него скучно.

Ветрова предложила, чтобы десятиклассники определяли, кто из них на каких героев Грибоедова похож. Она заявляла, что если комедия бессмертна, то и черты характеров героев наверняка встречаются в наше время.

— Я прошусь в Скалозубы,— усмехнулся Петряков.— Как хорошо быть генералом...

— По-моему, Софья не отрицательный образ,— возмутилась Горюшек.— Она умная, гордая...

— Типичный отрицательный,— лениво прогорморил Джигитов,— она дама, этим все сказано, мозги курины...

Шутливый обмен репликами вдруг оборвался, и Ветрова сказала:

— Боюсь, что у нас нет ни Чацкого, ни Молчалина, у нас есть Молчацкий, то есть Джигитов.

Атмосферные были настолько всеобщие, что он растерялся, хотя и пробовал отшутиться:

— А я хотел претендовать на роль Репетилова.

— Конечно, ты всегда много болтаешь,— согласилась Ветрова,— но ты способен и как Молчалив добиться своего...

Я удивилась ее резкости, эта девочка мне не казалась жесткой. Но после уроков Ветрова сказала, что Джигитов подал заявление в комсомол.

— Понимаете, я думала, что он смелый, что у него есть убеждения, а он — приспособленец. Как узнала, что это важно для поступления в институт, сразу такое патристическое заявление написала, а ведь сам все всегда у нас высмеивает...

Она брезгливо поморщилась. Она не выносила демагогии и вступила в комсомол, чтобы добиваться справедливости, чтобы отстаивать то, во что верила: жить надо ярко, честно, увлеченно...

Встретив Джигитова после уроков, я сказала, как меня удивило его внезапное желание вступить в комсомол. Он покрылся красными пятнами.

— Я считала, что вы из тех людей, которые должны верить в то, что делают, а оказалось, что все ваши иронические высказывания были только бравадой, способом шокировать...

Джигитов еще больше покраснел.

— И я думаю, что вы из тех людей, которые ломаются там, где люди, вами презираемые, окажутся настоящими людьми. В трудные минуты жизни...

Он секунду колебался, но промолчал, опустил голову и пошел по коридору, как старик, волоча ноги. Он не защищал свое достоинство, и это было мне больнее всего...

А Бураков выросла на глазах. Он все реже протостушно и смущенно улыбался во весь рот, все реже терялся. Он с пыланием преодолевал неподдающиеся предметы и даже по литературе стал получать «четверки».

Перелом произошел после его сочинения о Блоке: «Блока я не понимал, а потому и не любил. Уроки в школе мне ничего не дали, я не смог вслушаться в прелесть стихов. Но вот недавно я прочел в одной книжке, как после революции Блок пришел в институт читать лекции. Был страшный мороз, в зале сидел один студент. Блок ему четыре часа читал лекцию, потом расписался в журнале за два часа и ушел, забыв свою пайку хлеба... И теперь я все представляю, как Блок в мороз шел по Ленинграду, голодный, в легком пальто... И пытаюсь читать его стихи. Пока я их еще не понимаю, но я уверен, что скоро одолею».

Когда десятиклассники писали сочинение на аттестат зрелости, я заглянула в работу Джигитова. Он взял темой «Воспитательное значение советской литературы» и разразился ура-патристическими фразами, хваля именно те произведения, над которыми иронизировал в году.

— Плохо. Недостойная вся фальшивка, раньше вы писали запальчиво, но честно...

— Мне надо кончить школу, так сказать, в «ажуре».

— Ажура не будет. Ничего нет хуже приспособленца.

Он набрал воздуха, хотел огрызнуться, но сдержался и только прошипел:

— Все воспитываете... И на экзамене. Незачитно...

Я ничего не ответила, а потом заметила, как он перечеркнул свой черновик и начал писать о «Воине и мире». И тут меня подозвал Бураков. совершенно багровый от волнения.

— Ничего не говорите, только кивните. Это — то!

И я прочла первые строчки его сочинения: «Мне эта книжка досталась без обложки, поэтому я не знаю точно ее названия, фамилии автора. Я ее назвал для себя «Три года в лагере смерти». Можно много приводить примеров ужасов. Книга написана не очень литературно, но она подкупает своей правдивостью и суровой искренностью. И вот тут я могу

ответить на вопрос — в чем же воспитательная роль советской литературы, потому что, читая эту книгу, нельзя не ощущать дрожь во всем теле, закипающего в тебе яростного гнева. Читая эту книгу, очищаешься от мелочей и жизненной мишуры, думаешь только, какая же сила смогла сохранить и пронести в борьбе чувство человечности у заключенных, веру в нашу победу? И я считаю, что такие книги необходимы. Они не дадут забыть уроки истории, не позволят разгореться новой войной. Хотя, конечно, писателю надо оттачивать рельефную силу слова, потому что брак в литературе обходится так же дорого, как и в технике...» Бураков следил за мной, пока я читала, и облегченно вздохнул, когда я кивнула. Мы поняли друг друга, хотя я не сказала ни слова.

А позже, после устного экзамена по литературе, когда я объявила отметки, Джигитов сжал кулаки. Он не мог поверить, что у него по сочинению стоит тройка, а у Буракова — четверка. Он даже переспросил меня... И хотя это не отразилось на его отметке в аттестате — все равно у Джигитова была четверка, а у Буракова тройка, — он настолько на меня обиделся, что даже не подошел на выпускном вечере.

Ко мне подошла его мать, молодая женщина с совершенно седыми волосами и такими бледно-голубыми прозрачными глазами, точно она много и долго плакала.

— Я хотела вас поблагодарить. Жора с вашим приходом стал много читать, а раньше кроме самолетов и пластинок ничего не признавал...

— Он очень способный, ему все легко дается, но он у вас какой-то еще инфантильный.

Мать Джигитова тяжело вздохнула.

— Не все ему легко дается. Меня он до сих пор не простил.

— Вас?

— Да, вот и так бывает. Понимаете, его отец оставил нас пять лет назад. Жора стал жить то у меня, то у бабушки. Она его, конечно, жалела, баловала. А недавно я посмела выйти замуж. Мы не улыбаемся, это не моя, это его слова. Понимаете, захотелось все же и личной жизни... А он озлобился. Когда же я репнулась на сестренку, совсем ушел, три дня не ночевал... Меня только из роддома привезли. У меня даже молоко пропало от волнения...

Мимо нас прошел Джигитов, держа под руку Тихомирову. Мать окликнула его, но он дернул плечом, точно отмахиваясь от мужа. Он даже не взглянул в нашу сторону.

— Спасибо Буракову, — продолжала рассказывать его мать, — разыскал, привел. А мой так с ним по-хамски обращается...

Напротив нас у стены стояла маленькая Горюшек. Она была в пышном белом платье, с прической, но лицо ее не казалось праздничным. Она, не отрываясь, смотрела, как танцевал Джигитов с Тихомировой, вкрадчиво нагибаясь к этой ослепительно красивой девушке.

— И девочку обидел, — говорила его мать, — не разлей водой были, а то — надоела. Жаловалась, что она все время высасывает отношения и плачет. И придумал дурацкую теорию. Мечтает жениться на женщине старше лет на десять. Чтоб его понимала с полуслова...

Осенью я узнала, что Бураков поступил в автодорожный институт, сдал экзамены на четверки, а Джигитов в Строгановское училище провалился. Я была ошеломлена, как и остальные учителя. Мы все так верили в будущее этого мальчика, что нам показалось незлой шуткой известие, что Джигитов устроился резчиком бутербродов в кафе при кинотеатре. Но, когда мы случайно встретились на улице, он подтвердил это.

Джигитов в замшевых ботинках, в яркой рубашке казался совсем взрослым, и все же сдвинул сначала такое движение, точно хотел перебежать на другую сторону улицы или спрятаться за прохожих. Я остановила его. Волею-неволею он раскисался.

— Ну, где вы сейчас, что делаете? — спросила я, надеясь, что ребята меня разыгрывали, что новость о Джигитове не очень остроумная выдумка его недоброжелателей.

— Я кухонный мужик, так сказать, с десятилетней. В кафе. Если забейте, могу остринку подкинуть, икру красную, у нас иногда бывает...

Он больше, чем обычно, кривил губы и щурил глаза, но тон его был вполне благодушный.

— Зачем это вам? Кого вы наказываете?

Он усмехнулся.

— Надо же где-то перекачаться до армии. А там — светло, тепло и не дует...

Несколько дней у меня жгло в душе, когда я вспоминала эту встречу, а потом ко мне пришел Бураков. Он долго мялся, пока пожаловался, что Джигитов от всех товарищей прятается, выплывает...

— Вот я и подумаю, может быть, притащить его к вам? Вы его умели задавать... Авось встанете, как тогда, на уроке о Толстом, о Грибоедове...

— Он тебе по-прежнему не безразличен? — спросила я. Бураков изменился, но краснел он по-старому.

— Жалко... Нелепо все... Джигит и без коня...

Он умоляюще посмотрел на меня.

— А как с ним было интересно? У него фантазии на все случаи жизни. И он никогда не повторялся. Отец говорил, что он настоящий аккумулятор идей.

Он помолчал и добавил после паузы:

— Он меня завидовал, что у меня родители, дом нормальный... Он у нас никогда не дурил, честное слово... И знаете, у меня отец и мать — инженеры, и неплохие, у отца — Государственная премия, так они им восхищались, считали, что ему надо заниматься прикладной эстетикой... Как-то нечестно, наверно, что я в институте, а он...

— Он провалился на творческом конкурсе? — спросила я.

— Да. И представляете, преподаватель сказал, что, конечно, он творчески одаренный человек, но в его картинах слишком много рационализма...

Бураков возмущенно хмыкнул.

— А он нарочно такие картины понес, чтобы сразу показать свою самобытность, он же мечтал стать художником-дизайнером. Ну, а потом отнес документы в МАИ и тоже — осечка. Математику сдал хорошо, а в сочинении написал какую-то ерунду...

Бураков слегка замаялся.

— Понимаете, после школы он решил прекратить пихонить и ввязаться за ум. Но, видимо, еще не сумел вытравить в себе стремление пооригинальничать. Ну и вот... сам себе напортил. Там, в сочинении, еще и какие-то ошибки были, — короче, заработал двойку. Над ним еще посмеялись, мол, все перевернуть собирается, а элементарной грамотности нет...

Он вытащил сигареты, механически закурил и тут же страшно смутился.

— Ох, простите! Задумался...

И постарался рукой рассеять дым.

— Ну почему, почему он оказался таким слабым?!

Бураков твердо решил привести его ко мне, и я не сомневалась, что он это сделает. У него была воля. Он верил, что все вместе мы поможем Джигитову: «Посмотрите, он будет настоящим человеком. Вот увидите. Еще не поздно. Я в него верю...»

Иногда я достаю с полки эту книгу в коричневом, старомодно оформленном переплете. Страницы уже начали желтеть по краям — ничего не поделаешь: время. Даже сейчас, когда авторство мне уже давно не в диковину, приятно видеть свою — в числе других — фамилию на титульном листе. Книга дорога мне как память не только о собственной молодости, но и о молодости науки, в которой я работаю. Это первый в Советском Союзе коллективный труд по радиационной биохимии «Обмен веществ при лучевой болезни». Монография, созданная под руководством ныне действительного члена Академии медицинских наук Ильи Ильича Иванова, обобщала, анализировала и зафиксировала в научной литературе уже накопленный советскими учеными опыт и достижения радиационной биохимии.

Радиационная биохимия как направление современного естествознания — дитя атомного века, и своим возникновением она обязана развитию ядерной физики.

Первая лаборатория радиационной биохимии была создана в СССР вскоре после окончания Великой Отечественной войны. Институт, в который она входила, возглавил видный ученый академик Глеб Михайлович Франк. Символично, что для нашего директора близость к новейшей физике была родственной в полном смысле этого слова: его родной брат — видный советский физик, Нобелевский лауреат и тоже академик Илья Михайлович Франк.

Глеб Михайлович не только выдающийся биофизик, но и талантливый организатор науки, обаятельный и остроумный человек. В предельно короткий срок он сплотил вокруг себя коллектив молодых и способных исследователей.

Прекрасно помню то ясное осеннее утро, когда я, выпускник кафедры биохимии биолого-почвенного факультета Московского университета, вошел, робая, в старое, массивной кирпичной кладки здание. Мне предстояла встреча с известным ученым, под чьим руководством я должен был работать. Естественно, я волновался.

Долго ждать не пришлось. Ко мне стремительно вышел улыбающийся, очень живой человек.

— Здравствуйте, — сказал он и первым протянул руку. — Рассказывайте о себе, о своих планах. Мы с вами начинаем работать в совершенно новой области естествознания.



**Евгений
РОМАНЦЕВ,**
доктор биологических наук

РОЖДЕННАЯ АТОМОМ

Рисунки
К. БОРИСОВА.



Да, действительно, это была совершенно новая область науки. Радиационная биохимия рождалась хотя и на основе нормальной биохимии, но на стыке с физикой, химией, математикой. Ее появление было целиком продиктовано запросами практики начавшегося атомного века.

Новая лаборатория фактически состояла из молодежи — недавних выпускников Московского университета и медицинских институтов. Но много лет ею плодотворно руководил известный советский биохимик, уже упомянутый мною профессор И. И. Иванов.

Сегодня лаборатории, в которых исследуют различные аспекты радиационной биохимии, существуют во всех развитых странах. Иначе быть не может в эпоху, когда стало объективной реальностью широкое и всестороннее использование атомной энергии.

Над какими же проблемами работает эта новая наука, какие вопросы ее волнуют?

ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ

В течение ряда лет мне частенько пришлось работать рядом с известным физиологом академиком Андреем Владимировичем Лебедевым. Редкостный эрудит, блестящий оратор и педагог, он пользовался большим расположением молодых ученых. Мы его любили за объективность суждений и оценок, за доброту, искренний интерес к нашим исследованиям и, конечно, за яркий, самобытный ум.

Всех молодых специалистов в институте он знал в лицо. И не только знал, но хорошо помнил, кто чем занимается. Андрей Владимирович мог остановить кого-нибудь из молодых прямо в коридоре и спросить:

— Ну, рассказывайте, что у вас нового? Какие новые идеи?

Аспирант, у которого ничего «нового» не было, спешил, издали завидев высокую фигуру академика, укрыться за первой же дверью. Однажды, направляясь в институтскую библиотеку, я вот так столкнулся с Андреем Владимировичем.

— А, молодой человек, здравствуйте! Что-то я давненько вас не видел. Ну, рассказывайте, что у вас нового? — сказал он и крепко взял меня под локоть.

Ничего особенно «нового» у меня в этот момент не имелось, но и ретироваться было поздно. Тогда я стал честно рассказывать,

что всего-навсего готовую литературный обзор, в котором хочу проанализировать работы, описывающие влияние ионизирующей радиации на нуклеиновые кислоты — главные передатчики наследственных признаков от родителей к потомству. Все исследования справедливо и безоговорочно отметили разрушительные результаты такого воздействия.

— Радиация — это грозная сила, — безапелляционно закончил я свой рассказ.

Ученый внимательно выслушал меня, а потом замечиво сказал:

— Все это, конечно, так. Но вот что неясно. Почему ионизирующая радиация, столь губительная и вредная, в определенных дозах может быть даже полезной? Почему некоторые дозы проникающих лучей оказывают стимулирующее действие на рост микроорганизмов и растений? Вы не задумывались над этим? — Далее академик высказал и совершенно уже парадоксальную мысль: — Ведь космическая и ионизирующая радиация существовали всегда. То есть, до возникновения жизни на Земле, затем в момент ее возникновения и последующего развития. А вдруг без этой самой зловерной радиации мы, то есть живое, вовсе не можем существовать? Ну, так что вы можете сказать по этому поводу?

Признаюсь, я (если бы только я!) не знал, что ответить на эти вопросы. По-видимому, на моем лице отразилась гамма чувств, сходных с теми, что написаны на лице нерадивого студента, застигнутого врасплох вопросом дотошного экзаменатора.

— Ничего, не смущайтесь, — приободрил меня академик. — Роль радиации в происхождении жизни — это, знаете, проблема... Подумайте над ней. Тут есть над чем подумать целому поколению ученых.

С тех пор прошло немало времени. И, пожалуй, на некоторые вопросы старого академика уже можно ответить. На некоторые... А на остальные? И что же мы знаем в конце концов о самом тонком механизме действия ионизирующей радиации на живую клетку? На живой организм?

РАДИАЦИОННАЯ АТАКА

Радияция радиации — рознь. Тепло, исходящее от раскаленной плиты, отличается от ультрафиолетового излучения — того самого, которому мы обязаны бронзовым отливом летнего загара. Но ионизирующая радиация, или, что то же самое, излучение, имеет принципиальные особенности. Самая главная из них заключается в том, что взаимодействие ионизирующего излучения со средой приводит к образованию положительных и отрицательных электрических зарядов.

Теперь представьте, что эта среда — живая клетка. Отсюда уже можно вывести определение сути нашей профессии. Классический биохимик занимается химией «нормальной» живой материи, он исследует химический состав и процессы, происходящие в «нормальном» функционирующем живом организме. Новое научное направление, к которому принадлежим я и мои коллеги, — радиационная биохимия — изучает те изменения, которые, по злой или доброй, происходят с обменом веществ в живом организме при действии на него ионизирующих излучений.

Одним мой хороший знакомый — молодой талантливый физик — так изложил свое понимание радиационной биохимии.

— Все ясно, — начал он уверенным тоном и нарисовал на черной доске (они имеются не только в



школьных классах, но и в лабораториях) кружок с извилистой стрелкой — символ заряженной частицы, или кванта энергии. Затем изобразил рядом условную клетку.

Из комбинации двух символов выходило, что квант влетел в клетку и промчался вблизи электронных оболочек одной из ее молекул. Удовлетворенно взглянув на рисунок, очень похожий на те, что дети рисуют мелком на асфальте, мой друг сказал:

— Возникают две возможности. Первая — квант отбивает от электронных оболочек атомов электроны, в результате чего образуются ионы. Вторая возможность — в определенном смысле обратная. Квант, или заряженная частица, передает электронным оболочкам часть своей энергии. При этом образуются так называемые возбужденные молекулы. Ионизированные и возбужденные молекулы способны вступать в необычные для клетки химические реакции.

Физик написал на доске: «икс плюс игрек равеняется» — и поставил многоточие.

— Вот этим, — кивнул он удовлетворенно на доску, — и занимается твоя радиационная биохимия. Значит, остается только выяснить, что такое икс, что такое игрек и чему равняется многоточие.

Мой друг все растолковал (шутя, конечно) с позиций физика правильно. К сожалению, из его формулы осталось загадкой, что скрывается за этими неизвестными величинами. Ну, а как на самом деле?

Возьмем конкретный пример из медицинской практики: раковую клетку обучают гамма-лучами. Что бы разрушить злокачественную опухоль, доза проникающих лучей должна быть достаточно большой. При этом происходит вот что.

Любая клетка для квантов энергии как бы «дырява». Часть квантов при излучении промчится сквозь эти «дыры» между молекулами и атомами и никаких биологических эффектов не вызовет. Но какая-то часть обязательно поглотится. Она-то и поразит раковую клетку. Та часть энергии, которая поглотилась в клетке, немедленно преобразуется в возбужденные и ионизированные атомы и молекулы. В житейском смысле понятие «немедленно» весьма растяжимо. Для некоторых людей оно означает полчаса, для других — сутки. В нашем случае «немедленно» столь крохотный промежуток времени, что его можно только измерить, но никак не представить: это одна тысячная от одной миллиардной доли секунды! При лечении раковых заболеваний облучение продолжается иногда несколько минут, иногда больше. Это означает, что каждый «мгновенно» протекающий процесс повторяется миллиарды раз. Следовательно,



миллиарды раз в клетке происходят и молекулярные изменения.

В раковой клетке начинается жестокая война. Чем выше доза облучения, тем сильнее нападающая сторона. При прямом попадании квантов энергии в молекулы жизненно важных веществ многие клетки подвергаются разрушению.

Рядовому солдату картина битвы, развернувшейся на большом участке фронта, никогда не представляется ясной. Своими глазами он видит немногое. События приобретают масштабность лишь на картах армий и фронтов. Но на самом себе солдат хорошо чувствует, что значит острые стрелки, нацеленной на штабной карте на его участок обороны.

Первые эпелоны нападающих квантов достигли клеточной оболочки. Она как бы первая оборонительная линия. Оболочка клетки — это мембрана. Значительная часть ферментов «импортирована» именно в нее. Одно из главных последствий радиационного воздействия и заключается в нарушении четко согласованной работы ферментов. Немедленно вступая в силу железная диалектика связи «причина — следствие». Например, изменилось упорядоченное до того расположение ферментов. Следствие: ненормально активизировались некоторые ферменты распада, усилилось разрушение молекул, началось как бы «самоперезаривание» клеток.

Радиационная атака раковой клетки продолжается. Происходит прямое попадание снаряда в ядро клетки — в молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). В отдельных участках молекулы возникают разрывы и повреждения. Все это приводит к задержке деления клетки. Если доза облучения была значительной, то деление в дальнейшем становится вообще невозможным. Если же радиационный удар был недостаточным массивным, в работу вступают «аварийные команды» клетки. Специальные ферменты словно вырезают поврежденные участки ДНК, другие ферменты спивают поврежденные цепи молекулы.

Достаточно мощная радиационная атака, как правило, завершается полным разгромом противника — гибелью раковой клетки. В принципе, такие же биохимические процессы происходят и при облучении здоровой клетки. Однако раковые клетки более чувствительны к действию ионизирующей радиации, чем здоровые. Тонкость в том и заключается: подобрать дозу и направление радиационного удара надо так, чтобы разрушить раковую клетку, но не повредить соседствующую с ней здоровую.

Хорошая теория всегда идет плечом к плечу с хорошей практикой. Ионизирующая радиация громко вошла в арсенал средств лечения такого грозного заболевания, как рак. Советские онкологи достигли немалых успехов в лечении этой «болезни века».

Одно из весьма распространенных заблуждений заключается в том, что проникающая радиация приписывают только разрушительные свойства. Но ведь потенциально опасно множество самых обычных вещей, которые нас окружают. Например, пузырек воздуха, если он попадает в кровеносный сосуд, вода, если она проникает в дыхательные пути... То же и с ионизирующей радиацией. Все дело в том, для каких целей она используется.

...Две журнальные фотографии. Их разделяет более чем тридцать лет. На одной запечатлен древний грузовик, на котором сооружена какая-то будка. Это передвижная рентгеновская установка, громоздкая и нескладная, сделанная по предложению Марии Кюри. Рентгеновская установка, которая спасла тысячи и тысячи человеческих жизней, наверное, могла бы стать эмблемой мирного использования ионизирующей радиации.

На другой фотографии изображена бетонная стена дома, на ней — тень человека. Рядом приставлена железная лестница. Под фото подпись: «6 августа 1945 года тепловое излучение атомного взрыва в Хиросиме мгновенно испепелило человека, оставив на стене очертание его фигуры. Человек исчез. Лестница осталась».

Эта фотография свидетельствует о смертельной опасности, которую таит в себе атомная энергия.

Еще один снимок. На нем — десять горшков с проростками кукурузы различной высоты. Под крайним левым подписи: «Контроль». Под каждым из остальных различные цифры: 100, 300, 500, 800 рентген. И так до 40 тысяч. Фотография фиксирует высоту проростков кукурузы при разных дозах облучения на 13-й день вегетации.

Удивительное дело! Семена, облученные дозами в 100 и 300 рентген, вытянулись за тринадцать дней на ту же высоту, что и растения в контрольной, необлученной группе. При дозе облучения 500 рентген растения уже оказались в полтора раза выше контрольных! Но при дозе 800 рентген ростки оказались карликами, при 40 тысяч их вообще еле видно.

Другая цветная фотография: два свежих пучка редиса. Количество редисок в каждом пучке одинаково. Но родные братья слева значительно толще и мясистее, чем их сородичи справа. А ведь на самом деле именно пучок справа — это обычный, так сказать, «нормальный» редис. Упитанные редиски слева выращены из облученных семян.

В чем дело? Разрушительная сила ионизирующей радиации превращается в созидательную? Выходит, так... Поэтому ионизирующая радиация уже используется в сельском хозяйстве. Она стимулирует прорастание семян ряда культур, способствует получению более обильных урожаев овощей, ускоряет созревание некоторых зерновых.

Какие же биохимические процессы при этом происходят? К сожалению, мы вступаем здесь в область, где факты еще дружат с предположениями, где еще многое не исследовано.

Попробуем проанализировать одно установленное явление: облученные семена кукурузы стали прорастать быстрее.

Как происходит прорастание вообще? Когда семена попадают во влажную прогретую солнцем землю, питательные вещества, которые содержатся в семенах, переходят в растворимую форму и транспортируются к зародышку. Зародыш пробуждается, его клетки набухают и начинают делиться. В конце кон-

дов семя прорастает, и на поверхности почвы появляется крохотное растение.

Так вот: специалисты по радиационной биохимии установили, что при облучении семян в строго определенной дозе активность многих ферментов возрастает. Это важно подчеркнуть — в строго определенной дозе облучения. При слишком маленькой дозе ничего не произойдет, при слишком большой растению будет причинен вред. При облучении семян должной дозой (для данного вида растений) окислительные процессы протекают значительно быстрее и интенсивнее. Облучение приводит к более быстрому развитию растений, к ускорению всхожести семян, растения становятся более мощными.

Как-то одна студентка биологического факультета МГУ вполне серьезно пожаловалась мне на то, что в наше время, дескать, уже окончательно доказана невозможность чуда.

— Обидно, — сказала она, — что волшебства нет. Раньше была какая-то надежда на чудеса, когда, например, в печати появлялось сообщение, что на Землю упал не тунгусский метеорит, а прилетел космический корабль с неведомой планеты. Так нет тебе! Доказали, что не может быть!

Мне тоже жаль, что некоторые газетные сенсации, мягко говоря, не состоялись. Но разве это не чудо, что грозная сила ионизирующей радиации может быть с успехом поставлена на службу человеку?

У ИСТОКОВ ЖИЗНИ

Ионизирующая радиация существовала всегда. И тогда, когда на нашей планете не существовало ничего живого, и тогда, когда на ней возникли первые примитивные организмы. Незначительные количества радиоактивных изотопов постоянно находятся внутри каждой живой клетки, а космическая ионизирующая радиация непрерывно воздействует на все живые организмы. Говоря фигурально, каждый из нас немножечко радиоактивен. Если это так, то нет и совсем «чистой» биохимии — она вся немножечко радиационная.

Можно сказать и больше. Ионизирующая радиация всегда была постоянным фактором внешней среды, и ее участие в эволюционном процессе очевидно. В процессе эволюции создавались организмы, все более и более приспособленные к существующим и изменяющимся условиям внешней среды, — следовательно, лучше приспособленные и к радиации. Благодаря ионизирующей радиации живая клетка приобрела ту дополнительную гибкость и способность меняться в зависимости от изменения окружающей среды, которая и позволяла ей выживать на протяжении миллионов лет.

Изменения в наследственном материале генетики назвали мутациями. Мутация — всегда какое-то отклонение от нормы, ошибка, которая произошла при печатании копии с оригинала. Но именно с помощью мутаций организм и способен приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.

Мутации в живых организмах происходят постоянно, но в небольшом количестве. Вызывают их, к примеру, различные химические вещества и, конечно, природная ионизирующая радиация. Такие мутации называют естественными, или спонтанными. Одна из самых трудных, но и притягательных для нашей науки задач — это выяснение механизма возникновения мутаций под воздействием ионизирующей радиации.

Молекула ДНК — хозяйка всех наследствен-



ных свойств — состоит из простых (относительно, конечно) составных частей, которые называют пуриновыми и пиримидиновыми основаниями. Так вот, если ионизирующая радиация приводит к мутациям, то это значит, что она вызывает химические изменения в основаниях — строительных блоках молекулы.

Природный фон ионизирующей радиации всегда воздействовал на живые организмы и вызывал мутации. Некоторые виды организмов из-за отрицательных последствий мутаций вымирали. Но именно благодаря этим «ошибкам» в процессе эволюции, растянувшейся на века, возникло все многообразие живого царства.

Как я уже говорил, некоторые нарушения в строении молекулы ДНК исправимы. Для этих целей в организме существует целая система «ремонтных» механизмов и биологических ускорителей реакций — ферментов.

Предположим, после облучения произошла подобная «ошибка». Сейчас же вступают в действие починочные ферменты, на полную мощность начинают работать механизмы восстановления. От их активности зависит главное: сохранится «ошибка» в генетическом материале, то есть передастся по наследству потомству или нет.

Если «ошибка» исправлена, то, как говорится, все в порядке. Если нет, то не исключено, что изменения в организме, вызванные облучением клеток «родителей», будут обнаружены у клеток «внуков». Положительными или отрицательными окажутся такие изменения — это уже другой вопрос.

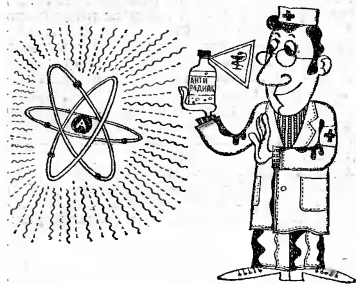
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Современная биохимическая лаборатория — это дорогостоящее научное учреждение, оснащенное многими сложными приборами. Поэтому даже в крупных институтах считается целесообразным создавать для обслуживания нескольких лабораторий специализированные кабинеты, в которых концентрируются особенно сложные и дорогие установки, нужные для специалистов различных профилей. При этом повышается коэффициент использования приборов и обеспечивается высокое качество их обслуживания квалифицированными инженерами и техниками. Их, кстати, в наших институтах, пожалуй, не меньше, чем биологов и медиков.

Вот кабинет оптических приборов. Вот ультрацентрифужная. Здесь с помощью современных ультра-

центрифуг можно разделить живые клетки на ее составные части — выделить из нее ядра и, скажем, такие мельчайшие образования, как митохондрии, в которых происходит выработка энергии для жизнедеятельности клетки. Можно выделить из клетки еще более мелкие частицы, в которых происходит новообразование белка.

Ни один из современных биохимических институтов не может существовать без радиометрической группы. В сферу ее деятельности входит измерение радиоактивности в биологических образцах. Ведь меченные радиоактивными изотопами химические соединения широко используются для изучения самых разнообразных процессов обмена веществ. Современные приборы для измерения радиоактивности исключительно точны, работа их полностью автоматизирована. В действительности мне они чем-то напоминают... живые существа. Автомат передает образцы, в которых содержатся радиоактивные изотопы, результаты исследования автоматически записываются и статистически обрабатываются, автоматическая пишущая машинка тут же печатает итоговые данные, на световом табло непрерывно рождаются и исчезают ряды красных, желтых, зеленых цифр...



Все лаборатории и НИИ, изучающие действие ионизирующей радиации на живые организмы, располагают установками, на которых можно облучать живые организмы различными видами ионизирующей радиации: гамма- или бета-лучами, альфа-частицами и т. д.

Современные облучатели производят сильное впечатление. Это сооружения сложные, часто необычной формы. По-видимому, не случайно мощный гамма-облучатель называют «кобальтовой пушкой».

Назвать все проблемы, какие решают специалисты по радиационной биохимии, невозможно. Но одной из самых жгучих является изучение действия радиации на молекулу ДНК. Действительно, каким образом ухитряется эта удивительная молекула постоянно себя «чинить» и «реставрировать», и можно ли научиться управлять этим процессом?

Мы уже знаем, что «ошибки» в деятельности молекулы ДНК вызывают мутации. Большинство мутаций вредно для организма, только некоторые приводят к появлению организмов, пугающих человека. Вот если бы научились так управлять деятельностью ДНК, чтобы появлялись преимущественно полезные мутации! Тогда бы мы располагали неограниченными возможностями для выведения новых полезных микроорганизмов, растений, животных...

Недавно я слышал интересный доклад о действии ионизирующей радиации на молекулу ДНК. Это бы-

ло на международном симпозиуме в Армении. Доклад, который я имею в виду, сделала сотрудник Института биофизики Академии наук СССР Наталья Борисовна Стражевская. Она изучает сложные связи молекулы ДНК в клетке с молекулами других химических соединений, например, с белками, которые называются гистонами. ДНК соединяется с оболочкой ядра клетки — мембраной с помощью тончайших мостиков. Она, словно бахрама, как бы подшита к поверхности мембраны. Эта сложная и недостаточно изученная конструкция весьма чувствительна к радиации. После облучения она может распасться, как хрупкий картонный домик. В то же время живая клетка располагает хитроумными приспособлениями для починки и восстановления, зацалось бы, столь уязвимой конструкции.

Изучение пусковых биохимических процессов, начинающих лучевое поражение, может привести к решению важных практических задач. Например, поиск химических соединений, усиливающих действие ионизирующей радиации на живую клетку. Такие соединения можно было бы использовать в медицине для усиления разрушительного удара проникающих лучей на раковую опухоль. Или, наоборот, мы найдем лекарства, которые будут защищать организм от действия проникающей радиации. Некоторые такие соединения уже найдены.

Совсем недавно, в декабре 1975 года, Международное Агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело совещание специалистов из разных стран, на котором оценивались возможности использования химических соединений для усиления лучевых воздействий при радиотерапии злокачественных образований. Одновременно обсуждалась проблема защиты здоровых тканей с помощью лекарств от поражающего действия проникающих лучей.

Перед радиационной биохимией в ближайшем будущем стоят задачи, решение которых будет способствовать повышению благосостояния нашего народа, улучшению его здоровья, борьбе с болезнями.

Уже проверен на практике метод повышения урожайности многих сельскохозяйственных культур с помощью предпосевного облучения семян. Экономические выгоды этого метода очевидны. Правда, биохимические механизмы стимулирующего действия ионизирующей радиации пока еще далеки от четкого понимания.

Практически перед радиоселекцией открываются необозримые перспективы — получать с помощью проникающего излучения организмы, обладающие более полезными качествами, чем исходные родительские формы.

Что не знает антибиотик? Но вот о том, что наша промышленность выпускает биомикции, пенициллин и другие антибиотики, используя радиомутанты микроорганизмов, знают немногие. Чтобы вести направленный поиск радиомутантов, полезных для человека, надо изучить механизм действия ионизирующей радиации на наследственный материал клетки — иначе говоря, все на ту же молекулу ДНК. Надо изучить и самые интимные механизмы биосинтеза белковой молекулы.

Специальный раздел Постановления XXV съезда Коммунистической партии Советского Союза указывает на необходимость сосредоточить внимание ученых на важнейших проблемах научно-технического и социального прогресса, от решения которых в наибольшей степени зависит успешное развитие экономики, культуры и самой науки.

К числу таких проблем, несомненно, относятся и те, которые изучает и разрабатывает радиационная биохимия.



М. ПРОВОРОВ

обратный путь потерян

Фото Л. БОГДАНОВА.

В середине лета прошлого года в Ленинграде вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары» впервые давал оперу «Орфей и Эвридика».

Этим фактом обескуражены были все. Поклонники «Поющих гитар», обычно скандирующие аплодисменты после каждой песенки на каждом концерте, этих песенок в опере не нашли, да и аплодировать не очень-то давали — действие не прерывалось; любители же оперного жанра были огулены мощным звуком, шокированы свободной театральной формой, удивлены актерскими и пластическими способностями певцов... Может быть, в соприкосновении этих двух аудиторий и есть основной смысл зонт-оперы, как определили жанр своего произведения авторы «Орфея и Эвридики»: композитор Александр Журбин, драматург Юрий Димитрий, а также режиссер-постановщик оперы Марк Розовский.

— Конечно, часть нашей постоянной публики мы можем потерять, — сказал мне перед премьерой художественный руководитель «Поющих гитар» Анатолий Васильев, — но только настоящий зритель-слушатель готов принять наш следующий шаг в сторону усложненной музыкальной формы, интеллектуальной драматургии, яркого театрального действия.

Волнения по этому поводу оказались напрасными — на всех четырех премьерных в зале не пустовало ни одно место, а после спектаклей аплодисментам не было конца.

Об «Орфее и Эвридике» много спорят. Спорят зрители, спорят музыканты... Всякое новое явление несет

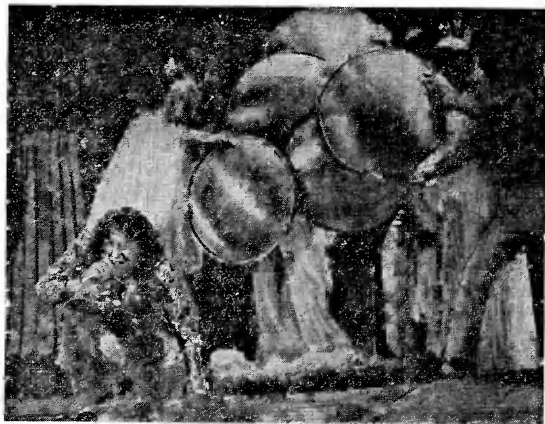


в себе много неожиданного и, естественно, не всеми сразу принимается. В спорах рождается истина, и первый опыт «Поющих гитар» позволит другим ансамблям закрепить их находки, учесть просчеты и развивать дальше интересный музыкально-драматический жанр — зонт-оперу.

Почти двадцать лет назад появилась новый музыкальный стиль, который тогда получил название «биг-бит». Новый стиль креп, развивался, без стеснения впитывал в себя разные музыкальные традиции, охотно скреплялся с народной музыкой, приобретая на каждой национальной почве новые краски, — и в конце концов дал то, что мы теперь называем музыкой в стиле рок (не надо путать с рок-н-роллом, который является лишь одним из ранних видов этой музыки). Первым поклонником рока уже где-то под рок, но феномен этой музыки в том, что она властвует и над следующим поколением. То, что лет пятнадцать назад казалось нам озорством, а кое-кому и шарлатанством, стало сейчас достаточно устойчивой музыкальной традицией. Не должно удивлять, что новые, рождавшиеся на наших глазах явления в музыке не были закреплены сразу в единых и точных теоретических определениях. У нас музыкальные составы, исполняющие музыку в стиле рок, получили название вокально-инструментальных ансамблей.

В 1966 году родился один из первых в нашей стране профессиональных ансамблей — «Поющие гита-

Альберт Асадуллин в роли Орфея.



Сцена из оперы.

ры» под руководством Анатолия Васильева. Прошло несколько лет, и локально-инструментальные ансамбли стали плодиться, как грибы. Естественно, что при такой массовости жанра в потоке электрогитарных песенок появилось немало похожих друг на друга легковесных шлягеров с примитивными словами, в то время как музыка в стиле рок по своей природе полна драматизма, способна глубоко воздействовать на уровне высокого искусства. Эту музыку хочется слушать и слушать, постепенно втягиваясь в ритм, впуская его внутрь себя, покоряясь ему, живя в нем. Музыка становилась состоянием, и в это состояние хотелось погружаться глубже и глубже... Песни, исполняемые под аккомпанемент электрогитар, удивлялись, превращались в баллады, в рассказы, в маленькие пьесы и, наконец, сплывали в новый жанр — рок-оперу. Появлению рок-оперы способствовало и то, что электрогитарная музыка очень живописна, фактурна, театральна, недаром многие режиссеры уже стали использовать ее для оформления своих драматических спектаклей. Теперь эта музыка сама стала театром. Появились первые опыты в стиле рок, музыка которых была записана на пластинки и разошлась по всему миру... И вот — первая такая советская опера «Орфей и Эвридика».

Орфей полюбил Эвридику —
Какая старая история...

Этой музыкальной фразой начинают оперу поющие гитаристы, и весь спектакль они вместе со своей мигающей красными и зелеными лампочками аппаратурой остаются на сцене, образуя как бы фон действия, на котором разворачивается драма Орфея и Эвридики.

Эвридика подарила Орфею песню, с которой он выступил на состязании певцов и победил. Сразу же истинная песня Эвридики была спета сотнями певцов, растрасжирована в миллионах экземпляров, и в этих искаженных копиях потерялась личность Орфея, а блеск золотого эстрадного пиджака, напеленного на победителя, истинные воли поклонников затмили, заглушили для Орфея все остальное.

Орфей потерял Эвридику —
Какая старая история...

И вечно новая.

— Миф об Орфее начинается с того, чем завершаются события нашей оперы, — гибелью Эвридики, — говорит автор либретто Юрий Димитрий. — Разумеется, и в либретто и в музыке оперы мы старались бережно сохранить высокую героинку, гуманизм бессмертной античной легенды. Но, приближая время действия оперы к нашим дням, мы решили предложить зрителям-слушателям иной сюжет. В каком-то смысле наша сюжетная канва является предосторней античного мифа.

Признаки мифа, детали Древней жизни смешаны в спектакле с деталями жизни современной. Внешне спектакль пестр. Но и наша жизнь в последнее время стала гораздо ярче, и толпа на улице выглядит сейчас намного колоритнее, чем несколько лет назад. Пестрота в одежде сегодня — не только мода. В этом выражается сильная тяга молодежи к карнавализации самой жизни, некий вызов скучным серым краскам стандарта, которые порой проникают в нашу жизнь.

В «Орфее и Эвридике» на сцене сталкиваются самые разные, несовместимые, казалось бы, предметы, но это не эклектика. Можно сказать, эти случайные столкновения не случайны. Рядом с изысканной декоративностью и мифологической торжественностью возникают приметы современного быта. Так, вместо цитов в спектакле используются купленные в «Детском мире» диски для катания с гор. На сцену герои с одной стороны выходят из вычурных золотых ворот, а с другой — из большого кофра, в котором обычно хранятся театральные костюмы и реквизит. Оркестр воссоздает посередине сцены на грубо сколоченных деревянных ящиках. Все это, вместе взятое, определяет эстетику спектакля, созданную режиссером Марком Розовским и художником Аллой Кожанковой.

— Современный стиль жизни молодежи 60—70-х годов породил и современную музыкально-театральную форму, — говорит режиссер-постановщик «Орфея и Эвридики» Марк Розовский. — Традиционная форма оперы трансформируется в нашем спектакле в энергичное карнавальное зрелище. Причем карнавал вовсе не обязательно обозначает веселье. Иронико-комедийное и трагическое всегда сосуществуют в кар-



Слева — Альберт Асадуллин
в роли Орфея, справа —
Богдан Вивчаровский
в роли Харона.

навале, постоянно и незаметно перетекают друг в друга. Мне хотелось соединить в спектакле брызжущую праздничность с внутренней сосредоточенностью героев, с их сокровенностью и осознанием трагичности своих судеб. Сочетание самых противоречивых чувств вообще характерно для молодого человека. Мне интересно было работать с двадцатилетними. «Поющие гитары» не были искушены театром, и приятно было наблюдать, как вдруг на репетициях они «заиграли», проявив актерское озорство, импровизационность в сочетании с самым доподлинным психологизмом.

Исполнитель роли Харона Богдан Вивчаровский сказал мне:

— Обычно, когда мы готовили свои концертные программы, нам говорили: «Ты встань туда, а ты — сюда...» — вот и вся режиссура.

Порой на эстраде работа режиссера сводится к компоновке концерта и элементарной разведке исполнителей. Но постановка оперы «Орфей и Эвридика» показывает, как добротный литературный и музыкальный материал, сочетаясь с истинно театральной режиссурой, может поднять эстрадное зрелище до уровня высокого искусства.

Хочется описать одну мизансцену, которая благодаря острой режиссерской мысли стала символом всего спектакля. После победы на конкурсе песни Орфей закружен хоромом поклонников, подавлен расхожестью собственной песни, зажат в тиски своей же популярности. Орфей, опустошенный и растерянный, стоит посередине сцены, а Певчий бог, столь покорный ему совсем недавно, медленно нагружает на хрупкие плечи Орфея тяжелые микрофонные стойки — одну, другую, вешает по бокам еще две, несколько стоек ставит перед ним так, что микрофоны, словно стрелы, упираются прямо в грудь Орфея. И вот певец как бы распят на кресте массовой культуры, на кресте всеобщего поклонения, связан этим поклонением по рукам и ногам «Орфей, обратный путь потерян», — предупреждает мудрый Харон. Так и случилось. И только в финале смерть верной Эвридики возвращает Орфея к самому себе.

Композитор Александр Журбин:

— В зонг-опере страсти должны быть накалены до предела, герои должны находиться в крайних, пограничных между жизнью и смертью ситуациях, тогда экстаз музыки, который в сочетании с проникновенной лирикой характерен для этого жанра, оправдан. За со-

чинение зонг-оперы «Орфей и Эвридика» я взялся потому, что люблю искать себя в предельных «регистрах». Сейчас пишется много так называемой средней музыки, классические традиции в меру современны, а современные ритмы достаточно приглушены. Я предпочитаю разводить полюса. Некоторые считают, что рок-музыка — музыка низшего порядка, и серьезный композитор не должен ею заниматься. Я считаю, что это просто от неосведомленности. Работая над «Орфеем и Эвридикой», я испытал одно из самых счастливых композиторских состояний. Мне двадцать девять лет, и я хорошо представлял современную молодежную аудиторию, для которой писал.

Однако во всем любителям электрогитарной музыки авторы оперы угодили. В антракте я сам слышал, как один завсегдатай бит-битовых концертов сказал другому:

— Дожили... «Поющие гитары» учить жить начал!

А как приняли оперу профессионалы? Вот что сказал на обсуждении спектакля заслуженный деятель искусств РСФСР, председатель Ленинградского отделения Союза композиторов СССР Андрей Петров:

— «Орфей и Эвридика» — победа прежде всего молодого композитора Александра Журбина. Оригинальная драматургия, блестящая режиссура и мастерское вокальное и актерское исполнение «Поющих гитар» сплелись в яркий спектакль. Это новый шаг в эстрадном жанре. Учитывая огромный интерес молодежи к этому виду искусства, считаю, что новое дело надо поддержать и, может быть, «Поющие гитары» закрепить как новый молодежный театр.

Когда во время ленинградских премьер я бродил в кулисах оперной студии, на меня пахнуло знакомой и волнующей атмосферой студенческого театра. Обширный успех внушил мне веру, что вместе они и не такие дела потянут... Альберт Асадуллин (Орфей), Ирина Поняровская (Эвридика), Ольга Левицкая (Фортуна), Богдан Вивчаровский (Харон) — все «Поющие гитары» как бы приподнялись над своим эстрадным прошлым, над своим многолетним шлягерным репертуаром, над самими собой вчерашними. И силой, которая приподняла их, был театр.

— Теперь даже на концертах ребята будут выходить на сцену совсем другими, — сказал после премьеры Ачатолий Васильев.

Обратный путь потерян!



Андрей
МОЛЧАНОВ

ЗАДАЧИ ВЫСШЕЙ СЛОЖНОСТИ

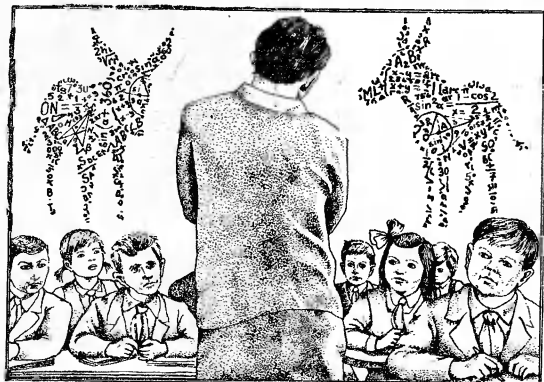


Рисунок В. БАТАЛИНА.

Федя Богомолов, студент третьего курса мехмата, прогуливая лекцию, решил зайти к своей тете, работавшей заучем в средней школе.

Встреча родственников носила прохладный характер. Тетя была чем-то явно удручена, и Федя понял, что зашел не вовремя.

— Я того... пойду... — сказал он, взглянув в ее озабоченное лицо.

— Иди. Заходи, не забывай, — равнодушно откликнулась тетя, но вдруг лицо ее прояснилось. — Феденька! — воскликнула она. — И как это я забыла! Ты же математик! Понимаешь, у нас заболели два преподавателя математики. Справляться-то мы справляемся, но сейчас в третьем «В» урок должна проводить я, а тут звонок из рона. Вызывают на совещание. Выручи, проводи урок, а?

— Я? Урок?... Н... нет...

— Феденька, милый, умоляю! Ну хотя бы займи их чем-нибудь. Ты ж на третьем курсе, а они в третьем классе. Порешайте задачки. Ребятам будет интересно.

— Ну, ладно, — вздохнул Федя, — попробуем... В конце концов третий класс не десятый. Справлюсь.

Федя поднялся на второй этаж и робко вошел в третий «В».

— Здравствуйте, товарищи! — сказал он. — Сегодня я проведу у вас урок математики.

— Здравствуй!!! — хлопнув артиллерийск. парт, нестройно ответил класс.

Федя задумчиво оглядел доску с нарисованной на ней рожей

пирата и, мучительно вспоминая, чему его учили в третьем классе, спросил:

— Вы таблицу умножения знаете? Знаете... Отлично! Тогда приступим, товарищи! Даю вам простую задачку. Есть десять галosh. Пришли трое мальчиков, надели галoshi и ушли. Затем пришли две девочки и надели оставшиеся галoshi. Сколько галosh взяли мальчики и сколько девочки?

Класс схватился за головы. Закричали перья авторучек.

— Ну-с, — сказал Федя через десять минут, — решили? Вот вы, товарищ с синяком, получили ответ?

Товарищ с синяком, двоечник Бутурлакин, солидно одернул пиджак и сказал:

— Задача, выдвинутая вами, нетривиальна. Уравнение, описывающее ее условие, неопределенное... Три икс плюс два игрек равно десяти...

— Чего? — изумился Федя. — Какие икс, какие игрек?

— Три икс — есть произведение трех мальчиков на число галosh, взятых мальчиками, а два игрек — произведение двух девочек на число галosh, взятых девочками, — уверенно ответил Бутурлакин. — Икс равен четырем, игрек — минус единице!

— Простите... — молвил Федя придуманным голосом. — Что же получается? Мальчики надели по четыре галoshi, а девочки по минус одной? Да вы что, товарищ!...

— Условие задачи — софистика! — сказали с задней парты

компетентным дискантом. — Уравнение имеет бесконечное множество корней!

Класс загалдел.

— Товарищи! — сказал Федя, изнеможенно садясь мимо стула. — Спо...койно!

Он встал и подошел к доске.

— Уравнение тут вообще ни к чему. Смотрите... Вот десять галosh. Три мальчика. Две девочки. А сколько галosh надо одному человеку? Ну? — Он кивнул девочке, сидевшей на первой парте.

— Ни одной... — сказала она упавшим голосом. — Сейчас галoshi не носят!...

— А вы предположите, что их носят! — затравленно закричал Федя, машинально вытирая губой пот со лба. — Сколько человеку надо?...

— Две... — всхлинула девчушка, — галoshi...

— Наконец-то! Так сколько галosh наденут три мальчика?

— Шесть... — изумленно прошептал Бутурлакин.

— А девочки?

— Четыре! — хором ответил класс, восхищенный элегантностью решения.

Класс, пораженный открывшимся перед ним безднами науки, молчал.

— Ну, вот и все... — устало сказал Федя. — Другая задачка... — продолжал он. — Предположим, у нас есть тридцать килограммов воблы, товарищи! И три осла. На каждого из них надо нагнать воблу поровну...

— А что такое ослы? — спросил кто-то.

— Ослы? — Федя почувствовал подвох, но, внимательно оглядев притихшие ряды, не уловил и тени издевки. — Это, товарищи, такие животные. Млекопитающие... По-моему... Ну такие... такие... Конкретнее! — потребовал компетентный дискант.

— Ну... среднее между лошадию и кроликом... — Федя начертил на доске овал, приделал к нему четыре палочки, обозначающие ноги, нарисовал голову с точками глаз и с длинными ушами и, наконец, провел от края овала изгибающуюся линию — хвост.

— Вот, — сказал он, мысленно сравнивая свое творение с наскальными рисунками неандертальцев. — Это осел, товарищи! Прошу любить и жаловать.

— Что-то непонятное... — выказался компетентный дискант.

— Почему же непонятное? — забеспокоился Федя. — Очень даже понятное... Вот это голова с глазами. Ну... будто бы две точки в замкнутой области.

— Так бы и сказали! — крикнули с последней парты.

— А на голове полином третьей степени! — донесся вопрос.

— Четвертой! — поправил Федя. — Это уши.

— А интеграл у осла сзади зачем? — спросил Бутурлакин.

— Это хвост! — слегка оскорбился Федя. — Хвост! А вот этот кружок — туловище!

— Что значит — кружок? — удивился Бутурлакин. — По-моему, это кривая второго порядка... — Да! — закричал Федя. — Второго! И параметрически она задается уравнениями $\text{икс} = \text{cos } t$, $\text{игрек} = \text{sin } t$.

— А можно и так: $\text{икс} = \text{квадрат}$, $\text{деленное на а} = \text{квадрат}$, $\text{плюс игрек} = \text{квадрат}$, $\text{деленное на б} = \text{квадрат}$, равно единице! — радостно провозгласил Бутурлакин.

— Можно... — меланхолично согласился Федя. — И так можно. Тишину прорезал вопль звонка. Класс оживился и шустрым ручейком выскользнул за дверь. Федя чуть-чуть постоял, тупо глядя на опустевшие парты, потом медленно двинулся к выходу. Бутурлакин и Петухов, покуривая в туалете, увидели, как догловзвеза Федина фигура, пошатываясь, исчезает в глубине школьной аллеи.

— Ох, и суровые задачи дал нам этот тип... — вздохнул Бутурлакин. — Жуть!

— Ученый... — уважительно подтвердил Петухов.



Николай Ж—ес, г. Минск
Дорогая Галка Галкина!

Сейчас по телевизору по учебной программе показывают кое-какие уроки. Нельзя ли это дело расширить и вместо того, чтобы ходить в школу, сидеть дома, и пусть нам показывают физику, химию, тригонометрию и даже физику?

ОТВЕТ:

Дорогой Коля!

Конечно, можно. Но тогда и аттестат зрелости тебе тоже покажут по телевизору.

Ли́ка К—ва, г. Сумы

Дорогая редакция!

Я знаю, что женщины дали миру Жанну д'Арк, Софию Ковалевскую, Ермакову, Кого еще дали миру женщины?

ОТВЕТ:

Дорогая Ли́ка!

Еще женщины дали миру Марию Склодовскую-Кюри, Сарру Бернар, а также братьев Черепановых, Дениса Давыдова, Савелия Крамарова и всех нас.

Эдвин Ш., г. Москва

Уважаемые товарищи!

На каких пальцах нужно носить перстни и кольца мужчинам, если количество колец превышает три?

ОТВЕТ:

Уважаемый Эдвин!

Если количество колец и перстней превышает три, то их надо носить на женских пальцах.

Олег Д—ий, г. Ленинград

Галочка!

У меня сложное положение. Мама хочет, чтобы я стал артистом, а папа у меня ученый, кандидат наук, он хочет, чтобы я стал академиком. Кем мне быть?

ОТВЕТ:

Олегек!

Выход у тебя, по-видимому, один — стать артистом академического театра.



Андрей К—ев, г. Краматорск

Здравствуй, «Юность»!

По натуре я творческий человек. Я решил целиком посвятить свою жизнь музыке в исполнении наших и зарубежных вокально-инструментальных ансамблей. Что ты об этом думаешь?

ОТВЕТ:

Здравствуй, Андрей!

Я думаю, не лучше ли посвятить свою жизнь литературе в исполнении великих писателей, или живописи в исполнении великих художников, или науке в исполнении великих ученых... А может, все-таки попытаться испытать что-нибудь самому?

Валерий О—ев, г. Свердловск

Дорогая Галка!

Я влюблен в одну девочку, но утром я просто киплю от страсти, а днем остываю, на другой день все повторяется сначала. Чем это объяснить?

ОТВЕТ:

Дорогой Валера!

Я посоветовалась со специалистами. Может быть, ты чайник?

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

Юрий НАГИБИН. «Вся, чушь?..» Рассказ . . .

Виктор СТЕПАНОВ. Рота почетного караула. Повесть . . .

Зиновий ЮРЬЕВ. Быстрые сны. Фантастическая повесть. Окончание . . .

ПОЭЗИЯ

Александр ЯШИН. Военный человек. Поэма . . .

Абдулла ДАГАНОВ. Дельфины. Перевел с аварского О. Дмитриев. Осенний дождь. Перевел В. Афанасьев . . .

Юлия ДРУНИНА. Дети двенадцатого года: Тринадцатое июля. Сергей Муравьев-Апостол, Ялutorовск . . .

Евгений ВИНКУРОВ. Колодец. Черепаха. Хиппи. «Спасите нас от пророков...» . . .

Никита ВЛАДИМИРСКИЙ. «Военные поэты...» Долг. «Сумасшедший июнь...» «Зима пуста — как циферблат без стрелок...» «Военные звезды...» «На лапах кошки принесла...» . . .

КРИТИКА

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. А дискуссия продолжается... (Заметки о песне) . . .

А. ПЯНОВ. Магия слова . . .

В. ЛАКШИН. Дни и годы героев Вампилова . . .

ПИСЬМО МАЯ

Константин ПАНФЕРОВ. «Как создавалась эта книга?..» . . .

Ольга ЧЕРНЫХ. Второй день рождения . . .

ПУБЛИЦИСТИКА

Анатолий КРИЧЕВСКИЙ. Гармония качества . . .

Сергей ИВАНОВ. Что там впереди? . . .

Лариса ИСАРОВА. Еще не поздно (Невыдуманные истории) . . .

НАУКА И ТЕХНИКА

Евгений РОМАНЦЕВ. Рожденная атомом . . .

ТЕАТР

М. ПРОВОРОВ. Обратный путь потерян . . .

ЗЕЛЕНый ПОРТФЕЛЬ

Андрей МОЛЧАНОВ. Задачи высшей сложности

Галка ГАЛКИНА. Каков вопрос — таков ответ

7 Главный редактор
Б. Н. ПОЛЕВОЙ

25 Редакционная коллегия:

А. Г. АЛЕКСИН,
В. И. АМЛИНСКИЙ,
В. Н. ГОРЯЕВ,
А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ

70 (зам. главного редактора),
П. А. ЖЕЛЕЗНОВ
(отв. секретарь),

2 К. Ш. КУЛИЕВ,
Г. А. МЕДЫНСКИЙ,
В. Ф. ОГНЕВ,

22 С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ,
23 М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.

49

69 Художественный редактор
Ю. А. Цишевский.

50 Технический редактор
Л. К. Зябкина.

59

На 1—4 стр. обложки
рисунок М. ТИШНОЙ.

60

63 Адрес редакции:
Улица Горького, № 32/1,
101524, ГСП, Москва, К-6.
63 Телефон редакции: 251-32-83.

Рукописи
не возвращаются.

65

93 Сдано в набор 27/II—1976 г.,
А 07050.
Подп. к печ. 19/IV—1976 г.
Формат 84×108/16.
96 Объем 12,18 усл. печ. л.
17,62 учетно-изд. л.
Тираж 2 655 000 экз.
102 Изд. № 1061. Заказ № 1882.

107 Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
110 типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина,
123863, Москва А-47, ГСП.
111 ул. «Правды», 24.

М. ВАНИН
(Рига).

Тишина.



В. ЛЕБЕДЕВ (Москва).

Юные следопыты.





Цена 40 коп.

Индекс
71120